

---

# Встречи у Фадиных

---

Русский литературный салон в Берлине  
Антология

Книга вторая • 2011–2017



Семинар славистики университета им. Мартина Лютера. Халле-Виттенберг  
Берлин – Халле • 2017

---

---

# Встречи у Фадиных

**Русский литературный салон в Берлине. Антология**  
Книга вторая • 2011 – 2017

---

Составители антологии благодарят Общество друзей художника Николая Загрекова за поддержку.

---

Во второй книге антологии собраны произведения писателей, бывших в годы с 2011 по 2017 гостями литературного салона «У Фадиных» – и живущих в Берлине, и приезжавших из России и разных стран мира. Среди них – Павел Грушко, Алексей Макушинский, Владимир Сорокин, Михаил Шишкин и другие известные писатели.

Первая книга вышла в 2010 году к десятилетию салона.

---

Составители: А. Перченоч и В. Фадин  
Редакторы: С. Менгель и В. Фадин  
Дизайн / Верстка: Е. Герцовская, П. Медведева  
Фотографии: И. Малкиель, В. Юризицкая, В. Фадин

© для каждого текста – авторы, их издательства, журналы соответственно  
© А. Перчёнок, В. Фадин, составление  
© Е. Герцовская, дизайн

ISBN: 978-3-86829-896-3

---

---

# Treffen bei Fadins

---

**Russischer Literatursalon in Berlin  
Anthologie**

Buch II • 2011–2017



Seminar für Slavistik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg  
Berlin – Halle • 2017

---

---

# Treffen bei Fadins

**Russischer Literatursalon in Berlin. Anthologie**

Buch II • 2011 – 2017

Das Buch II der Anthologie enthält Werke der Schriftsteller, die zwischen 2011 und 2017 Gäste im russischen Literatursalon «Bei Fadins» waren. Sie leben in Berlin, Russland und anderen Ländern der Welt. Es sind Pavel Grushko, Aleksey Makushinsky, Vladimir Sorokin, Michail Shishkin sowie weitere bekannte Autoren.

Das Buch I ist zum 10-jährigen Jubiläum des Literatursalons 2010 erschienen.

---

Edition: A. Perchenok und V. Fadin

Redaktion: S. Mengel und V. Fadin

Design / Umbruch: E. Gerzovskaja und P. Medvedeva

Foto: Y. Malkiel, V. Yurisdizkaja, V. Fadin

ISBN: 978-3-86829-896-3

---





---

## Содержание

- 8 Вадим Фадин. Введение  
10 Юрий Гинзбург. Сегодня и вчера. Русское слово в Берлине  
21 Александр Люсьей. Берлинская нота. Петербургский текст  
29 Ольга Медведко. Наш художник Николай Загреков

### **Участники литературных собраний: берлинцы**

- 38 Леонид Гиршович. Арена XX. *Отрывок из романа*  
48 Сергей Гладких. Венская группа. *Переводы*  
58 Дмитрий Драгилев. *Стихи*  
62 Виктория Жукова. Вот придёт пусыка. *Рассказ*  
72 Татьяна Зажицкая. Эстонский контекст. *Эссе*  
84 Борис Замятин. Суп из Фейербаха *Рассказ*  
90 Генрих Киршбаум. *Стихи*  
93 Александр Лайко. *Стихи*  
99 Татьяна Нелюбина. Окно в скорлупе. *Отрывок из романа*  
106 Александр Смолянский. *Переводы из Вуди Аллена*  
116 Вадим Фадин. Похороны меня. *Рассказ*. В пользу романа. *Эссе*  
126 Александр Шмидт. *Стихи*

### **Участники литературных собраний: гости из Германии, России и других стран**

- 132 Сергей Бирюков. Одинокая строка. *Эссе*  
138 Марина Гершенович. *Стихи*  
143 Павел Грушко. *Стихи и переводы с испанского*  
149 Борис Кольмагин. Японский след в поэзии андеграунда. *Эссе*  
161 Анатолий Кудрявицкий. *Стихопроза*  
167 Вячеслав Куприянов. *Стихи*  
172 Алексей Макушинский. Город в долине. *Главы из романа*

- 
- 182 Сергей Морейно. Область по ту сторону реки. *Рассказ*  
191 Павел Нерлер. Мандельштам и Германия. *Эссе*  
201 Владимир Сорокин. Теллурия. *Глава из романа*  
213 Виктор Тихомиров. Евгений Телегин и другие. *Отрывки из романа*  
223 Михаил Шишкин. Вальзер и Томцак. *Эссе*  
235 Глеб Шульпяков. Саметь. *Поэма*  
242 Михаил Яснов. *Стихи*

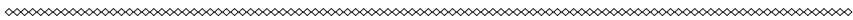
### ***In memoriam***

- 248 Василий Бетаки  
258 Виктор Николаев

### ***Авторы антологии***

### ***Приложение***

- 275 О конференции по современной русской литературе  
в немецкоязычных странах Европы  
278 О выставке петербургского художника Александра Визиряко



Русский литературный салон «У Фадиных» существует в Берлине с 2000 года. К его юбилею, к десятилетию, вышла антология, включавшая произведения сорока трех авторов, бывших участниками литературных собраний, а также поэтических фестивалей, различных презентаций и других проектов, осуществлённых салоном. Книга была выдвинута на Русскую премию и попала в короткий (всего три претендента) список в номинации «За вклад в развитие и сбережение традиций русской культуры за пределами Российской Федерации».

«Сбережение традиций русской культуры» – совсем не пустые слова и непростое дело, особенно в наше время, когда люди отвыкают от книги, опасно превращаясь, как заметил Набоков, в «тех русских эмигрантов, единственной надеждой и профессией которых стало их прошлое». Заметим, что речь идёт не об одной лишь литературе, а – о культуре в целом. Так и наши собрания привлекают людей, причастных самым разным искусствам. Салон «У Фадиных» наряду с писателями посещают художники, работники кино, музыканты.

Когда-то я вёл на берлинском русском телевидении авторскую программу «Берлинский круг чтения», где рассказывал о книжных новинках, о литературной жизни в метрополии, беседовал с писателями и редакторами журналов и, сам постепенно знакомясь с читателями, обнаружил, что иные из них не знают, где в Берлине можно купить русскую книгу или как найти библиотеку. Телепрограмма оказалась востребованной, а когда телестудия вдруг закрылась, меня даже останавливали на улице незнакомые люди – спрашивали, когда наконец возобновятся передачи.

Впрочем, сохранение традиций – это слишком общая цель. Собрания литературного салона прежде всего подогревают интерес именно к русской литературе (не только у присутствующих на собраниях, нет, круг получается гораздо шире), к родному языку.

За годы, прошедшие после выхода первого тома антологии, на собраниях салона побывали писатели не только живущие в Германии, но и гости из самых разных стран: конечно, из России (Александр Люсьй, Вячеслав Куприянов, Глеб Шульпяков, Виктор Тихомиров, Михаил Яснов), из Швейцарии (Михаил Шишкин), из Штатов (Павел Грушко),

из Франции (Василий Бетаки), из Ирландии (Анатолий Кудрявицкий), из Латвии (Сергей Морейно). Был у нас и живущий время от времени в Берлине Владимир Сорокин.

Само существование салона вызвало события, заметные в культурной жизни Европы: в 2011 году в Берлине была проведена, вместе с фестивалем русской поэзии, трёхдневная конференция «Современная русская литература в немецкоязычных странах Европы», издан как труды университета в Халле сборник докладов этой конференции, организована выставка петербургского художника Александра Визиряко (подробнее см. приложение), прошёл Конгресс Союза литераторов Европы.

Эти события произошли только благодаря стараниям хозяйки салона, Анны Перченко-Фадиной.

По старой традиции русскими салонами правили женщины. Державин так и говорил, что только женщина и может вести салон. К слову можно вспомнить и французские салоны (а они наиболее известны) – литературные салоны Маргариты Наваррской, Маргариты Шотландской... Недаром и Лев Толстой в своём романе в центре салона (правда, светского) поставил женщину.

Мы старые обычаи не нарушаем.

Предыдущий том антологии увидел свет благодаря финансовой поддержке Общества друзей художника Николая Загрекова. Наш салон намерен участвовать в работе музея этого замечательного художника, почти всю жизнь прожившего в Берлине, в праздновании 120-летия со дня его рождения, а также и в задуманном превращении этого музея в музей русской диаспоры.

В настоящей книге помещены очерк о Николае Загрекове и репродукции некоторых его картин.

Возможно, беседы в салоне, близкое общение русских литераторов – это всего лишь капля в бассейне неродной среды.

В наше время люди читают всё меньше, тем более – русские люди за границей, всё меньше – на русском, но одно только существование русского литературного салона само по себе уже напоминает даже непосвящённым о том художественном мироощущении, которое воспитано в них с детства в родных домах.

Одного мы не можем сделать – расширить аудиторию. Мы собираемся в нашей квартире, а она невелика, но переходить в новое помещение, в казённый какой-нибудь зал невозможно, нет, салону нельзя терять свою камерность, своё лицо.

Вадим Фадин



---

# Юрий Гинзбург

---

## Сегодня и вчера. Русское слово в Берлине

О литературном салоне Анны и Вадима Фадиных я впервые услышал задолго до того, как свёл с ними более близкое знакомство и оказался гостем их дома, и это меня заинтриговало. Русский литературный салон в Берлине? В двадцать первом веке? В этом было нечто набоковское. Вспомнился «Дар», салон Чернышевских, где герой романа Фёдор Годунов-Чердынцев читал свои стихи: «Собрание происходило в небольшой, трогательно роскошной квартире родственников Любови Марковны. Рыжая... барышня помогала (громким шёпотом с ней говорившей) эстонской горничной разносить чай. Среди знакомой толпы, где новых лиц было немного, Фёдор Константинович тотчас завидел Кончеева, впервые пришедшего в кружок».

Принимают ли Фадины, как и подобает салону, тоже в «трогательно роскошной квартире»? И помогает ли им своя «эстонская горничная»? Чем угощают? Кто из авторов и с чем у них выступает? Кто гости?

Со временем всё выяснилось.

Если бы по «Дару» снимался фильм, то Фадины с точки зрения фактуры вполне подошли бы на роль Чернышевских. Им и гримироваться было бы не надо. Вадим – седой сухопарый аристократичный, с декадентскими усиками поверх тонкой бескровной губы, никакого отпечатка советскости, выходя в общество, облачается в бархатный пиджак с бабочкой: вылитый персонаж серебряного века, завсегда с «Бродячей собакой». Анна – миловидная интеллигентного вида шатенка, с короткой стрижкой, живыми карими глазами и тем шармом, который отменяет возраст. Классический тип жены писателя, которая в курсе всех литературных и окололитературных событий и живет творчеством мужа, являющегося для неё при всех обстоятельствах писателем номер один.

Трудно сказать, кого из реальных лиц и под какими псевдонимами зашифровал Набоков в посетителях салона Чернышевских. Ими вполне могли быть жившие в двадцатые годы в Берлине Эренбург, Андрей Белый, Алексей Толстой, Шкловский, Ремизов, Пильняк и прочие обитатели тогдашнего Шарлоттенграда, русской трёхсоттысячной эмигрантской среды.

Сегодня в Берлине проживает примерно столько же русских, но имён такого масштаба, конечно же, и в помине нет, как, впрочем, нет их и нигде.

А что же есть? Есть, во всяком случае, по-прежнему неистребимая у русских – если не у всех, то у немалого числа – потребность в литературном слове, литературность сознания, которая то усиливается, то ослабевает, но никогда не исчезает совсем, в какой бы стране русские ни жили.

Анна и Вадим переселились в Берлин из Москвы в 1996 году. К этому времени здесь уже почти на каждом шагу звучала русская речь и сформировалась своя культурная жизнь. Фадины быстро вписались в неё, обзавелись многочисленными знакомствами.

Вадим – писатель с большим стажем. Поэт, прозаик, переводчик итальянской и эстонской лирики, автор нескольких книг, номинант и лауреат литературных премий. Печатается с 1963 года, получив литературное напутствие ещё от самого Павла Антокольского. Но литература никогда не была для него средством заработка и единственным источником существования. По своей основной профессии Вадим – инженер в ракетной отрасли, месяцами жил на удалённых полигонах, о чём сегодня вспоминает неохотно – то ли памятью о былой секретности, то ли потому, что не считает эту часть своей жизни главной. Главным своим призванием, тем, ради чего он явился на свет божий, он считает литературу, хотя за свою жизнь в Советском Союзе писать мог только урывками и большей частью «в стол». Скорее всего с его научной квалификацией и практическим опытом Вадим вполне мог бы найти в Германии высокооплачиваемую работу в оборонной или аэрокосмической области, но... не хлебом единым жив человек. Фадин предпочёл конструкторским расчётам литературное творчество, а обществу инженеров – среду собратьев по перу, перевернул как бы новую жизненную страницу. Новый горизонт всегда заряжает оптимизмом и наполняет свежей энергией. В Берлине Вадим стал сотрудничать с местными и мировыми русскоязычными изданиями, получил на существовавшем тогда берлинском русскоязычном телевизионном канале собственную литературную передачу под названием «Берлинский круг чтения», вступил в эмигрантский ПЕН-клуб в Германии. Там и возникла идея литературного салона.

«Писательская работа – келейная», рассказывает Фадин. «Все сидят дома по своим кабинетам, никто никого не видит. В Москве был Центральный Дом Литераторов, в его знаменитом буфете можно было встретить за один вечер пятнадцать-двадцать знакомых, включая и «нужных» людей – журнальных, издательских работников и т. д. В берлинской русской секции ПЕН-клуба нас было человек пять, и однажды кто-то высказал идею проводить регулярные литературные салоны, чтобы чаще видаться и читать на людях свои произведения. Поначалу хотели присмотреть для этой цели какую-нибудь виллу в хорошем районе, но всё это было слож-

но, дорого, и в итоге получилось так, что салон стал проходить у нас на квартире. И всем понравилось. И тёплая домашняя атмосфера, и фуршет, который моя жена Анна готовит для гостей».

Между эпохой девяностых годов и нынешней существует принципиальная разница. Кардинально изменились не просто политические реальности, но само человеческое сознание. Буквально на наших глазах возникла совершенно другая цивилизация. Хотим мы того или нет, интернет и смартфоны превратили нас в новый биологический вид – гибрид человека и компьютера. Окончательно утвердившаяся модель неолиберальной экономики, абсолютизирующая такие понятия, как частная инициатива, личное преуспевание (выставленное напоказ), прибыль, эффективность, деформировала человеческую психику и мораль. Интернет-революция полностью преобразила медийный ландшафт. Социальные сети создали новые формы, язык, новые взаимоотношения между автором и читателем, выработали новые финансовые механизмы. Этот перечень глобальных перемен можно продолжать и продолжать.

Смена эпох неузнаваемо изменила и лицо русскоязычной прессы Германии, включая берлинскую. Сегодня она являет собой на 99 процентов бульварную макулатуру – десятки мало чем отличающихся друг от друга безликих газет, дешёвеньких глянцевого изданий с названиями вроде «Светлана» или «Русский вояж» и интернет-сайтов, состоящих из коротких примитивных текстов и фотографий на классические бульварные темы и до предела забитых рекламой.

Основной изготовитель этого чтива – берлинский медиахолдинг Rusmedia, в котором объединены несколько фирм и работает добрая сотня человек. Он вырос из скромной эмигрантской газетки «Русский Берлин», созданной во второй половине девяностых годов рижским журналистом, сотрудником газеты «Советская молодёжь» Борисом Фельдманом вместе с его братом Дмитрием. В Берлине холдинг имеет ещё свою музыкально-развлекательную радиостанцию «Russkij Berlin», круглосуточно передающую из всего неисчерпаемого великолепия мировой музыки сугубо русскую «попсу» – современную низкопробную эстраду с соответствующими текстами и мелодиями, слушание которой в течение больше одной минуты для людей с мало-мальским вкусом и образованием может быть приравнено к пытке.

Следуя духу времени, одна из руководителей Rusmedia Светлана Леках формулирует бизнес-концепцию холдинга так: «Мы продаём не медийную продукцию, а целевую аудиторию».

Своего читателя/слушателя Rusmedia с гордостью характеризует на

сайте компании как «молодое и активное население, ориентированное на высокие стандарты потребления», «отличающееся высокой покупательной способностью, ярко выраженным предпочтением брендовых товаров и стремящееся к высокому жизненному уровню». У меня подобные формулировки не вызывают ничего, кроме ужаса. Я вижу перед собой, словно на сюрреалистической картине, массу однотипных человекообразных существ с пустыми глазами и лицами, лишёнными всяких следов духовной работы, тела-функции, запрограммированные лишь на исполнение какой-то практической деятельности, удовольствия и приобретения.

Человеческая ценность этой массы обратно пропорциональна покупательной способности. Маркетологи высчитали, что покупательная способность трёх с половиной миллионов русскоговорящих, проживающих в Германии, составляет 42 миллиарда евро. Добыть по возможности больший процент от этой суммы – главная задача владельцев Rusmedia. В осуществлении её стратегическая роль отводится, понятно, не эстетическому и не содержательному качеству публикуемых вещей, а рекламодателям, спонсорам, дружественным политикам и прочим бизнес-партнерам. Дмитрий Фельдман, бывший еврейский контингентный беженец с советским паспортом, обитатель в начале девяностых годов беженского общежития в Восточном Берлине, а ныне шеф Rusmedia, развил в этом направлении бурную деятельность, привязав свою компанию ко множеству российских и международных брендов – тут и Гугл, и Люфтганза, и Мэйл.Ру, и Социал-Демократическая партия Германии и т. д., благодаря чему оказался вхож в высокие политические круги как в Германии, так и в России.

Я далёк от того, чтобы идеализировать русскую жизнь в Берлине девяностых годов и противопоставлять её нынешнему времени. Объективно говоря, сейчас многое стало проще, легче, доступнее. Раньше мы везли – или просили привезти – из России любимые с детства «специалитеты», которых не было в Германии: сушки, пастилу, воблу, икру, тульские пряники, бородинский хлеб, узбекские дыни. Сейчас в совсем неплохих берлинских русских супермаркетах продаётся практически то же самое, что и в Москве. Ещё в девяностые годы из России, часто платя за перевес, везли как большую ценность книги, газеты, журналы – сейчас всё это можно бесплатно прочитать в интернете, книги можно заказывать с доставкой на дом по «Озону» или другим сервисам. Также в интернете можно смотреть практически любые российские фильмы, телевидение, слушать радио и читать блоги с какой угодно спецификой, в том числе и берлинско-русской. И тем не менее для меня в русском Берлине девяностых осталось что-то такое, чего сейчас уже нет. Мне дороги воспоминания о эмигрантах тех лет –

личностях с нестандартными биографиями, – создавших свою особенную ауру. Воспоминания о них – часть моей жизни и одна из страниц ушедшей эпохи – в чём-то трогательная, в чём-то курьёзная, в чём-то грустная.

«Безумная идея – издавать ещё один журнал в эмиграции – родилась два года назад. Она не воплощалась по многим причинам, как материальным, так и чисто техническим. Было мало материалов, не было концепции... Потом кто-то сказал – «Остров». Всё-таки мы – на острове. Русские. Русскоязычные. Русскоговорящие. Русскодумающие», – писал в 1994 году в предисловии к первому номеру своего журнала «Остров» его главный редактор художник Вячеслав Сысоев.

Идея Сысоева издавать собственный русский журнал в Берлине и впрямь была безумна. Прежде всего было непонятно, кому и зачем нужен его журнал, что и по какому принципу он собирается в нём печатать, из каких средств оплачивать издательские расходы и т.д. Всё говорило против такой затеи. Упразднение цензуры и издательский бум в России фактически лишили смысла существование эмигрантской печати как вольной трибуны, вытеснило на периферию даже такие некогда знаменитые и авторитетные издания как «Грани», «Посев», «Континент», «Русская мысль» (странно, что они вообще существуют до сих пор). Они уже не могли конкурировать с внутрисоветскими медиа, которые были гораздо ближе и к событиям в стране, и к читателям, да и делались новыми молодыми журналистами с тем задором, с которым не мог тягаться рациональный аналитический взгляд из-за границы. В постсоветскую Россию вернулись самые именитые политические эмигранты из числа литераторов: Солженицын, Войнович, Аксенов, Кронид Любарский...

Само название журнала «Остров» было спорным. Русские в Германии, принесённые «четвёртой волной» эмиграции, были отнюдь не на острове, т. е. не в изоляции со стороны немцев и не оторванными от своей родины, куда они, особенно после разгрома путча так называемых «красно-коричневых» в октябре 1993 года, могли теперь ездить безбоязненно и беспрепятственно. На «острове» находился сам Сысоев.

Миллионы людей страдали и страдают синдромом общего страха, боязнью окружающего мира; в наше время – время террора и сплошных опасностей – таких становится всё больше. Этому же был подвержен и Вячеслав Сысоев. Синдром страха развился у Сысоева не на пустом месте. В молодости он, рабочий парень и художник-самоучка, примкнул к диссидентской среде. Против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в изготовлении порнографии, а на самом деле за политические карикатуры в фривольном жанре. Три с половиной года он скрывался от следствия, уйдя



фактически в подполье, потом был арестован, отсидел два года «на зоне» с уголовниками. На Западе была поднята компания в защиту Сысоева, затем последовала эмиграция: Париж, Западный Берлин, внимание западных галерейщиков, медий, пресс-конференции, интервью; но спустя короткое время на Западе к бывшему «узнику совести» пропал всякий интерес.

Поселившись в Берлине, Сысоев, медведеобразный увалень с простым лицом, длинными волосами и глубоко посаженными настороженными глазами, не выходил из квартиры. Вообще. Кроме самых-самых неотложных случаев, когда требовалось личное присутствие в каком-то учреждении или у врача. После всех перенесённых им тягот он не хотел больше подвергать себя никакой опасности. Самой большой опасностью ему виделась Россия. Он всерьёз не исключал, что советская армия может вновь войти в Берлин и схватить его.

Практическую связь с внешним миром осуществляла его жена Лариса. Все свои дни Сысоев проводил, закрывшись у себя в комнате и сутками слушая радио «Свобода». Время от времени рисовал едкие политические карикатуры на российские темы, выполненные всё в том же лубочном духе. Потом он обзавёлся компьютером, стал прикидывать на нём макет журнала, благо уже существовали специальные программы. Сысоев действительно жил, как на острове. Впрочем, несмотря на свою нелюдимость, он странным образом был в то же время человеком весьма светским. В его квартире постоянно бывали гости, в том числе и из России, среди них представители московского литературного бомонда вроде Приставкина, Сапгира, Ерофеева, Евгения Попова, Рубинштейна, Мальгина и проч., по-прежнему ценившие его и как художника, и как неординарную личность.

Издание журнала было для Сысоева попыткой вернуться в жизнь, очнуться от эмигрантской летаргии и заняться общественно значимым делом, иметь возможность публиковаться самому, коль скоро для него оказались закрыты двери других редакций. Но возможности его были крайне скудны. Материалы для «Острова» Сысоев набирал фактически из того, что скопилось в письменных столах знакомых – из того, что не было ранее напечатано по тем или иным причинам. В основном это были случайные вещи, хотя и принадлежавшие перу известных писателей, например, Беллы Ахмадулиной или Виктора Сосноры. Гонораров он платить не мог, его читательская аудитория была мизерна.

«Остров» вышел несколькими номерами, после чего прекратил своё существование. Я храню его первый номер как исторический документ и журнальный раритет.

Более удачным оказался опыт берлинского журнала «Зеркало загадок», который в промежутке между 1995 и 2002 годами издавали мать и сын Мина

и Игорь Полянский, а также муж Мины Борис Антипов. За плечами у этой семьи тоже имелся достаточно нелёгкий и несладкий эмигрантский опыт, вобравший в себя утрату советского гражданства и квартиры в Ленинграде, семь месяцев «алии» и нищеты в Иерусалиме, разочарование Израилем и почти бегство оттуда в Берлин, где они на годы зависли в унижительном своей неопределённостью статусе – не то еврейских беженцев из СССР, не то иммигрантов из Израиля – с неясными перспективами получения вида на жительство в Германии и в крайне стеснённом материальном положении.

Мина Полянская – филолог по образованию и энциклопедический знаток своего города, многие годы проработала экскурсоводом по литературному Петербургу. Игорь учился на факультете биологии и немного пробовал себя в журналистике, как в России, так и в Израиле.

Выпускать свой журнал в Берлине Мину подтолкнуло одиночество, ощущение культурного вакуума в очередной чужой стране, точнее – попытка через журнал образовать вокруг себя слой единомышленников, как она однажды выразилась, «зажечь свет, на который бы, словно бабочки, летели хорошие люди и, возможно, в один прекрасный день прилетит бабочка Набокова». Игорь с его пусть небольшим, но всё же журналистским опытом предложил делать журнал как культурно-политический, обнаружив, что среди русских изданий в отличие от Америки и Израиля в Германии эта ниша вакантна. И действительно – уже на первый номер журнала, сделанный почти кустарно, напечатанный за минимальные деньги в полулюбительской типографии у друзей-немцев в Кройцберге на плохой бумаге мелким шрифтом, заполненный в основном материалами из-под пера Мины и Игоря, полетели «бабочки»! Тематический спектр журнала – евреи, эмиграция, культура, коммунизм, русский взгляд на Запад, западный взгляд на Россию и т.д. – оказался интересен широкому читательскому кругу. Его презентация в 1995 году, проходившая в конференц-зале Русского дома на Фридрихштрассе, вызвала у русскоязычной публики самый настоящий ажиотаж. Журнал стал выходить регулярно, его заметили не только в Германии, но и в России, о нём хвалебно отозвались «Новый мир», «Франкфуртер Альгемайне», «Радио Свобода». Со временем в «Зеркале Загадок» стали выступать со специально написанными для него статьями по-настоящему крупные авторы, в частности, Ефим Эткинд, Борис Хазанов, Лев Анненский и другие, а той самой «набоковской бабочкой», прилетевшей к журналу, оказалась живший в Берлине Фридрих Горенштейн, автор сценариев к фильмам Тарковского, выдающийся прозаик и весьма своеобразный публицист. «Зеркало загадок» как свободная дискуссионная площадка стал для него едва ли не главной публицистической трибуной, а семья Полянских – близкими друзьями.

Я вспоминаю, как начинался выходящий и поныне журнал «Студия». С его редактором Александром Лайко я был знаком ещё по Москве, с начала семидесятых годов. Одно время мы общались довольно тесно. Лайко был человеком не вполне определённого рода занятий. Он был как бы поэт, но практически не печатался, принадлежал не то к богеме, не то к андерграунду и, чтобы на что-то жить, работал лифтьёром. В этом нет ничего зазорного. В те годы многие люди искусства, чьи произведения и стиль жизни не вписывались в советскую схему, работали сторожами, лифтьёрами, кочегарами и проч. Лифтьёрами в подъезде моего дома в Москве по странному стечению обстоятельств одно время работали ставший впоследствии знаменитым музыкант и актёр Пётр Мамонов и сын Булата Окуджавы Игорь, впрочем, обоих почти никогда не было на месте.

Эмигрировав в Берлин в 1990 году, Лайко долго не мог себя найти. Немецкого он не знал, профессии у него не было, перспектив на трудоустройство в пятьдесят два года тоже не было никаких, к бизнесу талантов у него не было. Несколько лет он прозябал дома, пока однажды в еврейской общине ему не предложили вести литературную студию для русскоязычных авторов. Он согласился. На заседания студии приходило немало людей. Они читали свои рассказы, стихи, эссе, переводы. Из этих вещей сложился альманах, так и названный – «Студия».

В середине девяностых я брал у Лайко интервью по случаю появления альманаха. Лайко было не узнать. Он словно ожил и помолодел, был преисполнен гордости. Впервые за долгие годы было вновь напечатано его имя. Да и в каком качестве! Главный редактор! За его спиной виднелись пачки с только что отпечатанными журналами. Было непонятно, как распространить эти сотни экземпляров, как должно окупиться и дальше функционировать издание. Но бухгалтерские вопросы были для Лайко второстепенными. Главным было то, что произведения обрели плоть, а их авторы веру в себя. Я полистал один из экземпляров. Читательного было немного, какие-то вещи были по стилю откровенно дилетантскими. Я хотел сказать это Лайко, потом вспомнил слова Чехова про писателей, сказанные им Бунину: «Есть большие собаки и есть маленькие собаки, но маленькие не должны смущаться существованием больших: все обязаны лаять – и лаять тем голосом, какой Господь Бог дал» – и я похвалил его издание.

В дальнейшем в «Студии» стали публиковаться произведения известных писателей из самых разных стран.

А вот у газеты «Европа-центр», которую в самом начале девяностых создали супруги Светлана Березницкая и Юрий Зарубин, судьба сложилась печально, хотя много лет казалось, что это воплощённая история успеха.

Светлана и Юрий прибыли в начале 1991 года из Москвы в Берлин не как еврейские беженцы из СССР, к тому времени уже наполнившие немецкую столицу, а как представители английского медиамагната Роберта Максвелла, развивавшего в ту пору высокодоходный издательский бизнес на восточноевропейском направлении. До этого они десятилетиями проработали в советской печати: Светлана – в не самых крупных, но достаточно известных газетах, Юрий принадлежал к московской журналистской элите – был заведомом в «Вечерней Москве», ответственным секретарём в журнале «Советский экран», потом, в горбачёвские годы, трудился на той же должности в престижном журнале «Наше наследие». Журнал выпускался Советским фондом культуры, одним из руководителей которого была Раиса Горбачёва, жена советского президента, а соиздателем был мультимиллиардер Максвелл, знавший всех советских генсеков, начиная с Брежнева, и умевший зарабатывать хорошие деньги на дружбе с СССР.

Проект в Берлине, суливший Светлане и Юрию радужное будущее, кончился, ещё не успев толком начаться. Августовский путч 1991 года фактически лишил Горбачёвых всякого влияния, а в ноябре того же года при странных обстоятельствах погиб Максвелл, оказавшийся, как потом выяснилось, банкротом с многомиллионными долгами.

Нужда заставила Светлану и Юрия начинать с нуля. Газетчики до мозга костей, они решили выпускать в Берлине газету для местных русскоязычных, благо к тому времени таковых там уже насчитывались сотни тысяч. Название газеты позаимствовали у торгового центра в Западном Берлине – «Европа-Центр». Дело обещало быть прибыльным. Вскоре был найден инвестор и совладелец – Вольфганг Хаазе, хозяин западноберлинского издательства «Edition Q», выпускавшего книги по стоматологии.

«Европа-Центр» чем-то напоминала «Литературную газету» в пору её наибольшей популярности, только имела немецко-берлинскую специфику. Это была интеллигентная газета с добрым посылом, вынесенным на первую страницу в качестве девиза: «Везде, где можно жить, можно жить хорошо». Тираж её быстро вырос до нескольких десятков тысяч экземпляров, что приносило издателям ощутимый доход.

В середине девяностых годов Зарубин решил расстаться с Хаазе, посчитав, что тот забирает себе слишком большую доли прибыли и что окончательно финансово окрепшая газета теперь может существовать и без немца, зарабатывать на себя. Возможно, с математической точки зрения Зарубин был прав, но стратегически это была фатальная ошибка. Зарубин был прекрасный журналист и редактор, но в отличие от своего бывшего партнёра, наторевшего в западном

издательском бизнесе, совсем не финансист. Принятые Зарубиным на работу немецкие «гешефтсфюреры» не смогли удержать в зоне прибыльности газету, у которой к тому же возникло немало конкурентов, включая не только «Русский Берлин» Фельдмана, но и российские меди, шагнувшие на западный рынок («Московский комсомолец в Германии» и т.д.). К концу девяностых годов «Европа-Центр», несмотря на свой благородный пафос и высокий журналистский уровень, оказалась перед угрозой банкротства. Вот тут-то и возник ее спаситель-инвестор, а на самом деле могильщик Николай Вернер – российский олигарх на тот момент двадцати восьми лет, сколотивший непонятно на чём миллионное состояние не то в родной ему Сибири, не то в Молдавии, не то в Америке.

У Вернера были амбициозные планы – купив «Европу-центр», как бы заложив первый камень, создать в Берлине собственную медиа- и бизнес-империю. По этому плану Зарубин и Березницкая из собственников газеты превращались в наёмных работников на высоких должностях и с хорошей зарплатой в неувольняемом статусе, полноправным же хозяином становился Вернер.

Спустя совсем короткое время, Светлана и Юрий убедились, что стали жертвой афериста. Два интеллигентных человека были ему, мафиозному коммерсанту новой формации, попросту не нужны – ни в руководстве газеты, ни вообще. По договору Вернер не мог их уволить, но он делал всё, чтобы выжить их из газеты: распекал в хамском тоне Зарубина за плохую работу, затем стал задерживать зарплату.

О Вернере как о криминальном дельце и об его в 2014 году лопнувшем холдинге Werner Media, представлявшем себя как «крупнейшее русскоязычное издательство Европы за пределами России», немало написано в русском и немецком интернете. Большое расследование ему посвятила, в частности, немецкая газета «Ди Вельт». Я не буду пересказывать то, что можно найти с помощью гугла.

Мне пора вернуться к салону Фадиных. Однажды мне довелось туда всё-таки попасть. Меня захватил с собой мой друг, поэт, переводчик-испанист Павел Грушко, прибывший на несколько дней из Бостона в Берлин и приглашённый Фадиными почитать свои вещи.

С первой же минуты у меня возникло ощущение маленького чуда. Пройдя берлинскую тихую улицу в районе, населённом в основном турками, я позвонил в дверь квартиры на первом этаже и.... оказался в Москве шестидесятых-семидесятых годов! Нет, мебель была довольно современная, и у стены стоял плоский телевизор. Здесь было нечто такое, что напоминало мне не то квартиру моих родителей в писательском доме у метро



«Аэропорт», не то ЦДЛ. Во всей атмосфере собрания царила благородная и бескорыстная доброжелательность, какая почти ушла из нашего времени.

Квартира Фадиных небольшая, двухкомнатная, но уютная и кажется просторной. Гостиная соединена аркой с кухней. Человек пятнадцать-двадцать – небольшое интеллигентное общество – заполняют это пространство, устроившись на диване и стульях. Наверняка в их берлинских квартирах точно так же стоят стеллажи с русской и зарубежной классикой, как это было у них в московских, ленинградских, рижских домах. Эти люди, застрявшие в старом времени, дорожат привезёнными с собой в эмиграцию книгами как едва ли не главной своей ценностью, потерять которую равносильно тому, как потерять часть своей жизни и души.

Фадин звонит в колокольчик, возвещая начало авторского вечера. Грушко занимает место «на сцене», т.е. в кресле за маленьким журнальным столиком. Сперва он читает свои переводы из испанской поэзии, потом сцены из либретто к мюзиклу «Мастер и Маргарита», которое писал для одного из московских театров. В завязавшейся потом дискуссии кого-то интересует соотношение допустимой вольности и необходимой точности в поэтическом переводе, кто-то спрашивает о роли поэзии в наше время.

«Для меня поэзия – «застенчивая блажь», нечто между Я и явью», говорит восьмидесятипятилетний Грушко, в столь почтенном возрасте не только не утративший поэтический дар, но раскрывшийся как глубокий философский лирик. «Стихи – это попытка объявить о своем существовании, осмыслить, зачем я явился на этот свет.»

Спустя час объявляется перерыв, Анна приглашает гостей на кухню к столу, на который уже успела выставить собственноручно приготовленные ею кулинарные шедевры – киш лорен, тающие во рту пирожки с мясом и капустой, долму и лёгкие и крепкие напитки. Потом в гостиной продолжился разговор о литературе.

Он не угас, несмотря ни на что, этот маленький очаг русской литературы, русского слова в Берлине. Салон Фадиных держится на чистом энтузиазме и проводится ими – в наш меркантильный век – совершенно бескорыстно и бесплатно, хотя требует от них немало физических и финансовых затрат.

С тех пор я бывал не раз у Фадиных на салоне. Там, в кресле за журнальным столиком, выступали авторы разных возрастов, дарований и жанров – реалисты, абсурдисты, эссеисты и так далее, неизменным было для меня лишь одно: чувство праздника в доме хороших людей. Я желаю, чтобы в этом доме такие праздники случались как можно дольше.



*При слове Германия для меня в первую очередь это вы – Фадины, Анечка и Вадим, ваше щедрое радушие и доброта, не выспренный талант Вадима и душевный интерес к моим жизненным и творческим делам хозяйки дома. С благодарностью за честь опубликоваться в вашем Альманахе, –*

*Павел Грушко.  
Бостон, 26 августа 2016*





1



2



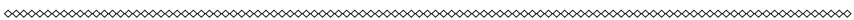
3



4

1 Татьяна Зажицкая  
2 Сергей Морейно

3 Ольга Медведко  
4 Борис Замятин





5



7



6



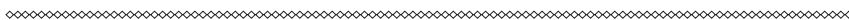
8



9

5 Михаил и Евгения Шишкины  
6 Алексей Макушинский

7 Михаил Шишкин  
8 Марина Гершенович  
9 Павел Грушко







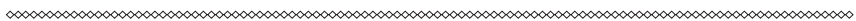
1 ◊◊◊◊

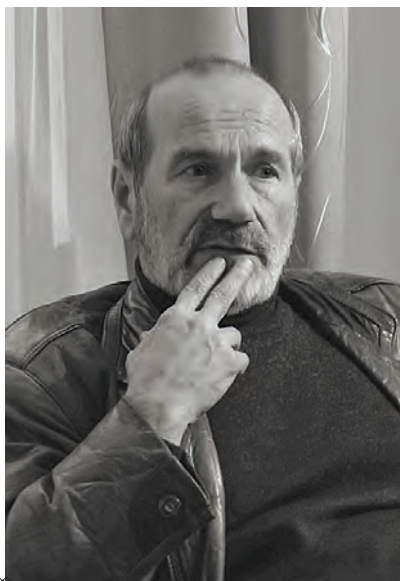


2 ◊◊◊◊

1 Александр Визиряко. Всадница (2007)

2 Александр Визиряко. Золотой век (1989)





3



4

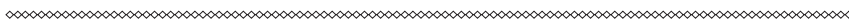


5

3 Сергей Гладких

4 Владимир Сорокин

5 А.Визиряко, А.Перченко-Фадина, В.Фадин на выставке «Евразия»







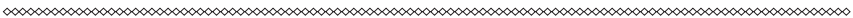
1



2

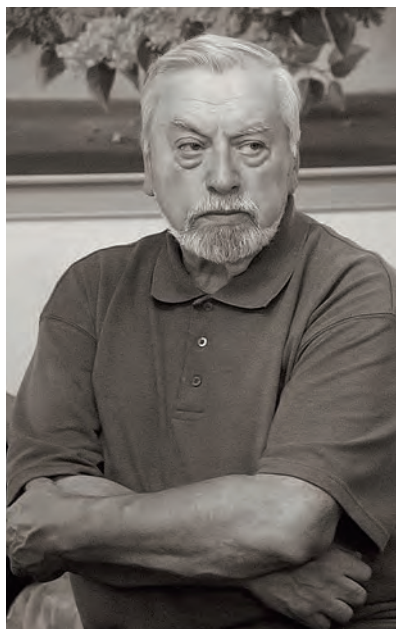
*1 Павел Грушко, Сергей и Виктория Юризицкие.*

*2 Любовь Рутгайзер, Елена Смолянская, Юрий Гинзбург*





3



5



4



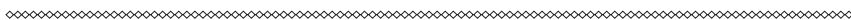
6

3 Александр Люсьи

4 Франциска Цверг

5 Александр Лайко

6 Александр Шмидт





1

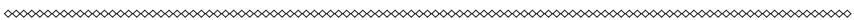


2



3

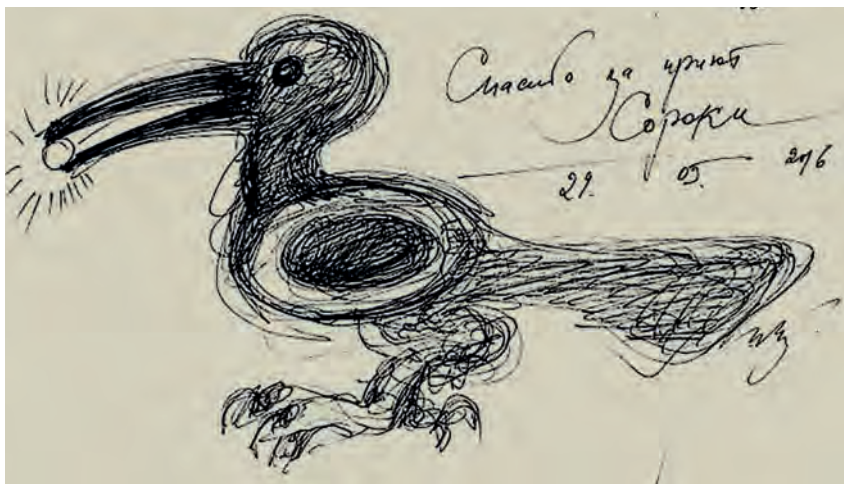
- 1 Глеб Шумьяков  
2 Татьяна Нелюбина  
3 Читает Генрих Кирибаум







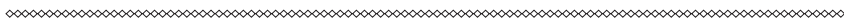
4



5

4 Владимир Сорокин

5 Рисунок В. Сорокина из альбома салона





1



2



3



4

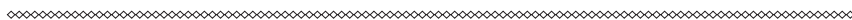
1 Михаил Яснoв

2 Борис Кoльмагин

3 Александр и Алёна Шмидт

4 Иосиф Малкиель, Виктория Жукова,

Татьяна Нелюбина





5 ∞∞∞



∞∞∞ 6



∞∞∞ 7

5 Виктор Тихомиров. Сон Татьяны

6 Виктор Тихомиров. Сергей Довлатов выходит из дома

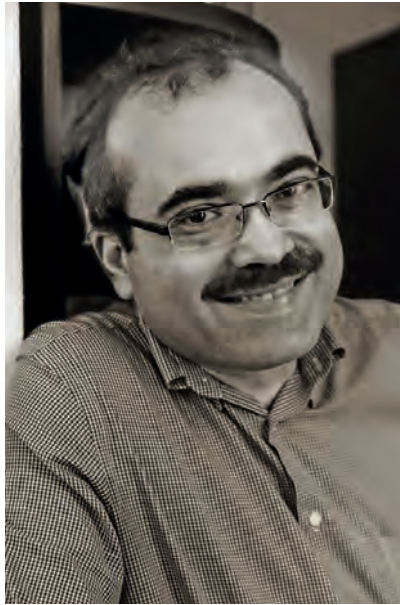
7 С. Юризицкий и В. Тихомиров на съёмках фильма «Чапаев, Чапаев»







1

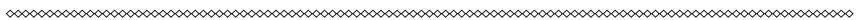


2



3

- 1 Леонид Гиришович  
2 Дмитрий Драгилёв  
3 Сергей Бiryюков(слева), Вячеслав Куприянов





4 ❖❖❖



❖❖❖ 5



6 ❖❖❖



❖❖❖ 8



7 ❖❖❖

4 Анатолий Кудрявицкий

5 Генрих Кирибаум

6 Павел Нермер

7 Сергей Гладких, Светлана Менгель

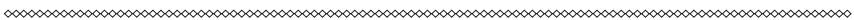
8 Александр Смолянский





1

1. Николай Загреков. Двойной портрет (1927)

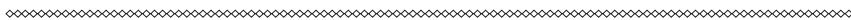






2

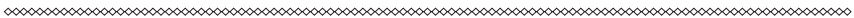
2. Николай Загреков. Испанка (1928)





3

3. Николай Загреков. Деревья у оврага (1924)



---

# Александр Люсый

---

## Берлинская нота, петербургский текст

Великий исход из России после 1917 года сопровождался возобновлением и созданием многих тысяч объединений военных и общественных деятелей, ученых, писателей, драматургов, издателей, журналистов, актеров, художников. В этом гигантском перечне насчитывается несколько сот чисто литературных, к ним прибавились литературно-политические, литературно-музыкально-артистические, литературно-художественные.

Размышляя о таком, выражаясь современным научным языком, синергетическом явлении, Владислав Ходасевич пришел к такому выводу: «Если присмотреться, то окажется, что история русской литературы есть история объединений, испокон веков обвинявшихся во всех смертных грехах кружковщины». И далее поясняет: «Группы могут быть “правыми” или “неправыми”, добрыми или злыми, но самое возникновение их всегда жизненно, ибо оно – следствие доброй или злой энергии, скопившейся в глубине исторического или литературного процесса. Идет ли речь о новых воззрениях или всего лишь о новых литературных формах, и то и другое корнями уходит очень глубоко: в возникновение новых идей. Там, где лишь намечается новая литературная группа, почти всегда можно безошибочно угадать существование подземного идейного родника. По мере оформления группы, в смысле её состава и самоопределения, – идейный родник прорывается наружу. Новая группа вступает в борьбу со своими предшественниками. Или на неё нападают, или – чаще – она нападает первой. И эта борьба благая, законная борьба за свою идею, за то, чем группа вызвана к существованию. Только наличность идеи ведёт к борьбе, ибо только идеи обладают способностью глубоко соединять и глубоко разъединять. Каждая идея приносит меч».

В первой половине 1920-х годов столицей русской эмиграции был Берлин. В развитии литературного процесса русского Берлина значимую роль сыграли писательские объединения и клубы. Своеобразной кульминацией общественно-литературной жизни русского Берлина стало создание в 1921 году берлинского Дома Искусств, где происходил наиболее интенсивный обмен культурной информацией, рецензировались новые произведения, читались лекции по проблемам современного искусства, велась ожесточенная идеологическая и эстетическая полемика – подобно



тому, как это происходило в петербургском Доме Искусств. Существовало 86 издательств и книжных магазинов, имевших собственное производство. Особенно успешным было издательство с характерным названием «Петрополис» (эта крупнейшая фирма была закрыта во время войны, её архивы изъяты гестапо и до сих пор не найдены).

В дальнейшем роль эмигрантской столицы была заимствована Парижем. Но в обоих случаях степень такой «столичности» во многом определялась особой петербургской степенью присутствия образа России в сознании и творчестве. И эта степень сохраняла некую целостность среди людей разных, порой непримиримых, убеждений.

Подводя культурные итоги русской эмиграции за первые три десятилетия (а в определённой мере и итоги собственной жизни), поэт Николай Оцуп писал:

Конкорд и Елисейские поля,  
А в памяти Садовая и Невский,  
Над Блоком петербургская земля.  
Над всеми странами Толстой и Достоевский...

По мнению О. Р. Демидовой, эмиграция для творческой личности – взаимоналожение двух культур: страны исхода и страны проживания, что, в свою очередь, «имеет результатом сосуществование в сознании эмигранта двух типов значимых локусов: связанных с бытием до- и собственно эмигрантским». Локальный текст культуры с точки зрения современных технологий наследования имеет тут медиализирующее и синтезирующее значение.

Образ Петербурга, живший в эмигрантском сознании, эксплицировался на разных уровнях. Во-первых, на уровне самоидентификации и самоназвания: подчеркнутая ориентация на дореволюционное культурное наследие – петербургскую традицию русской литературы – обуславливала эмигрантское восприятие прежних явлений общекультурного и литературного быта как архетипических, что постулировалось в программных заявлениях эмигрантских объединений и изданий, а порой – и в их названиях. Парижские «Зелёная лампа» и «Арзамас», варшавский «Домик в Коломне», харбинский литературный кружок «Акмэ», константинопольский «Цареградский цех поэтов», берлинский, парижский, таллинский и юрьевский «Цехи поэтов» ассоциировались с пушкинским Петербургом, с русским Серебряным веком и с гумилёвским Цехом.

В рамках данной модели, к примеру, родился русский Монпарнас меж-

военных десятилетий – как синтез двух мифопоэтических пространств: Петербурга и Парижа-Монпарнаса с присущим каждому из них смысловым комплексом. Монпарнасские поэты «с жадностью внимали каждому слову «петербургских» поэтов: они застали ещё то время, когда возвращались на землю последние из «отважных аргонавтов», слышали их рассказы. <...> Когда Георгий Иванов в котелке и в английском пальто входил в «Селект», с ним входила, казалось, вся слава блоковского Петербурга: он вынес её за границу, как когда-то Эней вынес из горящей Трои своего отца. Нередко монпарнасцы выстраивали собственный образ «под петербургских поэтов». К примеру, Алла Головина выстраивала себя «немного под Ахматову», копируя один из наиболее известных и запомнившихся внешних признаков; Николай Оцуп избрал роль наставника молодёжи – продолжателя дела Гумилёва и т.п.

В свою очередь, Монпарнас и сам превращался в мифопоэтический locus в непосредственном восприятии эмигрантской «провинции». В созданных по прошествии длительного времени воспоминаниях парижан. «Монпарнас нам мнился мифологическим священным «пупом земли», где сходились ад, небо и земля», – писал Варшавский. Монпарнас как феномен стал духовным домом молодых эмигрантских писателей, собиравших пространство «через смыслы», а себя – через насыщенное смыслами пространство. Культура русского Монпарнаса представляла собой результат взаимоналожения двух культур: русской, преимущественно петербургского периода, и французской, а формировалась в процессе свободного творческого взаимодействия, не ограниченного возрастом, национальной и конфессиональной принадлежностью или эстетическими установками. Роль мэтра на Монпарнасе трансформировалась в роль своеобразного «гения места». Если до революции окно в мир нового французского искусства прорубал М. Волошин, то после революции эту роль «стихийно» взял на себя Г. Адамович, бывший «гумилёвский мальчик». В роли старшего собеседника Адамовичу удалось сделать то, что не удалось Ходасевичу, Бёму и другим претендентам на роль «мэтров». К последним из указанных литераторов Монпарнас прислушивался, за Адамовичем он шёл. Не случайно «парижская нота», отцом которой считается Адамович, впоследствии определялась современниками как та «лирическая атмосфера», «литературная атмосфера», которую Адамович сумел создать для зарубежной поэзии.

В Берлине способом присутствия «петербургского текста» в творчестве русских эмигрантов стал жанр «берлинского очерка». «В «берлинском очерке» Берлин поразительно похож на Петербург, – отмечает

Е. Пономарёв в статье «"Берлинский очерк" 1920-х годов как вариант петербургского текста». Притом, что Берлин совсем отсутствует в списке привычных проекций петербургского мифа. Петербург называли русским Амстердамом и северной Венецией, сравнивали с Римом, Лондоном, Парижем – и очень редко – с Берлином. Тиме из всей традиции XIX века находит прямое сравнение двух столиц только у Ф. Достоевского, в «Зимних заметках о летних впечатлениях».

Перенеся в Берлин посредством литературных салонов и эмигрантских литературных изданий фундамент петербургского текста, «берлинский очерк» по-своему пытается позаимствовать и его энергетику. Авторы находят в немецкой столице две противоположности, противопоставляют положительный Берлин Берлину отрицательному. В скором времени (начиная со стихотворения Маяковского «Два Берлина», 1924) советская традиция осмыслит это противопоставление в строго социальном, классовом плане: Норден – Берлин хороший, в нем зарождается Германия будущего; Вестен – Берлин плохой. Отсюда, в конечном счёте, прорастёт и советская формула «город контрастов». Но поначалу контрастность побеждённого Берлина напрямую восходит к двуполюсности петербургского мифа.

«Берлинский очерк» пытается создать сильные антитезы, используя актуальный материал: сформулированное О. Шпенглером противопоставление культуры и цивилизации, нищета немцев и роскошества иностранцев, достаток прежней и распад нынешней жизни, довоенная уверенность в завтрашнем дне и неопределённость положения послевоенной Германии и т. д.

Все ужасы Петербурга петербургский текст обычно снимает так же, как и нагнетал, – при помощи фантазмагоричности изображаемого. Фантазмагория делает ужасы нереальными, умозрительными, литературно-театральными. Точно так же поступает «берлинский очерк» и с житейскими ужасами послевоенного Берлина: в текст проникают мотивы маски, маскарада, переодевания, что, по наблюдению, Е. Пономарёва, шло от Гоголя-петербуржца и реактуализовалось символизмом. На улицах Берлина, как раньше на улицах Петербурга, появляются воплощения «голых идей»

Лишенный лица город порождает причудливые маски-мифы. Андрей Белый, давно убеждённый в том, что Европу захватывает символический «негр», воочию видит на улицах египетские божества – «пёсеголового человека». Традиционный гоголевский мотив «Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется!» реализуется в Берлине при помощи «эрзац-темы»: «В Берлине всё – "эрзац". Табак из капусты, кофе из фасоли, пирожные из картошки. Вместо рубашек – одни манишки. Когда берешь в руки

простейшую вещь, никогда не знаешь, из чего она сделана. К этому быстро привыкаешь <...> Если бы мне дали здесь хлеб с маслом, я, наверное, принял бы масло за подделку почтенного маргарина». Эрзацем оказывается и берлинская архитектура с одинаковыми, как чемоданы, домами и памятниками как сервизами. То есть Берлин подаётся, как испорченный Петербург – похожий, но не такой, ухудшенный. Можно сказать, что «берлинский текст» выстраивает отталкивание от Петербурга – точно так же, как петербургский текст был в определённом смысле антимоделью Москвы. Немецкая столица предстаёт в качестве двойника Петербурга, осмысленного в традиции петербургского двойничества Достоевского – Блока. Несмотря на нагнетаемые сходства, Берлин вызывает скорее негативные чувства именно тем, что он, напоминая, всё же не похож на родной и привычный Петербург. Это чужое пространство, не поддающееся переписыванию на русский лад.

Суммировав традиционные мотивы петербургского текста, «берлинский очерк» ищет стержневой образ – нового Медного всадника, застывшего над бездной, и опознаёт его в разных скульптурных изображениях. Берлин – город сотен Медных всадников. Уникальная петербургская скульптура привычным приёмом «берлинского очерка» многократно тиражируется. Медный всадник калейдоскопически распадается на тысячи валькирий и сотни неизвестных всадников, ещё раз доказывая, что Берлин – не Петербург, что неисчерпаемый петербургский миф рассыпался на множество осколков, как зеркало Снежной королевы.

Тиражирование тем и образов – внутренняя разрушительная сила «берлинского очерка». Многократно увеличивая количество Раскольниковых и Сонь, Чартковых и Поприциных, очерк разрастается количественно, стремится поразить читателя грандиозностью, предсказанной в петербургском тексте мировой катастрофы. Но переходя на символы, вся сила которых – в единственности, «берлинский очерк» разрушает сам себя. Сотни Медных всадников означают распад Петербурга на разные похожие городишки (у Эренбурга за спиной прежней русской столицы выстраивается шеренга мёртвых городов, в которой первыми идут Равенна и Брюгге, а затем появляются Берлин и Париж). Потеряв уникальность, идея Петербурга растворяется в европейском воздухе, а автор «берлинского очерка» судорожно ищет какую-нибудь новую структурирующую идею. И. Реброва на основании изучения эмигрантской прессы делает закономерный вывод: «Петербург может быть рассмотрен как эмигрантский когнитивно-оценочный концепт, включающий в себя ценностные, мировоззренческие, аксиологические ориентиры представителей эмиграции первой

волны, которые вне России продолжали поддерживать дореволюционный «очаг великой русской культуры»».

Как следует из статьи Романа Тименчика и Владимира Хазана «На земле была одна столица», предваряющей сборник «Петербург в поэзии русской эмиграции», сам по себе перечислительный ряд петербургской топографии, произнесение памятных названий городских локусов создаёт эффект пристального взглядывания в незабываемый образ, любование им и легко превращается в своего рода приём. Не всякое описание Петербурга означает автоматическое подключение к Петербургскому тексту, в то же время оказалось возможным (трагически возможным) родиться где-то за океаном, ни разу не увидеть Петербурга и в то же время, живя в определённом кругу воспоминаний и идей, быть представителем именно этого текста.

То же с Крымом и Крымским текстом, создававшимся как южный полюс Петербургского текста (авторы совпадают). Пушкин в Гурзуфе дописывал «Кавказского пленника» (а «Бахчисарайский фонтан» был написан уже в Молдавии и Одессе). Через несколько десятилетий неподалёку от Гурзуфа, в имении графини Паниной в Гаспре, Лев Толстой написал повесть «Хаджи-Мурат» (хотя ранее очерковые «Севастопольские рассказы» писались им в ходе обороны Севастополя «с природы»).

Крым белогвардейский – место созревания поэтической музыки Владимира Набокова накануне эмиграции. Погружённый в ощущения традиционной юношеской любви, он воспринимал Крым уже как совершенно чуждый край с «потёмкинской флорой», «привозными кипарисами» и заимствованной у Пушкина «Тамарой». Как вспоминал он в «Других берегах», здесь впервые пришлось ощутить «горечь и вдохновение изгнания». В 1921 году в Лондоне он написал небольшую поэму «Крым», необычайно компактный путеводитель-воспоминание.

И посетил я по дороге  
чертог увядший. Лунный луч  
белел на каменном пороге.  
В сенях воздушных капал ключ  
очарованья, ключ печали,  
и сказки вечные журчали  
в ночной прозрачной тишине,  
и звёзды сыпались над садом.  
Вдруг Пушкин встал со мною рядом  
и ясно улыбнулся мне...

Современные крымские филологи усматривают в этой поэме постоянные пересечения не только пути лирического героя Набокова и некогда реально бывавшего здесь Пушкина, но и то, что оба лирических героя – пушкинский и набоковский – как бы встречаются в пределах «Бахчисарайского дворца». Если у Пушкина прикосновение к каждой вещи сразу же влечёт краткую их историю: «Я видел ветхие решётки...», то Набоков избегает прикосновений, за предметами его мира не стоит история, позволяющая понять, что и почему заметил и запомнил, и что и почему пропустил мимо.

По мнению О. К. Беспаловой, у Набокова петербургский и крымский мифы как генераторы соответствующих текстов перевернулись. «Именно крымский миф, а не наоборот... вызвал появление петербургского мифа в дальнейшем творчестве Набокова. В стихах «докримьского» периода (юношеский сборник «Стихи», 1916), написанных непосредственно в Петербурге и его окрестностях, речь не идет о мифопоэтическом пространстве Северной Пальмиры, поэтическое внимание Набокова занято совсем иными «материями»: первой любовью, первыми разлуками. Петербург служит лишь немым свидетелем бурного романа лирического героя, нейтральным фоном, на котором ещё ярче выступает образ героини – адресата стихов Набокова («Столица», «У дворцов Невы я брожу, не рад...»). Оказавшись в «чужом» пространстве Крыма, Набоков кардинально меняет свой взгляд на «малую родину». Он погружается в «пушкинские ориенталии», и, начиная создавать первые слои «кримьского макромифа», оглядывается назад с тоской об утраченном. Окончательно утратив родину, Набоков начинает уже сознательно выстраивать свой петербургский миф, недаром первые его признаки выявляются лишь в стихах, написанных за границей («Петербург» – 1921, «Петербург» – 1922, «Петербург» – 1923, «Санкт-Петербург» – 1924). Рожденная в Крыму ностальгия Набокова по России симметрична крымской ностальгии Пушкина – сначала из Новороссии, а потом из России как таковой, с сожалениями насчёт «неподготовленности» своего восприятия Крыма наяву.

Другим ресурсом для перехода от конкретной действительности к духовным ценностям Владимира Набокова стал Берлинский текст набоковского метаромана. Берлин как текст у В. В. Набокова динамичен и изменяется от романа к роману, находясь в постоянной оппозиции с образом усадьбы. Вектор неприятия направлен от романа «Машенька» к «Дару». Берлин как текст В. В. Набокова – временная реальность, которую пытается игнорировать герой-эмигрант. Но постепенно оценки Берлина становятся более корректными, так как с течением времени



происходит освоение пространства столицы Германии. В берлинский период происходит характерный для дальнейшего творчества Набокова процесс взаимообогащения стиха и прозы. Поэзия анализируется в сопоставлении с прозой как источник более откровенно выраженных мотивов потусторонности и ностальгии.

Разделяя творчество В. Набокова на периоды, Д. А. Морев с «Машенькой» связывает генезис метаромана, характеризуемый наличием тех основных образов, на которых будет выстроен весь метароман – образы героя, усадьбы, Берлина. С «Защитой Лужина» связывается центр метароманного развития, а с романом «Дар» ассоциируется финал метаромана. Интересны сопоставления берлинских произведений Э.М. Ремарка и В. Набокова. Если взгляд В.В. Набокова – это взгляд на улицу из окна, то Э. М. Ремарк смотрит на улицу, находясь непосредственно на ней, что обусловлено немецкими корнями последнего, который видит город глазами истинного берлинца, тогда как В. В. Набоков – только постояльца. Разница в таком взоре замечается сильнее, когда глаз эмигранта ловит мельчайшие детали, тогда как немцу достаточно общих картин. Впрочем, у Ремарка есть истории, где герой оказывается вполне в положении набоковского персонажа – «Триумфальная арка» и «Тени в раю». Когда герои становятся эмигрантами в Париже или в Нью-Йорке, они оказываются на месте Ганина и Годунова-Чердынцева, живших в чужом городе вместе с другими, такими же, как они, изгнанниками.

Сам ареал русской культуры с государственными границами никогда не совпадал, а степени этого несовпадения зависели от конкретных исторических обстоятельств. Тематический (локальный) текст культуры, важная составляющая самого механизма её наследования, связывал культуру сквозь пространство и время. Важным центром сборки русского наследия как такового оказался и русский Берлин.

---

# Ольга Медведко

---

## **Наш художник Загреков**

*«Русский Берлин» – самое уникальное культурное явление в истории русско-германских отношений, возникшее в начале XX века. После революции 1917 года миллионы русских покинули свою родину. Причины, по которым люди уезжали на чужбину, были разные: кто-то бежал от преследований и репрессий большевиков, кто-то от холода и голода в поисках лучшей доли, кто-то по идейным соображениям, некоторые – в надежде переждать смуту, а потом вернуться. На пути к другой жизни почти у всех из них оказался Берлин, ставший чем-то вроде узловой станции: куда бы ни стремился эмигрант из России, он задерживался в Германии в ожидании окончательной визы...*

Берлин 1920-х годов стал прибежищем многих русских: в городе их проживало почти триста тысяч человек, большую часть из которых составляла интеллигенция. Вдали от родины представители первой волны эмиграции – литераторы, художники, профессура, военные, предприниматели – образовали особую общность, остров русской цивилизации в центре Европы. Однако «остров» русских в огромном море Германии был поначалу довольно изолированным. Эмигрантская община в Берлине скорее напоминала колонию, потому что была сконцентрирована в одной части города, в основном – в Шарлоттенбурге, в устной речи перекрёщённом в Шарлоттенград.

В Берлине тогда выходило около двухсот русских газет и журналов, открылось множество издательств, работали книжные магазины, театры, клубы, литературные салоны.

Но многие оказавшиеся здесь русские писатели с трудом осваивались с берлинской жизнью, испытывая непреодолимую тоску по родине. Это можно проследить по роману Виктора Шкловского «Zoo. Письма не о любви, или Третья Элоиза». Борис Пастернак называл своё пребывание в Берлине совершенно бесполезным и, тем не менее, некоторое время жил здесь. В 1923 году в одном из берлинских издательств вышла в свет его книга «Темы и вариации». Владимира Набокова связывают с Берлином почти пятнадцать прожитых в нём лет, за которые он написал восемь романов. А ещё Маяковский, Горький, Белый, Толстой, Ремизов, Цветаева,

Есенин, Эренбург, Ходасевич, Берберова, Франк, Шагал, Кандинский, Рахманинов – это лишь малая часть имён, связанных с Берлином двадцатых годов.

Писательская эмиграция довольно энергично принялась возрождать в германской столице привычную для себя среду обитания, налаживать литературный быт: создавались многочисленные творческие объединения, кружки, клубы, дом искусств и художественные салоны. И всё же эти усилия лишь обостряли понимание величайшей трагедии народа. Спасённые великим исходом миллионы русских семей оказались разобщены и разбросаны по всему свету. Многие так никогда больше и не увиделись. Вплоть до 90-х годов общение и связь между семьями, оставшимися в СССР, и их родственниками за границей, были невозможными. Только после того, как рухнул «железный занавес», те оставшиеся в живых, которые ещё сумели сохранить память о родственных узах, смогли начать поиски друг друга.

Судьбы таких разрушенных семей подчас трагичны. Многие из них могли бы послужить сюжетами для захватывающих романов. Одна из таких – история русского художника Николая Александровича Загрекова.

\*\*\*

Николай Загреков был хорошо известен на Западе. Итальянская Академия искусств присвоила ему звание почётного академика и наградила золотой медалью за заслуги в области культуры и искусства, Европейская академия художеств удостоила премии «Золотая пальмовая ветвь Европы», а в 70-е годы Президент ФРГ Вальтер Шеель вручил ему высшую награду Германии – «Крест за заслуги перед страной» в области искусства.

Но в России, где он родился и начал рисовать, о Загрекове мало кто слышал до 2004 года, когда Третьяковская галерея предприняла проект «Возвращённые имена». Сегодня о художнике написаны сотни статей, несколько книг, сняты фильмы. Его картины хранятся в Третьяковской галерее и Русском музее, а также в музеях и частных коллекциях Европы и США.

В 1921 году Николай Загреков, студент московского ВХУТЕМАСа, ученик Петра Кончаловского и Ильи Машкова, получил вызов в Германию. За год до этого события он женился на поволжской немке Гертруде Галлер. Молодые люди познакомились ещё в родном для обоих Саратове, в Боголюбовском училище. Общность взглядов, любовь к живописи и музыке сблизили их. Вынужденная разлука, когда Николай учился в Москве,

лишь утвердила их в намерении быть вместе. После свадьбы молодожёны отправились в Ригу к родственникам, а получив вызов, переехали оттуда в Германию.

В Берлин Николай и Гертруда прибыли в январе 1922 года. В районе Шарлоттенбург они сняли небольшую квартиру, в которой было самое главное – мастерская для Николая. Впрочем, изначально Загреков думал пробыть в Берлине лишь некоторое время, но так сложилась судьба, что остался здесь навсегда.

Контраст между жизнью в Советской России и жизнью в Берлине казался разительным. Город пленял ухоженностью и красотой. Какая радость была для Николая и Гертруды просто ходить по улицам, любоваться садиками-двориками, скульптурами, размахом линий. Они бродили по лабиринтам улиц, чувствуя необычайный жизненный нерв и движение города, наполненного энергией.

В среде русских эмигрантов было немало художников. В 1910-х годах их проживало в Германии больше, чем в Париже. Пока русский балет завоёвывал Париж, русские живописцы различных направлений обосновались на немецкой художественной сцене. Их разное мировосприятие определяло накал страстей в жизни Шарлоттенграда. В 1922 году издательство «Русское искусство» устроило в Берлине выставку работ наиболее видных русских художников: И. Билибина, Н. Гончаровой, Б. Григорьева, М. Ларионова, Н. Рериха, С. Сорина, В. Шухаева, А. Бенуа, М. Добужинского. На выставке было представлено искусство как традиционалистов, так и «левых» художников. Проходили также выставки и русских художников-авангардистов, сторонников «беспредметного» искусства и «полупредметного» символизма: Ивана Пуни, Эль-Лисицкого, Павла Челищева, Василия Кандинского, Марка Шагала и др.

Посещая эти выставки, Николай Загреков жадно впитывал многообразие форм и стилей. Самым главным для молодого русского художника было найти своё место в искусстве. В начале 1920-х годов основным направлением в его творчестве становятся обнажённая натура, портретная живопись и натюрморт. Некоторые из работ он написал в стиле кубизма. Николай усердно изучал немецкий и поступил в Профессиональное училище искусства и ремесла, где и проучился с 1922 по 1924 год в классе профессора Гарольда Бенгена, работавшего в декоративно-традиционном стиле. Здесь ему пришлось начинать вовсе не с нуля. Его учёба диктовалась скорее необходимостью адаптироваться в новой языковой и художественной среде, чем собственно нехваткой знаний – три года учёбы в московском ВХУТЕМАСе прошли для него не даром.

У профессора Бенгена были дополнительные занятия с некоторыми учениками, но так как он имел достаточно своих регулярных классов, то предложил своему ученику вести вместо него внеурочные часы. Профессор, зная, как трудно в это время приходилось Николаю (высокая плата за квартиру, безумная инфляция и потому частое безденежье), хотел помочь молодому художнику. То, что известный профессор доверил Николаю свои классы, поднимало профессиональный статус Загрекова, и он с энтузиазмом взялся за новое дело. Он стал самым молодым преподавателем рисования и живописи в Профессиональном училище искусства и ремесла – об этом писали берлинские газеты.

Молодой художник много работает, даёт частные уроки, продаёт свои картины. Многие из картин Загрекова, написанных в то время, сейчас находятся в частных коллекциях, в их числе – портрет Ирины Рахманиновой, дочери композитора, написанный Загрековым в 1923 году, когда семья Сергея Рахманинова находилась в Берлине.

В 1923 году Загреков работал над картиной «Бегство в Египет», написанной в традициях русского символизма. Эта тема выбрана художником не случайно: она была созвучна его настроением, связанным с переездом в Германию из России.

В начале 20-х годов художник подписывал свои произведения Nikolai Sagrekoff, однако позже изменил подпись на Nikolaus Sagrekow. В своих анкетах Загреков, хотя и происходил из русской семьи дворянского рода, писал, что он, как и его жена, немец Поволжья.

«Рассматривая произведения Загрекова, созданные им в годы учёбы, – пишет немецкий искусствовед Анна-Карола Краузе, – становится очевидной та лёгкость, с которой русскому студенту удалось перекинуть мостик между российской и немецкой школами искусств. Его академические этюды, с одной стороны, позволяют отчётливо лицезреть стремление к более естественному отражению увиденного, они полностью соответствуют реалистической традиции XIX века, яркими представителями которой можно назвать художника Илью Репина и его немецкого коллегу Вильгельма Лейбла. С другой стороны – графические этюды голов, как и картина «Букет сирени», свидетельствуют о влиянии кубизма, который, как известно, имел основополагающее значение для российского модерна. Его «Влюблённые» и символически воспринимаемая картина «Бегство в Египет» напоминают произведения Петрова-Водкина, в то время как изысканное переплетение ветвей в картине «Кроны деревьев» и мельчайшие цветковые осколки в натюрморте «Цветы в вазе» ассоциируются с эстетической манерой



художников «Бубнового валета». Российские корни художника заметны повсюду, хотя Загрекову и удаётся мастерски переводить их на язык форм, имеющих точки соприкосновения с искусством Сецессиона, начиная с позднего импрессионизма Макса Либермана и кончая фото-экспрессионизмом Ловиса Коринта. Энергичными мазками Загреков пишет «Пейзаж», почти драматически в мощном вихре красок природа растворяется в «Овраге». Восхитительный зной красок и кубически-экспрессионистский акцент его портретов и цветов, а также сказочно светящиеся натюрморты, представленные Загрековым в 1923-24 годы берлинской публике на свободных выставках, были положительно восприняты критиками-искусствоведами».

С 1925 года Загреков был постоянным участником художественных выставок, устраиваемых в Берлине, Мюнхене, Париже, Вене, выставок Прусской Академии художеств, Мюнхенского и Берлинского сецессионов, Союза берлинских художников, тематических художественных выставок.

Если обратиться к ретроспективному обзору произведений художника, наиболее значительной картиной Николая Загрекова является, по-видимому, «Девушка с рейшиной» – портрет Урсулы, дочери архитектора Лео Нахлихта. Мюнхенский журнал «Jugend» (№ 44, 1929 год) поместил цветную репродукцию этой картины на обложке. В этом произведении – в манере свободно держать себя, в поведении уверенной в себе молодой женщины, одетой в модное полосатое платье, в отражении женской эмансипации двадцатых годов – в проникновенной форме ожила «новая вещественность»: художественная сила портрета сделала его документом той эпохи.

Известный художник Ганс Балушек высоко ценил творчество молодого талантливого русского коллеги в портретном жанре и рекомендовал Николай Загрекова первому президенту Германии Фридриху Эберту, с которым был дружен. Таким образом появился загрековский очень необычный портрет Эберта (1924 г.). Намного позднее президент ФРГ Густав Хайнеман попросил Николая Загрекова предоставить ему эту картину для служебного помещения в Бундестаге, и портрет Эберта работы Загрекова и поныне находится там, в галерее выдающихся политических деятелей.

Под портретом президента Германии Вальтера Шееля в 1976 году художник написал: «Цель моего творчества – увековечить великих людей нашей эпохи».

Загреков написал также портрет рейхсканцлера доктора Густава Штреземана, который был приобретён для Рейхстага. Политик изображён на парламентской трибуне, возвышаясь над ней в энергичной величественной

позе, можно сказать, скульптурно. Многие критики объяснили связь тяготения художника к большим формам и монументальному искусству тем, что в своё время он изучал архитектуру.

На одной из выставок 20-х годов Николая Загрекова представили патриарху немецкой живописи Максу Либерману, в то время бывшему президентом Прусской Академии искусств. Тот, конечно, имел огромное влияние в художественном мире. В незаурядном русском художнике он как будто увидел себя в молодости. Некоторые критики даже находили определённое сходство стилей живописи позднего Либермана и раннего Загрекова. Макс Либерман взял Загрекова под своё покровительство, всячески поддерживал его и неоднократно рекомендовал работы протее для выставок или своим клиентам. Он доверял ему выполнять свои заказы, когда сам из-за нехватки времени не мог работать над ними. Макс Либерман очень высоко ценил художника Николая Загрекова и поощрял его по мере возможности. Так, сохранилось письмо Либермана, в котором президент Прусской Академии искусств сообщает, что комиссия по вопросам искусства и образования намеревается по его предложению приобрести произведения Загрекова.

В 20-е годы Загреков активно переписывался с родственниками, которые остались в СССР, посылал им каталоги своих выставок, журналы со статьями о нём. Но в 1936 году после ареста брата и смерти матери он потерял все связи с родиной: политические обстоятельства как в Германии, так и в советской России исключали возможность сохранения отношений с родными.

Николай был среди тех художников, которые достаточно естественно влились в немецкую художественную жизнь, и стал одним из ярких представителей направления немецкой «новой вещественности». Это произошло не случайно. В те годы именно русская художественная колония в Германии наиболее органично вошла в местную художественную жизнь, проявив себя как один из важнейших факторов немецкого искусства. Творчество Загрекова конца 20-х – начала 30-х годов отмечено индивидуальной интерпретацией направления новая вещественность. Среди наиболее известных работ этого периода – «Натюрморт» (1926), «Ритм труда» (1927), «Двойной портрет» (1927), «Спортсменка» (1928), «Испанка» (1928), «Девушка с рейсиной» (1929).

Николай всегда помнил слова своего мудрого учителя Петра Кончаловского: «Талант попадает в цель, которую все видят, но не попадают. Гений попадает в цель, которую никто не видит. Бойся гордыни. Гордыня

сбивает мушку. Талант заканчивается. Он, как породистый конь, если за ним не ухаживать, становится клячей».

Записные книжки художника сохранили его размышления об искусстве, творчестве и собственном предназначении:

«Творчество – это единственная возможность для художника познать мир. В моё искусство должна войти более глубокая нота, большее единство страстей, большая непосредственность импульса. Не широта замысла, а глубина – настоящая цель современного искусства».

В середине 20-х годов большинство русских эмигрантов переселилось в Париж, Прагу, Лондон, на Балканы, кто-то переехал в Америку, и лишь Николай Загреков никогда не покидал Берлина. Он получил гражданство в 1952 году, стал заместителем председателя Союза Берлинских художников, был удостоен множества высоких наград за вклад в развитие искусства Германии. Даже в преклонном возрасте художник сохранял бодрость и живость ума и продолжал работать. «Загреков – это берлинский оригинал. Его коренастая фигура и жёсткий русский акцент вносили оживление в церемонию открытия любой выставки. Ему нравилось демонстрировать у себя на груди «Крест за заслуги», которым его удостоило правительство», – вспоминал о художнике директор Берлинской галереи Эберхард Ротерс.

Загреков умер в 1992 году в возрасте 95 лет и был похоронен в Берлине в районе Шпандау.

Благодаря усилиям Общества друзей Загрекова поддерживается память о нём. В сохранившемся доме художника в Шпандау, который он сам спроектировал, как и ещё несколько зданий в Берлине, создан музей Загрекова, где проводятся выставки и литературно-художественные презентации..

В мае 2017 года в музее торжественно отмечалось 120-летие замечательного художника Николая Загрекова.

Интерес к его творчеству постоянно растёт. Его персональные выставки прошли в Третьяковской галерее в Москве, в Русском музее в Санкт-Петербурге. Картины Загрекова также были показаны в рамках художественной выставки «Россия» в США и в Китае.

В сентябре 2014 года, в рамках Года русского языка и литературы в Германии, в посольстве России в Берлине открылась выставка «Русский Берлин 20-х годов XX века», посвящённая жизни и творчеству русских писателей, художников, артистов, по разным обстоятельствам оказавшихся в эти годы в Германии. В числе персоналий экспозиции был и Николай Загреков. Основу экспозиции составили предметы из собрания немецкого коллекционера Вильфрида Матановича, русского

коллекционера Алексея Германовича, представляющего семью Николая Загрекова, и Общества друзей Николая Загрекова (Россия – Германия). Это – живописные и графические произведения художника Николая Загрекова, а кроме того – почтовые открытки, книги, журналы, фотографии, документы.

Эта выставка – продолжение осмысления культурно-исторического феномена «Русский Берлин».

Загреков всю жизнь прожил в Берлине, был постоянным участником берлинских выставок и салонов. Статья о нём по праву входит в антологию берлинского русского литературного салона «У Фадиных».

Загреков и сейчас – уникальное явление, художник, который, как мост, объединяет две великие культуры – русскую и немецкую.



*Участники литературных собраний:*

*берлинцы*



---

# Леонид Гиршович

---

## Из романа «Арена XX»

### Часть четвёртая. «Завтра была война»

Каждая часть в этой книге – модуль, или, лучше сказать, имеет свою кровеносную систему. Поэтому незавершенным роман оказаться не может ни при каких обстоятельствах. В этом его плюс. А минус в том, что закончить такой роман тоже невозможно. Но мне так спокойней. Плы-вешь на спине по течению реки, над головой только облака.

«Завтра была война». Так назваться – жить по чужому паспорту. Борис Васильев не имел в виду «вечную войну» как альтернативу «вечному миру». («Завтра было вчера», «смерть не знает времени».) На красном драпри золотом вытканы даты рождения и смерти: \*22 июня 1941 † 9 мая 1945. Как ни странно, они не обижались, эти писатели, когда их называли «писателями-фронтовиками». Мне совсем не льстит быть «писателем-музыкантом».

Война как несмолкающая слава дней в преддверии победы, как попутный ветер для крылатой, но безголовой Nike – это в прошлом. Для всех она синоним смерти, а смерть не знает времени, включая глагольно-временные формы. Кто-то умер вчера, кому-то предстояло умереть завтра. «Всё одно – помирать». «Все будем одинаково в гробу» («Все будем одинаковы в гробу», Бродский). Так же и война, единая, неделимая, на всех одна. Больше никто не утверждает, что Первая мировая война завершилась 9-X-19. При этом никто не отменял Вторую мировую. Выходит, с 1-IX-39 велись две мировые войны сразу? В таком случае 22 июня началась Третья мировая война. А что это за взрывы снега 30-XI-39? А войнушка, произошедшая в ночь с 11 на 12 марта тридцать восьмого года? И т. д.

Нет ничего глупей общих мест – вернее, нет ничего глупее, чем повторять общие места. Для этого, как минимум, нужно быть Бродским: умение произносить прописные истины отличает гения. Да, все войны начались в один и тот же час: когда Каин убил Авеля.

Сейчас я в суеверном трепете разобью зеркало на море осколков, чтобы в каждом отразилось одно и то же: «Завтра была смерть». Вариации на *soggetto ostinato* (как есть вариации на *basso ostinato*).

Лампа раскачивалась, но не гасла. Глаза, не мигая, следили за огоньком внутри закопчённого стекла. Свет перемещался из стороны в сторону, выхватывая то свадебное фото (Марии уж семь лет как нету), то гранёный стаканчик с ягодным отваром на стуле у изголовья, то рисунок обоев.

Ещё недавно державшегося молодцом, несмотря на свои семьдесят, его вдруг шарахнуло. Мешал капусту, а правая ладонь возьми и отнимись.

– Роман Романычу, цой тобы зробилося?

Зуська, таскавшая брикеты с торфяного склада, видит его сидящим у бочки: глаза оловянные, губа повисла.

– Галына Пиотровна!

Та была в школе.

Похоронив супругу, Родзинский три года прожил во вдовстве: не брать же – которая не с тобою вместе старилась. А молодую благодетельствовать, да так, чтоб обязанной себя почитала старость его уважать, а час пробьёт, за могилкой ходить, – где ж её в Захарьеве сыщешь?

Да ещё Зуська, по хозяйству помогавшая – сварить, постирать, прибрать – является: Люська её без места осталась. В город девке можно было только до шестнадцати податься, вроде как на учёбу – ну, одни шли на фабрику, а кто-то, как Люська, в люди. Попала она в хороший дом: барин – большая шишка. И на тебе, забрали.

Зуська показывала карточку, присланную племянницей из Витебска: за столом военный с газетой, его жена-красавица, а позади стоит Люська с подносом, серьёзная. После такой жизни куда девке податься, в токарный цех, чтоб руку отрезало?

– Слышишь, я буду в Витебске на встрече народных землемеров... – ему пришла мысль в голову: разузнать у Люськи про её бывшую хозяйку, известно, чем жены кончают. При старом режиме Родзинский служил помощником управляющего в белицком поместье Паскевичей, потом перебрался в Корчмидовский район – Корчмидовская волость тогда ещё была, – закончил курсы служащих по межеванию земли при ККБ (ка-ка, бэ... «Комитет крестьянской бедноты»), одним словом кое-как примазался к новой власти, а втайне промышлял, чем придётся.

– Галина Петровна, – он подстерёг майоршу у дома, её пустила к себе подруга – голуую-босую.

Та съёжилась, как дворовая сучка в ожидании побоев: сейчас заарестуют.

– Не пугайтесь, ради Бога, не пугайтесь. Сядемте туда на лавочку за ограду. Родзинский коротко коснулся того, что ждёт жену врага народа. Да она и сама это знала. У жён врагов народа одна судьба. Потом, сколько можно у подружки оставаться, людей под монастырь подводить, чужих деток губить? А он ей предлагает уехать к нему, быть хозяйкой. Там, в Захарьеве, кто её искать будет? Люди только так и спасаются, через переезд. Некоторые через границу бегут.

– У меня дом. Хозяйка померла. Я на хорошем счету. Мужчина ещё крепкий. Соглашайтесь. Мне карточку вашу показали, ту, что Люська прислала, в услужении у вас была, ну, в домработницах. И вы мне красотой своей полюбились. Это, конечно, опасность для меня, и немалая, но, видите, я иду. А для вас, извиняюсь, спасение. Другого такого случая не будет. Может, в школе устроитесь, детишек учить грамоте. Езжайте, хорошо будет.

Галина Петровна заплакала и согласилась.

Как он сказал, так и вышло: и со школой, и искать её в Захарьеве никто не искал.

Фотокарточку у Зуськи сразу по приезде отобрал.

– Посмотрите на мужа своего в последний раз, – прямо у неё на глазах и сжёг..

Через год их расписали в поселковом совете, городскую учительницу и служащего по межеванию земли. Так она стала Родзинской. Всё было ничего и даже хорошо, лучше чем раньше. Галина свыклась с новой жизнью скоро: чему-то научилась, что-то, оказывается, умела. У них как-никак дача с майором была, а не асфальт-водопровод, и больше в жизни ничего не видала. Пошла на работу, сразу стала на собственные ноги, может и слишком.

– Ты, Галина, не забывай, что без меня в лагере бы подохла, в Сибири, в Казахстане-степи, – напоминал он ей.

Ему стало казаться, что она путается с мужчинами. С молодыми. Раньше парень с МТС, когда видел Галину, начинал петь: «Ой, рабыня кудрявая». А потом подозрительно замолк. Его звали Ходыко-песнярь. «Знаешь такого?» – спросил он у жены. «Нет». А его все знают: Ходыко-песнярь.

Как-то Родзинский вернулся прежде обычного. Всегда предупреждал, чтоб не ждала, а тут управился. Он в ночное не раз ходил. Когда-то спросила у него, но он велел не спрашивать и не заикаться: «Себе, – говорит, – дороже. Придет день, скажу и где, и чего, в гроб не унесу». Больше не спрашивала.

Входит в дом, свет не зажигая, лёг. Шум впотьмах, когда уже засыпать

стал. Дверь хлопнула. Открыл глаза: её рубашка белеет. «Ты чего?» – «Ничего», – легла. Наутро видит: у ней присоска на шее с роток. Тут вся кровь прилила к лицу, под грудью пузырь, как в пустоту проваливаешься. Будто за ним кто из лесу с топором гонится – так грузно задышал. Удержался: ей на работу, воротится – разберёмся. Не зная, на чём чувство свое выместить, схватил мешалку, воткнул с размаху в бочку и стал остервенело крутить под хруст капустного листа, сам красный, как те бабы, что мешают бельё в котельной.

Три месяца лежит, вся правая сторона без движения.

– Галина, слышишь, не бросай меня, тебе всё достанется.

Не отвечает.

Всё гудит, сотрясается под огромной кувалдой. Вот-вот лампа сорвётся. За окном небо – багровое.

– Ну, Галь, чего ты? – вбегает запыхавшийся инструктор. – Чего ты сидишь? – Ему Роман Романович всё равно что труп.

– Одного мужа на смерть бросила, другого мужа на смерть бросила, – шепчет тот. – Не беги с ним. Чего тебе немцев бояться? Чего они тебе сделают?

А инструктор:

– Ну, Галька?

Сидит, молчит.

– Не могу больше! – убегает. На пороге обернулся: – Дура!

– Иди сюда, – одними губами шепчет Родзинский. – Уехал? Пока все попрятались, возьми топор и иди в школу. Там под твоим столом выломай половицу... увидишь, в тряпке... царские золотые десятки... помнишь, человек в шёлковой рубахе ночевал... – ещё бы ей не помнить. – Иди, торопись...

Выбежала за околицу. Никого. В школу, скорей! Там опустилась на колени, нащупала щель, стала её топором раздвигать.

Родзинский, не мигая, глядел на лампу. Она осветила фотографию. Подумал: «Марии уже семь лет как нету». И только подумал, как вспышка ударила в окно. От оглушительного взрыва кровать под ним заходила ходуном. Лампа упала и погасла. Прямое попадание снаряда в школу.

### **«Беги, Шмулик»**

Их было хорошо видно издали: чёрное пятнышко на снегу. Пока не слились с чёрным сараем. Снаружи под навесом гостеприимно гнило сено. Прятаться в него не стали. Сено обязательно раскидают или для

проверки выстрелят. Беглецов было семеро, не считая грудного младенца. За главного – мужчина с седой щетиной на изрезанном глубокими морщинами лице, выбившиеся из-под шапки волосы сохранили жгучий чёрный цвет. Была молодая пара, родители двухмесячной девочки, по имени Роза, Ружичко, большой свёрток с которой держал отец. Несмотря на пронизывающий осенний ветер со снегом, его бледный лоб покрывала испарина, редкие завитки каштановой бородки слиплись и блестели. Он баюкал свой свёрток, что-то тихо в него мыча. Мать девочки, обессиленная, привалилась к бревенчатой стене и закрыла глаза. Её лицо, когда веки были смежены, ещё сохраняло печать первых недель и месяцев материнства. Ещё там были отец и сын-подросток, женщина неопределённого возраста и девушка, по странному совпадению, тоже Роза.

Судьба свела их на станции «Стрихарж». Сутками ранее зачем-то отцепили вагон от состава, следовавшего из Равенсбрюка в пункт конечного назначения. Потом прибыла партия из ближайшего гетто, на двух крытых грузовиках. Всех собрали на перроне и велели растянуться. «Аусайнандер! Аусайнандер!»

Появилась группа господ в меховых пальто в сопровождении оберфюрера, что-то им объяснявшего. Они слушали и кивали. Несколько военных галантно помогали сотрудницам шведского Красного Креста нести картонки с медикаментами. Когда члены международной комиссии поравнялись с Марусей, её соседка быстро, сбивчиво заговорила, как говорят люди, безоглядно на что-то решившиеся и боящиеся, что их прервут. Возникло замешательство. Женщина говорила, не переставая, те стояли и смотрели на неё. Маруся услышала, как кто-то вполголоса запел «Руци, Шмулик». Оглянулась – никого. Бросив чемодан, она пустилась бежать, как молодая, во все лопатки. Никем не остановленная.

Оказалось, она была не единственная.

– Деревню надо обойти верхом, чтоб собаки не почуяли, – сказал мужчина, по-видимому, хорошо знавший место. – Ветер дует с реки.

– Ещё не замёрзла? – удивился отец подростка.

– Если б замёрзла, мы были бы уже в лесу – «лес» прозвучало как Москва, как Америка, в лес никто не сунется, в лесу действовал отряд.

– Может, в деревне продали бы нам немного хлеба?

«Абисл брот». Говорили между собой по-польски и на идиш, вставляя словечки, вошедшие в обиход вместе с новым порядком. Маруся всё понимала.

– За нас они своей шкурой рисковать не будут. И деньги отберут, и нас выдадут, и ещё порадуются.



Быстро темнело. Мужчина, которого звали Шмулик – так называла его девушка, они были из одного местечка – стал торопить:

– Ребята, надо идти... нельзя больше, замерзнем...

Все молча подчинились.

– Маришу... Маришенько... – сказал молодой отец семейства. – Идём. Как ты себя чувствуешь?

Маруся посмотрела на них. За всю жизнь она ласкового слова не слыхала... Её жизнь... Когда Шура заболела, стал вопрос, как быть с мужем. Не так уж они с Марусей и похожи, но всё равно из одной молекулы. «Переезжай, Маруся, к нам жить», – сказала сестра. Маруся удивилась: как? Всегда было наоборот, с детства отталкивала: чего ты ко мне липнешь. В этом городе они вместе по чистой случайности. Не хочется вспоминать. Герой войны, офицерская честь. Даже не простился. А она за ним в Берлин потащилась. Оставил записку: «Терпите, нетерпимые факты, смиритесь с судьбой». Небось списал откуда-то. Чтобы всё уладить, ей пришлось продать последнее, несколько маминых драгоценностей. Приходит как-то в ресторан «Адлон» с корзинкой роз. За каким-то столом её окликнули. И дальше... Так только в кино бывает: протягивает даме цветы – Шура! Та тоже узнала. Извинилась по-немецки, взяла сумочку и пошла в дамскую комнату. «На сколько ты уже наторговала? Я тебе буду давать больше. И чтоб никогда этого не было: швегерин профессора Дембо разносит цветы по столам. Сраму не оберёшься», – дала ей пятьдесят марок и взяла адрес, но своего не дала. И вдруг: «Переезжай к нам». У Дембо был брат. «Смотри мне». Маруся поняла всё только когда в первую же ночь Дембо к ней наведалься. «Всё остаётся в семье», – сказал он, развязывая кушак. И потом говорил: «Мы недурно устроились, а?». Её спальня была на самом верху, из окна открывался вид на Ванзее. Нолик – брат Арнольд – быстро уехал. Уволили из университета – и уехал. А Дембо ни в какую. Передал для отвода глаз руководство клиникой оберартцу, а негласно оставался тем же, кем был. «Это моё детище, мой ребёнок, вам не понять». Когда выяснилось, что Маруся ждёт ребёнка, Шура сказала: «Только через мой труп». Дембо согласился: «В любом случае, Марусенька, сейчас не те времена». Маруся плакала, её жизнь бы чего-то стоила... Её жизнь...

– Готовы? Уже недалеко осталось, – сказал Шмулик. – Ну, ноги в руки... Тише!

Они замерли. Порыв ветра донёс до слуха немецкую речь. Шмулик жестом приказал, чтоб не дышали. «Может, они по домам пойдут искать». Голоса то затихали, ко всеобщему облегчению, то становились громче – ветер менял направление. «Без собак», – прошептал Шмулик.

Он выглядывал из-за сарая, но на расстоянии нескольких метров уже ничего не было видно. Вот-вот окончательно стемнеет.

Тут-то оно и случилось: ребёнок начал плакать.

– Голодная, – озабоченно сказала мать, привычно убирая концы платка и отстёгивая пуговицу.

В то же мгновение Шмулик метнулся к отцу ребёнка и, сорвав с себя шапку, с силой заткнул одеяльцу «горлышко». Чтобы спасти целое, жертвуют частью – это азы медицинской этики, и когда речь идёт о том, чтобы выжить, другой этики не существует.

Всё произошло так быстро, что мать не успела ... Но нет! Всё произошло даже ещё быстрее: Маруся вырвала необъятный, благим матом орущий свёрток – никогда прежде не держала в руках – и побежала к деревне. За спиной слышались голоса. В деревне залаяла собака, другая. Отсутствии звёзд выдавало костёл: он их заслонял, туда она и бежала. А потом уже всё равно. Это продлилось несколько минут – её материнство, пока она не просунула младенца под ворота костёла. В руках опять пусто, снова куда-то бежала – куда, это уже не играло никакой роли в её жизни.

От далёкого выстрела все вздрогнули – с каким-то вопросительным чувством, словно ждали второго выстрела. Его не последовало. Зато долго не смолкал лай. В конце концов прекратился, но они этого не слышали, они были в лесу.

### *«Баллада о солдате»*

...

- Есть Казанцев!
- Каждан?
- Есть Каждан!
- Карелин?
- Есть Карелин!
- Кедрин?
- Есть Кедрин!
- Кин?
- Есть Кин!
- Кистяков?
- Есть Кистяков!
- Ковбасюк? Ковбасюк?.. Корвин?
- Есть Корвин!

...

Перед обедом мать сочла сливы и видит: одной нет.

– Слово имеет старший батальонный комиссар запаса товарищ Рубанчик.

– Товарищи! Работники нашей киностудии вливаются в ряды народного воинства. Вместе со всей страной мы готовы дать сокрушительный отпор немецко-фашистским захватчикам...

– Милий Степанович, – пригибаясь, как под пулями, к Ротмистрову подбежал профгруппорг цеха и шепотом: – Ковбасюк пришел, говорит: замок заело.

– Мог бы и не приходиться.

– Милий Степанович, плачет. Спрашивает, можно ему занять место в строю?

– Я же сказал: нет.

Рубанчик продолжал потрясать в воздухе кулаком.

– Нас вдохновляет пример наших героических предков, Суворова, Кутузова, Александра Невского, Минина и Пожарского...

«Особенно твоих предков. Да немцы под орех всех разделают». Это была сложная комбинация злорадства, ненависти и паники. Нельзя сказать, что профгруппорг ненавидел этих выстроенных в две шеренги дяденек, добрая половина из которых сверкала лысыми. Но многих ненавидел люто, например, Кедрина. А Рубанчика что – любил?

– Да здравствует наша Родина, товарищи, могучая и непобедимая! Да здравствует великий советский народ! Враг будет уничтожен и разгромлен, товарищи!

Гавря смотрел на ополченцев-мосфильмовцев, плечом к плечу с которыми он мог бы сейчас стоять, и по его огромным, как надувные шары, щекам катились под стать им такие же крупные слёзы. Он мог бы стоять в одном строю с анималистом Дриго, с оператором Корвиным, со сценаристом Ираклием Кедринным.

Заметив профгруппорга, бросился к нему:

– Ну что?

– Неумолим боярин.

Всё-таки Гавря пробился к Ротмистрову, задевая всех своим мешком.

– Милий Степанович, я же собрался, я... Замок заело, а я был один дома... Я уже в окно хотел, когда мамаша пришла... Может... а?

Ротмистров не удостоил его взглядом, уполномоченному по спискам было не до него. А Гавря стоял, сопел, мял в кулаке широколопастный свой галстук.

– Послушайте, – наконец повернулся к нему Ротмистров, – вы бы себя видели. Вам же персональный вагон подавай, в обычный не влезете. Вон

какое брюхо наел.

– Милий Степанович, у меня неправильный обмен веществ. Я таким родился. Пожалуйста... я вас умоляю...

– Всё, вычеркнут. Уже передано в отдел кадров.

Гавря перебежал через улицу в административный корпус и без доклада влетел к начальнику отдела кадров.

– Есть выровнять... есть... – повесив трубку, он устоял на Гаврю, уже наступаемого откровенно хватательным движением секретарши.

– Товарищ Строев! Спасите! Речь идёт о жизни и смерти! Я Ковбасюк! Я опоздал на переключку. Меня товарищ Ротмистров вычеркнул. Сейчас уже все отправляются. Внесите! Я тоже ополченец-мосфильмовец!

– Запишитесь по месту жительства. В другой раз не будете опаздывать. Быстро освободите кабинет, пока я не вызвал охрану. А ты куда смотришь?

Гавря упал на колени.

– Товарищ Строев! Не могу по месту жительства. Они не как мы. Они в ополчение записываются, чтобы в армию не попасть и зарплату сохранить. Говорят, воевать не будут, только склады будут охранять да диверсантов ловить, – Гавря дёрнул себя за воображаемую бороду – на резиночке, как в фильме «Девушка с ружьем».

– Как ваша фамилия?

– Ковбасюк... Гавриил Малахович.

Строев снял трубку и увидел, как глаза у Гаври засияли счастьем. Он продолжал стоять на коленях, обеими руками прижимая к себе мешок. Строев положил трубку.

– Лида, повторно запиши его, поняла?

– Товарищ Строев, век вам этого не забуду.

Но коротка память человеческая.

Улучив момент, Гавря приблизился к Кедрину:

– Ираклий Отарович, а я к вам домой сценарий для переработки приносил, не помните? «Племя молодое». Я тогда в сценарном отделе работал.

Кедрин прекрасно всё помнил. Это было перед арестом Шумяцкого.

– Нет, не помню.

От Мосфильма прошли строем до Куйбышевской площади. В ногу с колонной шла женщина, бок о бок с безымянным мосфильмовским электриком, стараясь держать его под руку. Гавря слышал, как Кедрин сказал: «Это, должно быть, жена соседа».

На Киевском вокзале всем раздали сапёрные лопаты, и Гавря слышал, как Кедрин сказал: «Будем фрицам могилы копать».

Говорили, что их повезут в сторону Ржева. Когда тронулись, Гавря уснул и проснулся от шума. Поезд стоял. Кто-то, пробежавший, крикнул ему: «Воздух!» Первая мысль: у него нет противогаза.

Все выпрыгивали из вагона и сбегали в поле. Прыгать было страшно. Преодолевая себя, Гавря плюхнулся на насыпь и тяжело побежал, куда все. Увидав Кедрина, поспешил к нему, но тот рухнул ничком на землю. Послышалось частое «дюйм-дюйм-дюйм», и всё кругом расстоянием в дюйм покрылось кустиками разрывов. Неправдоподобно низко вихрем пронеслись два огромных крыла.

Отплевываясь от попавшей в рот земли, Кедрин проводил самолёт глазами.

– Поэты, сволочи.

На носовой части он успел прочесть, большими буквами: «Пегас» – слово, которое Гавря никогда раньше не слышал и уже никогда не услышит.

Опубликовано: «Арена XX», Москва, «Время», 2016



---

# Сергей Гладких

---

## Венская группа / Die Wiener Gruppe

Необходимость написания небольшого сопроводительного текста к моим переводам стихов Ханса Карла Артманна (1921–2000), Конрада Байера (1932–1964) и Эрнста Яндля (1925–2000) объясняется тем мало радостным фактом, что одно из самых значительных явлений в мировой литературе практически неизвестно русскоязычному читателю и, пожалуй, даже литературоведению. Данное вступление служит лишь пробуждению интереса к этому феномену. Подробной информации о Венской группе предостаточно в немецко- и англоязычных публикациях. Наибольший интерес представляет книга одного из участников и «летописца» Венской группы Герхарда Рюма (*Die Wiener Gruppe, Texte, Gemeinschaftsarbeiten, Aktionen, herausgegeben von Gerhard Rühm, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1. Auflage der erweiterten Neuauflage 1985*).

Ныне легендарная Венская группа возникла в 1954 году спонтанно в венском Арт-Клубе, месте разнообразнейших творческих выступлений поэтов, писателей, музыкантов и художников, находившихся в поисках новых, нетрадиционных форм художественного выражения. Входившие в неё поэты – Ханс Карл Артманн, Конрад Байер, Фридрих Ахляйтнер, Герхард Рюм и Освальд Винер – стремились найти языковые литературные формы, резко отграничивающие их от запятнанного нацизмом языка послевоенной Австрии. В известной степени примером им послужили произведения дадаизма, сюрреализма, экспрессионизма и частично, несколько позже, русского футуризма, прежде всего Хлебникова и его круга, насколько он был известен и доступен в то время.

Несмотря на исключительную индивидуальность каждого из членов группы, им удалось найти общую основу, позволявшую писать коллективные тексты, ставить, как правило, одноактные пьесы и исполнять их на сцене Арт-Клуба, привлекая к участию в этих спектаклях и других музыкантов и художников, образовавших позднее ядро австрийского послевоенного авангарда чуть ли не во всех видах искусства, намного опередив своих немецких коллег, как на Западе, так и на Востоке, за очень малочисленным исключением.

В Австрии творчество Венской группы вызвало возмущение у буржуазной и, разумеется, всё ещё пропитанной духом национал-социализма публики (например, Освальд Винер был обвинен в «порнографии», «бо-

гохульстве» и «осквернении Родины» в своём уникальнейшем в истории немецкоязычной литературы романе «Улучшение Центральной Европы», вышедшем в 1968-м году в издательстве Rowohlt, Гамбург, и отдан под суд). С другой же стороны, Венская группа дала невиданный импульс развитию литературы и искусства, который ощутим по сегодняшнему дню. Творчество Фридерики Майрёкер, Эрнста Яндля, Томаса Бернхарда, Герта Йонке, Вернера Шваба и многих, многих других, в том числе швейцарских, позднее немецких авторов, немыслимо без подготовительной работы Венской группы. Значимость, первостепенность работы с языком в литературе вышла, наконец, на первый план (несомненно, благодаря публикациям работ Людвиг Виттгенштайна и Фритца Маутнера): Артманн, например, впервые опубликовал сборник стихотворений на венском диалекте («Чорными чирнилами»), сделав диалект как таковой «литературопригодным». Артманн, искуснейший стилизатор и полиглот, пользовался всевозможными формами поэтического слова, существовавшими во все эпохи во всём мире: барочная поэзия, катрэны, эротическая поэзия (ко всему прочему, им переведены стихи Франсуа Вийона и Карла Михаэля Белльмана), включая детективный роман, роман ужасов, чернейший юмор и тривиальную литературу, которые он виртуозно персифлировал в своей прозе, вышедшей в четырёх (!) томах. Артманн умер в 2000 году.

Последовала визуальная, звуковая и «конкретная» поэзия, да и само понятие поэзии получило иное толкование. Своим раскрепощением, высвобождением из устоявшихся и, якобы, неприкосновенных норм современная немецкоязычная литература в немалой степени обязана языкотворчеству Венской группы.

Особое место среди участников Венской группы занимает Конрад Байер, пожалуй, самый радикальный экспериментатор в области словотворчества. Написав два небольших, новаторских по форме и языку романа («Голова Витуса Беринга»/«Der Kopf des Vitus Bering» и «Шестое чувство»/«Der sechste Sinn»), трактат «Философский камень» («Der Stein der Weisen»), множество одноактных пьес (наиболее известна пьеса «Женивей и анонимфа»/«Bräutigall und Anonymph» и несметное количество стихотворных произведений (в т. ч. так называемых «стихо-колонн» – стихообразований без пропусков между словами и знаков препинания, змеевидно обвивающих некую колонну или тумбу), Конрад Байер по до конца не выясненным причинам кончает с собой в 1964 году в возрасте 32-х лет, что приводит к распаду Венской группы, как единого творческого организма.

Впоследствии участники группы идут своими собственными творческими путями, что не мешает им встречаться время от времени для совместных выступлений.

## Konrad Bayer

### *das fahrrad*

woher ist das fahrrad?

wohin wird das fahrrad werden?

wann ist fahrrad?

da ist das fahrrad gewissermassen!

durchaus ebenso besonders sind fahrrader zunächst überhaupt.

allerdings ist jenes fahrrad fast ganz nahezu.

also wozu dagegen sind fahrräder vielmehr eigentlich?

zuweilen sind fahrräder stundenlang.

nein, kein fahrrad ist weder ziemlich noch wenigstens.

freilich sind fahrräder sehr dort!

kaum unglaublich, als je ein fahrrad stets ungefähr gewesen sein würde.

daher sind fahrräder oder werden davon werden.

im allgemeinen war hier dagegen das fahrrad beiläufig, aber sehr andererseits, genauso vermutlich.

schon möglich, dass einige fahrräder hinten werden und rechts sind, doch das immer desto mehr.

weitaus nicht, vielmehr ist gewöhnlich das fahrrad wahrscheinlich überhaupt ausser gemäss hiervon gewesen.

ohne fahrrad ist nichts überdies.

jedenfalls sind fahrräder keineswegs zweifellos.

somit sind fahrräder trotzdem überhaupt.

natürlich sind einige fahrräder zuweilen wieder täglich.

später wird das fahrrad manchmal kaum damals.

seitdem sind fahrräder freilich nirgendwo ferner.

eben werden fahrräder manchmal längst geworden.

ob das fahrrad vielleicht ist, obgleich es ist, damit es war, wie es wird?

dazu ist ein fahrrad zuletzt.

gewiss; denn ist ein fahrrad das fahrrad eines fahrrades, wird dem fahrrad

sonst ein fahrrad dann sein?

genug, jenes fahrrad wird wohl mit etwa einem fahrrad vielleicht sein, tatsächlich!

auf diesem fahrrad ist selten täglich vorderhand.

vielmehr waren plötzlich viele fahrräder morgens und abends bald weitaus geradezu, allenfalls zumindest irgendwie stets.

während das fahrrad zunächst das nämliche gleich als sofort ist, geradewegs

dadurch werden übrigens fahrräder folglich seitdem lange, häufig als ob

vielmehr alles wieder obzwar sei, um zu werden, weil wozu vieles höchstens

## Конрад Байер

### **бицикл**

откуда есть бицикл?

куда бициклу будет статься?

когда бицикл?

вот он – бицикл в известной мере!

как значит и вполне, особенно когда бициклы вообще вначале.

но впрочем, сей бицикл почти что сразу.

а стало быть к чему однако же бициклы собственно конечно?

порой бициклы всё ж часами.

нет, ни один бицикл ни минимум, ни хватит.

однако же бициклы очень там!

невероятно, чтоб хоть раз какой-нибудь бицикл не то чтобы всегда,

а прямо-таки вроде.

от этого бициклы есть и от того же будут.

в общем тут бицикл, напротив, был лишь бегло, с другой же стороны,

пожалуй, столь же вероятно.

вполне возможно, что некие бициклы делаются сзади, а выходят справа,

но это с каждым разом больше.

отнюдь, скорей обычно бицикл вероятно вообще, кроме того, что

поэтому по мере был.

без бицикла, впрочем, нет ничего, кроме того.

во всяком случае бициклы отнюдь не бессомненны.

тем самым тем не менее бициклы вообще.

конечно, некие бициклы порой опять же ежедневны.

тогда бициклы иногда пожалуй вряд ли позже.

с тех пор бициклы становятся, наверное, где-то далее.

вот только что бициклы стали иногда давно.

и станет ли бицикл, возможно, при том, что есть он, с тем чтобы он был,

каким он будет?

для этого бицикл в конце.

конечно; ведь будь бицикл бициклом другого бицикла, будет ли

в противном случае тогда бициклу бицикл?

довольно, тот бицикл возможно будет некоему бициклу быть, да, в самом деле!

на этом же бицикле крайне редко на первый взгляд изо дня в день.

скорее вдруг, утром и вечером множество бициклов немало прямо-таки,

на худой конец, по меньшей мере как-то непрестанно.

в то время, как бицикл во-первых то же самое, что и равно, чем сразу,

jetzt geradezu gewesen worden sei.  
bald wäre ein fahrrad kein fahrrad, möglichst ausser wenn weiterhin wieder  
eher bis sei.  
gewiss ist das fahrrad folglich geworden!  
oder überall werden fahrräder zum beispiel geworden werden.  
allgemein ist neben dem fahrrad weniger vielleicht.  
wird das fahrrad solchermassen beiläufig zweifellos?  
1958

## Hans Carl Artmann

### *vater unser*

wir tragen einen rosenkranz  
aus patronen  
durch unseren herbstwald  
mittäglich im himmel  
trinken wir campari  
sowie auch auf erden  
im taumel  
getroffener feldhühner  
zukomme uns dein reich  
du lenkst drauaufwärts dein boot  
dein wille geschehe  
über entgrünten entlaubten tischen  
im himmel äugt die hirschkuh  
also auch auf erden  
gib uns heute unser täglich brot  
blatt und nebel und den geruch  
der gefallenen pilze  
und vergib uns unsre schulden  
das wichtige gehen der waldtiere  
so auch vergeben  
unseren schuldigern  
hochheben zielen abdrücken  
unter dieser schönen wölbung himmel  
wir essen fasan und feldhuhn



вот потому-то, впрочем, бициклы следовательно с тех пор давно, уж  
зачастую, как если б всё, и невзирая на, чтобы стать, ведь если бы зачем  
же многое  
и в лучшем случае сейчас быть было б стало.  
вскоре бицикл бициклом не был бы, возможно кроме как в дальнейшем  
снова скорее нежели.  
естественно бицикл следовательно стал!  
или же – повсюду, например, бициклы становились быть.  
в общем же наряду с бициклом вероятно менее.  
станет ли бицикл таким образом

### **Х. К. Артманн**

#### ***отче наш***

носим с собою мы чётки  
патронные  
по лесам нашим осенним  
полуднем на небе  
пьём мы Кампари  
яко и на земле  
в опьяненьи  
подстреленных глухарей  
да придет царствие Твое  
правишь Ты вверх по Дону чёлн свой  
да будет воля Твоя  
над столами без листьев и зелени  
на небе косит косуля  
так и на земле  
хлеб наш насущный даждь нам днесь  
и лист и туман и дух  
грибов падших  
и оставь нам долги наши  
ход важный зверья лесного  
яко и мы оставляем  
должникам нашим  
поднять нацелить нажать  
под сим неба сводом прекрасным  
откушиваем глухарей да фазанов

und führe uns nicht in versuchung  
festliches instrument aus holz  
und metall  
sondern erlöse uns  
von allem übel  
wie die geernteten apfelbäume  
vor ferlach  
amen

***Aus : «Lieder eines österreichischen Feldhornisten»***

o, es sind nicht schwarze wolken  
die dort über die berge kommen –  
jung und traurig auf den pferden  
naht ein regiment husaren...

ihm voraus ziehen schöne fahnen,  
adler, die ins golddurchwirkte  
tuch des morgens löcher schlagen.

und in ihren flügelschatten,  
eingehüllt vom tromm der trommel,  
reitet fleißig seinen schimmel  
unser herr und aller hauptmann...

und der puls der trommel pocht:  
trauret nicht, ihr lieben brüder,  
an die donau, für den kaiser...

warum sollen wir nicht trauren,  
trommel? und man schickt uns sterben  
an die donau, heißt die losung..

dort wird sich das leben wenden:  
weder speise noch und trank  
macht uns die tournister schwer –  
nur der mond fällt in die zweige,  
nur die sonne auf die kiesel...



weder speise noch und trank ...  
seid ihr hungrig, spricht indes  
unser herr und aller hauptmann,  
brecht euch wasser aus den straßen,  
backt euch brod aus vogelnestern!

und er hält uns an die arbeit:  
mit dem säbel müssen wir  
in den feind kanälchen graben  
als des kaisers ingenieure ...

doch ein ungereimtes grab,  
ellentief im dunklen erdreich,  
stumm, von tag und nacht vergessen,  
liegen mit dem tod husaren  
unterm blut der ebereschen ...  
1960

## **Ernst Jandl**

manche glauben  
lechts und rings  
kann man nicht velwechern –  
werch ein illtum!





---

# Дмитрий Драгилёв

---

## *Путешествия от киян к рижанам*

как дорогу найти от бомбея до выпренного жирафа  
подскажите певички дебелие, или вам всё по бубну  
(в пересчёте на местное «всё равно»)?  
объясните ещё, как вы смеете попрекать безобидного Бержерака  
тем, что нынче он кажется вам неочевидным, и даже не де  
и вовсе не Сирано

или вообще недорогоим дебилом  
в викторине, которая не называется «Давай поженимся»  
чередуются Леониды и Викторы – главные претенденты –  
генеральный внезапный вкус – subito gusto –  
как причина алкать  
вызывает в памяти другие итальянские и французские выражения  
например, sotto voce, al dente  
запах капусты  
образ забытого сотника черкасского артполка

deja vu это было и как это мило  
мы застряли у касс  
через пару минут келейное большинство  
размагнитит вокзал, превращая в притчу и ларь, а под импульсы от магнето  
никому не указ, вы попробуйте поливать  
отличить, перед вами чужой огород пылающий истерический паровоз-  
полевая кухня, колено доисторического кларнета

если плоть, то, возможно, в снегу, и, конечно, тугую, а ещё не торгую  
дичью, фруктами, акциями:  
мы, увы, не буржуи, а вы – не вельможи  
где ты прячешься?  
с цифрами не в ладах я считаю до ста  
между прочим, по третьему разу  
куриная простота, святая слепота,  
ну и что? не бельмо же!  
прививаешь свой тугрик и едешь из города Фрунзе в Ургу

стань во фронт, ощутив замедленную реакцию  
на «я встретил другую»  
по складам произносится фраза  
и звучит как ребячество:  
неужели ты можешь  
гнать такую пургу?

но сады над складом цветут, на развале кирпичи чикагского джаза  
мне для лабухов ничего не жалко, соло радует, пусть и местный розлив  
не маячь, не молчи под неспелую песню соломенного дилижанса  
и вообще, порадуйся за самого себя: не влип

в этот вечер, а может и день, ветчина поглощается под «Палому»  
лодка уходит под вантового моста (мартовского кота?) мантры и позвонки  
дон динь, автоответчик безнадежно поломан  
холодильник принимает твои звонки

### **Прокрастинатор**

повод выйти за спичками: труба и кларнет пьются в ломбарде  
ещё зубы туда положи, пока пристав – местный герой – не засёк этот сусек  
к посторонним не приставай, но, если приспичит, произнеси пароль:  
«гекуба интересуется делами тибальда»  
проверишь, какой отзыв подберёт для тебя замечательный твой сосед

сарабанда – не только «шайка сардин или сар», но и некое подобие  
контрафакта  
в эпоху полного примитива, когда шахматный конь шарахается от канонады  
знатных попсовиков;  
как говорил Эдди Рознер, по кличке «царь»,  
доведенный бюрократами до инфаркта  
здесь вам не школа-студия МХАТ, здесь работать надо

допустимый предел тесноты уточняет себя, делаем перевод  
исключая женские сплетни и пересуды  
ведь любое торжественно празднуемое родство  
образуют чужие, но сообщающиеся сосуды

постучи по железу – должно быть желе  
как рядил один мистер, знакомясь с ребристой

(серебристой изнанкой и мягкой пушистой)  
абсолютной начинкой, и шелестом знаний  
в лабиринтах ушных, тупиках и каналах  
незаметной сопелки (играет Евстахий)  
шепчут наночастицы: есть час пожалеть  
и внематочный хор, и дурных бандуристов  
разодетых в обноски от Bruno Banani  
здесь оттенки от чёрных и белых до алых  
ты, дружок, не части, если сразу не вставит

ледоходы опасны опорам тысячу раз латаного моста  
на быка не садись кирпичом; ледостав никому не проходит даром  
и садизм ни при чём, но, как опыт подсказывает, есть такие места  
которые становятся чересчур сладкими от ударов

полный болт, сколько вёрст отмахал, позабыв пресловутый гак  
которому не прикажешь, да и мурка твоя – очаровательная мура  
вящий штиль по округе, болтает лишь суп в сапогах  
но его не вырубить даже кашей, сваренной из священного топора

### ***Summerwind In Windau***

Кто кого быстрее разлюбит – отложим спор.  
Я тебя непочтительно зацепил.  
Как чулки из-под юбок (надёжный спорт),  
Крыша пробует съехать из-под стропил.

Ветер сглажен как гати: больших надежд  
На разлучников нет, этих троллей зла.  
Что за странная блажь – возводить рубеж?  
Мы получим лишь тройку за наш разлад.

Заводские настройки pro forma верни назад.  
Интерьером вскормленная, танцующая танго,  
Этьенетта, а всё-таки ты – zum Ko..., коза.  
Золотой интернет – поле брани и лажи, полно всего.

Виноват ли резкий Узедом, или быт,  
Или шум троцкистов из Фридрихсхайна,  
Ты шипишь (не трогай!), так в детстве шипел карбид.

Поменять бы пыль от потрескавшихся корыт  
На подвид второго – тропического – дыханья.

Подскажи, мы палатку красную разделить хотим,  
Или кемерские елани, или Сиваш?  
В забубённой рекламе (где жизнь – это баш на баш)  
И в герани-керамике я – кретин.

Посещая тебя, я не шарил, что лишь в гостях,  
А теперь мешают мне запертые калитки.  
В городке, где машины несутся на бешеных скоростях  
По красной плитке.

### **Из Агенскалнса в Чиекуркалнс**

*В Чиекуркалнсе, предместье Риги, все улицы называются линиями*

*Из путеводителя*

*Вручную стряхивая пыль безумия*

*И. Бродский*

*... И не хочет мяса... В розовых водах Даугавы*

*Базилий Плиний, рижский поэт XVI века*

От Макса Клингера до Бальтазара Руссова  
Наш голоцен не брезгует напраслиной.  
На том конце любовь сплавливали руслами,  
Утратившими линию за пряслами.

Но конь поёт, по Ояру, коровам всем  
Пример даёт. Пасу его на лестничной.  
Меняюсь и смеюсь я ежемесячно,  
Чтобы другой тебя не очаровывал.

Сегодня чу, несёт протока Зундская  
Щи поутру иль борщ, пойду проверю!  
И привинчу – как лишнюю презумпцию –  
Щиток с почтовым индексом над дверью.

Пусть юного предпочитаешь Плиния,  
Лишь иногда моё читая варево.  
Солги, что потерял я нашу линию,  
Но на себя не вздумай наговаривать.

---

# Виктория Жукова

---

## Вот придёт Пусяка

Рассказ

Случилось это под вечер, когда комната была раскалена и плавилась от тяжёлого июльского солнца. Спрятаться было совершенно некуда: духота пропитала всё пространство. Тогда он и пришёл.

Он был в рубашке с короткими рукавами, в бобочке, как говаривала моя бабушка. На голове у него притулилась кепчонка, брюки были коротки, а сандалии рваные. И, о ужас, он был без носков, уходя, надевая перчатки, бабушка всегда проверяла правильность стрелок на чулках.

Он ввалился, тяжело отдуваясь, и хрипло произнёс. «Где тут девочки маленькие, которыми я обычно ужинаю?». Всё срослось. Это был Пусяка. Он возник ниоткуда, вернее из внезапно повисшего посреди комнаты облачка, вот просто не было его, и вдруг он появился, я, наверное, моргнула, подумала я и икнула, забившись за письменный стол, в узенькую батарейную нишу. Батареи нам только что поставили, но они ещё не работали, и из соединения батареи с трубой торчали клочья пакли, намазанные чем-то чёрным и резко пахнущим. В выбитой нише лежали комья земли, в которые приспособилась писать наша кошка Матрёшка, прозванная так за большую плодовитость. Дядьки из ЖЭКА всё бросили как есть и обещали зайти через месяц, всё доделать, а печку приказали сломать.

Так вот, о Пусяке. Он сделал вид, что не может меня найти, но я-то понимала, что притворяется этот ужасный человек. Зачем? Что он придумает, чтобы меня помучить? Я знала, что провинилась. Вчера я влезла в шкаф, где хранились банки с маринованными опятами, а когда я добираюсь до трёхлитровой банки, уж будьте уверены, я с ней не расстанусь, пока хотя бы четверть не окажется в моем животе. Хватая пригоршней скользкие грибы, я понимала, что банка загублена, так как бабушка не разрешала залезать туда даже облизанной ложкой, но соблазн был слишком велик.

На этом соблазне я горела неоднократно, но чтобы пришёл Пусяка – я это расценила так, что все мои слепленные в один огромный ком грехи просмотрены и вынесен вердикт – наказать. И вот он явился, этот странный, неопрятный человек, и сию минуту обрушит весь мой мир, который погребёт меня под собой.

Когда я смогла разлепить веки, комната была пуста. Вернее, пустота эта была с отрицательным знаком, с чёрной космической дырой посередине,



с пространством, на котором ни единый человеческий порок, ни единое человеческое прегрешение не могло укрыться бы от всевидящего судии.

И вот я, жалкая маленькая грешница, ощупью подползаю к краю ковра, по которому проходят границы дыры, и запикиваю туда кошку, стоящую рядом и напряжённо приноживающуюся.

Любой, посвященный в тайны, отдал бы всё на свете, чтобы оказаться на моём месте. Я и сама чувствовала, что мне открылось нечто такое, что ни я, ни кто-либо на земле, включая мою умную бабушку, не сможет никогда постичь не то что рассудком, но и инстинктом.

Кошка, перешагнув черту – пропала. Пропал и край ковра, который я попыталась натянуть, как будто предмет, переступая границу, делался невидимым, неслышимым, ненужным и удалённым за ненадобностью.

Я кинула туда мячик. Он не пропал, а медленно покачиваясь, непонятно на чём, поплыл к другому концу дыры.

Я кинула мамин тапок, я кинула старую куклу, я кинула рубль, вытащив его из кармана фартучка, что-то пропадало, что-то крутилось на поверхности, пересекаясь траекториями с мячиком. Что-то пристально и бдительно обследовалось и выбрасывалось, как неинтересное или ненужное в том мире. Так выбросили изменённую куклу, мамин тапок, получивший форму брошенного туда рубля, он сделался огромным, двумерным и бумажным, кубик вынырнул, переливаясь как мамин кулон, о котором она пренебрежительно говорила – «Дешёвка».

Страх сменился интересом и азартом. Я кидала туда всё, что попадало под руку. Посуду, ножи, полотенце, запикивала туда даже мамину подушку с дивана, она прошла плохо. Дырка затягивалась. Всё больше предметов она выплёвывала, но, видно, на изменения у неё уже не хватало сил, и предметы выскакивали неизменными и тёплыми. Когда дырка почти затянулась, я ухитрилась пропихнуть туда круглый гребень, которым бабушка закалывала мне волосы, и, в запальчивости, случайно, засунула туда руку. Она на минуту стала невидимой, я не испугалась, но потом руку пронзила нестерпимая боль, возникло чувство, что её мнут и месят как тесто. Что-то мешало мне вытащить её оттуда. Как будто огромный насос втянул её, как хвост бедной Матрёшки, который я засасывала регулярно пылесосом.

Как смешно мне это показалось. Как давно это было, давно и неправда. Просто в другом измерении или на другой планете, или в другой жизни, или в другой смерти.

Но всё заканчивается, и руку свою я получила назад, правда несколько изменённую. Она стала как нога, рука, конечность осьминога.

От локтя отходил отросток и заканчивался одним пальцем. Я попробовала пошевелить этим пальцем – получилось. Я потянулась этой рукой за куклой – достала её из-под стола, куда выплонула её дыра, при этом отросток сильно удлинился и обвил куклу так нежно и так ловко, как я бы никогда не смогла проделать это просто кистью.

Ещё я заметила на пальце нежные припухлости и с некоторым удивлением поняла, что он живёт несколько своей жизнью. Я занялась разглядыванием выплунутого мячика, а рука тем временем раздевала и ощупывала куклу, потом так же бережно одела её и посадила на диван.

Осмотрев потяжелевший мячик, я села на корточки и принялась разглядывать ковёр. На первый взгляд он был цел, только странное свечение исходило из того конца, который соприкасался с дырой.

В этот момент хлопнула дверь и вошла бабушка. На ходу снимая перчатки и расстёгивая пыльник, она ошеломлённо осмотрела разгромленную комнату и уже сложила брови домиком, приготовившись меня ругать. Тут моя новая рука, невообразимо вытянувшись, вползла в её ладонь и нежно потёрлась внутри. Бабушка попыталась её отбросить, но не тут-то было. Она сжала бабушкину руку так сильно, что бабушка, наклонившись, начала выплясывать немислимые па, пытаясь освободиться. Тут щупальце, словно устыдившись, освободило бабушку и спряталось в рукав платица. Бабушка, вытаращив глаза, осела на пол, потом закричала и на карачках поползла к телефону, вызывать с работы мать.

Началось что-то невообразимое: врачи, больницы, консилиумы. Знакомые и незнакомые спешили что-то посоветовать, с любопытством, смешанным с брезгливостью, рассматривая мою руку.

В больнице все кому не лень начинали брать на анализ на биопсию, на память, просто так кусочки от моей бедной руки. Щупальце кровоточило и болело после таких манипуляций. Врачи качали головами и, не доверяя друг другу, опять кололи и отрезали, делали соскобы.

Я начала закататься, это опять свалили на злополучную руку и только когда меня окончательно обследовали в недоступной тогда Кремлёвке и опять начали качать головой и разводять руками, бабушка решительно велела оставить меня в покое. Руку забинтовали, привязали к туловищу, и в таком виде я стала выходить на улицу.

Двор меня категорически отверг. Военных действий не предпринимали, но подковёрные интриги доводили меня до слез. Поэтому в школу, как исполнилось время, я не пошла. Бабушка подумала и сказала: «И то».

Вопрос оказался исчерпанным, даже главный врач, неподкупная старая дева, ничуть не усомнилась в правильности бабушкиного мнения.

Бабушка к этому времени единолично решала подобные вопросы, так как отец стыдливо ретировался, а мама с горестной брезгливостью отбыла в длительную командировку в Пензу. Иногда от неё приходили сухие, вымученные письма, но всё реже и реже.

С бабушкой мы очень сблизились. Она, наконец, решила всё доподлинно узнать. Я в слезах призналась ей про грибы, на что бабушка лишь мудро улыбнулась. Похоже, я её не очень-то убедила.

Призналась она мне впоследствии, что-то больно шатко выглядели мои аргументы в пользу дыры, даже рука для неё не являлась серьёзным доказательством, сдалась она только после подробного описания внешности Пусяки. Бабушка посуровела и замолчала на три дня. На четвёртый она мне рассказала, что вспоминала былое, да ещё кое с кем из подруг проконсультировалась по телефону. Пришла к выводу, что подобный субъект не первый раз навещает порядочных людей. Слышала она о нём от покойного Миши – Михаила Афанасьевича, он потом душевно заболел, и бедная Лёля с ним ещё много лет мучилась, пока он всё писал что-то крамольное.

Бедная моя рука, чувствуя себя виновницей происходящего, вела себя идеально. Она собрала и сохранила для меня мамины письма, она лечила меня, когда я заболела, она взяла за правило класть ко мне в кровать куклу, и, поглаживая её, заставляла ту рассказывать мне бесконечные сказки. Наконец, она вытащила откуда-то мячик, побывавший в дыре, и объяснила, как можно с ним интересно играть. Поутру мы отправляли его на дело. Я придумывала, что бы нам с рукой хотелось, мы выносили его на улицу, и он отбывал. Вечером он возвращался и всегда приносил искомое. Не физически, нет, не сочтите меня фантазёркой, просто у нас на комоде это всё внезапно появлялось. Теперь недостатка в еде и в игрушках мы не испытывали.

Так прошло десять лет.

Да, забыла сказать о самом главном. Несколько раз в месяц мы с куклой, мячиком и рукой ложились на ковёр, на место дыры, и лежали там в полудрёме. Бабушка пыталась с нами бороться, потом бросила.

И ещё интересно. Тот кусочек ковра так и продолжал светиться.

И вот, бабушка нас покинула, отбыла в мир иной. Мы с рукой остались одни. Привычные к одиночеству, мы оказались совершенно беспомощны в делах мирских. Хорошо, соседка, незабвенная тётя Настя, выхлопотала нам место на паперти, где мы и встали. Сироте убогой неплохо подавали, и вскоре мы смогли себе многое позволить. С документами всё решилось как-то само собой, я была уже взрослая, мне выписали паспорт, я ходила в бабушкиных перчатках, вернее в одной целой, а другая была перешита

в кружевной мешочек, который в дни кокетства и хорошего настроения надевала моя подруга. Поистине левая рука не догадывалась, что творит правая, забавно было, что и голова моя, до поры до времени, этого не знала.

Неприятности начались, когда рука случайно, в давке, залезла в карман соседа и предъявила мне, уже в безопасном месте, кошелек. Он был почти пуст. Я поняла, что рука испытывала необыкновенную гордость за содеянное, я же – великий стыд. Я начала её приматывать, прятала в мешочек и была с ней строга. Воровство прекратилось, но начались другие приключения.

Как я представляла по книгам и кинофильмам, жизнь, моя женская, точнее сексуальная её часть, не давала мне надежды на её реализацию и я поставила на ней крест. Просто вот договорилась с собой и всё. И баста. Для окончательности даже пошла к священнику, он давно меня знал, со времени стояния на паперти, и даже пытался одно время устроить в церковно-приходскую школу.

Он строго сказал – В какой ещё монастырь? Тебя только в цирке показывать, я слышал, ты ещё и воровать начала?

Хорошо никого рядом не оказалось, так как он вдруг подпрыгнул, запрокинул голову. Кадык его, под жидкой бородачкой, ходил ходуном, лицо перекосила гримаса. Я растерялась, и только теперь сподобилась проверить свою подругу. А она, тем временем, тихонечко выползала из-под его сутаны.

Я покраснела, и что-то залепетала на своем птичьем языке, яростно хватая руку и засовывая ту в мешочек. Попятившись к двери, я встретила яростный взгляд батюшки, который порывался бежать за мной, шепча что-то книжное и нелепое, видно решил попросить прощения. Я поняла только одно, что бить меня не будут.

Жаль, очень жаль, а то бы я устроилась в монашки и горя не знала. А так пришлось познать его и очень скоро.

Дом наш, ввиду необыкновенного его расположения, вида на Кремль, того, сего, забрала себе фирма, а мне выдали на окраине, на Ленинском, отдельную квартиру. Думали осчастливить, не вышло. Я закручинилась, и ехать туда отказалась. Как-то мы с бабушкой посещали в тех краях очередную больницу, бабушка неодобрительно хмыкнула и пробурчала: «пятиалтынный на извозчике, порядочные люди в такой дали не живут».

Тогда меня стали пугать, что выселят и площади больше не дадут. Это мне тётя Настя уже переводила, что ж, думаю, пусть. Не пропадём. Но тут дом все остальные начали покидать, и меня тётя Настя, буквально на руках, отвезла в злополучную квартиру. «Хоромы, – буркнула она.

– У меня хуже. Давай меняться?» Я представила себе, что обязательно что-то потеряю при переезде, и отказалась.

Ковер я где-то посеяла, конечно. Правда кусок от него отрезала ещё раньше и рука прибила его к стенке, чтобы светил. В одной комнате я сложила вещи, побывавшие в дыре, там были и мячик, и посуда, и кукла, другую оставила пустой. Для жизни.

Рука тем временем занемогла и вяло висела плетью. Нужна была дыра. Я сидела в углу пустой комнаты и думала. Вспоминала Пусяку, зла на него я давно не держала, только мечтала, вдруг откроется дверь, и он спросит про девочку. А потом уйдет и оставит нам дыру. В подарок. Рука выздоравливает, и мы славно заживём.

Время шло, рука сохла, палец набухал, требовалось предпринимать какие-то меры. Я решилась. Сделала руке кровать, сложила её туда и поехала с мячиком на нашу прежнюю квартиру.

Путь был неблизкий. На исходе дня я увидела марево от знакомого бассейна и поняла, что почти дома. Дом стоял в лесах. Пробравшись через ограждающий забор, я удивилась полному безлюдью. Отрывая на ходу доски, проникла в свою старую комнату. Перегородки снесли, и только отсчитав от края пятое окно, я поняла, что нахожусь в своей комнате.

Ноги сами несли меня к дыре. Инстинкт – великий двигатель прогресса. Сказанула. Рука затрепетала и приподнялась. Мы рухнули на пол и я, обессиленная, уснула.

Проснулась уже ночью от шума шаркающих шагов. Более того, к ним прибавился какой-то посторонний постукивающий звук. То были костыли – поняла я, пугаясь. Я приподнялась и попыталась забиться под окно, туда, где раньше стояли батареи. Сейчас там были гладкие стены, ниши для батарей уже заложили кирпичом. Шаги раздавались всё ближе, и, наконец, я увидела выступающую из темноты фигуру. Это была женщина. Светившая через глазницу разрушенного здания луна выхватила из тьмы прекрасное женское лицо, но фигура была ужасна.

Грузная, она еле переставляла ноги, помогая себе костылями. Добравшись до дыры, она рухнула на пол и оставшиеся метры проползла на животе. Так и замерла.

Полежав с час, она приподняла голову, посмотрела на меня, недвижимую, и мякнула. Я тут же узнала Матрёшку. Подскочив к ней, я прижала её голову к своей груди и заплакала, может быть впервые со времён бабушки. Мы обе сотрясались в рыданиях. Одиночество отступило. Отплакавшись, мы не могли наговориться. Что удивительно, косноязычные от малого общения, мы друг друга прекрасно понимали. Она мой птичий



язык, я её кошачий. Оказалось, она не первый год бродит по Москве, а может первый, тут я не очень поняла, прямо ходить ей делается всё труднее, пришлось обзавестись костылями, четвереньки она использует только ночью, для охоты. Днём же очень мешает хвост. На помойке нашла огромные мужские брюки, сразу стало легче.

И так живо она мне это рассказывала, что я опять принялась рыдать, сопереживая. Тут же встал вопрос, как жить дальше, как нам тут легально обосноваться. То, что ни она, ни я не можем надолго покидать это место – было очевидно. Решили дождаться строителей.

Утром мы проснулись от того, что несколько мужиков, наклонившись, в утренних сумерках поди что разгляди, рассматривают и обсуждают находку.

- Никак бомжи? – заинтересованно проблеял низенький.
- Нет, кажись просто бабы, интересно, что они здесь делают?
- Лесбиянки, небось, – посетовал толстый с рябым лицом.

Пришлось проснуться. Приподнявшись с земли, я завела горестную песнь про сиротство, про увечье, про то, что раньше здесь жила, а злые люди обманули сироту, и теперь я оказалась на улице, а это моя нянька из Чернобыля, с Украины, мутировала и не говорит совсем.

- А не заразная? – тревожно поинтересовался рябой.
- Да нет, шерстью вся обросла, а так нормальная, её даже в баню пускают, – уверила я рябого.

Мужики переглянулись и поплелись к выходу. Я облегчённо вздохнула и перевела взгляд на Матрёшку. Та лежала ни жива ни мертва. Я объяснила ей, что пугаться сейчас рано, надо подумать, где нам теперь жить.

Решила я вспомнить былое – пойти просить подавание. Я порылась в сумочке Матрёшки, вынула оттуда губную помаду и весьма искусно декорировала руку, та приобрела жуткий багровый оттенок, а присыпанная землёй вообще стала выглядеть, как чёрт знает что.

Через полчаса, помогая Матрёшке одеться, я нечаянно отдала ей хвост, и пока рука лечила и баюкала его, ввела Матрёшку в курс дела, затем напялила на неё брюки, сунула костыли и осторожно выглянула во двор, чтобы пересечь его незаметно. Матрёшка ходила сегодня значительно бойчее, и мы поковыляли в Кропоткинские переулки, где были церкви, чтобы успеть к заутрене. Туда я шла впервые, чувствуя, что в храм, где произошла та непристойная история с батюшкой, путь мне заказан.

Паперть встретила нас враждебно. Я понимала их. Устоявшийся коллектив, своя иерархия, свои клиенты, на самом же деле всё это было довольно шатко. Мы почувствовали себя неудобно, но с другой стороны,

всюду нужно было бы завоёвывать место под солнцем. Так что я приняла непростое решение остаться.

Я нашла деревянный ящик, посадила на него Матрёшку, она выставила из-под брючины кусочек деревяшки, как будто протез, и дело пошло.

За оградой то и дело хлопали дверцы подъезжающих машин. Неиссякаемым потоком шли клиенты. Это были молодые люди, прекрасно, правда немного однообразно, одетые, они кидали короткий, прямо кинжальный взгляд на нас и невозмутимо проходили в храм.

Да, самого главного в этой истории я не сказала. Мы были хороши. Я беленькая, Матрёшка чёрненькая. У Матрёшки – огромные зелёные глаза, у меня небольшие голубые. Но в отличие от почти бритой Матрёшки, природа наградила меня удивительными волосами, белыми, с золотым проблеском. Я заплетала их обычно в косы, и сейчас две огромных косы висели вдоль детского неуклюжего, неухоженного тела, вызывая острую жалость.

Это был тот самый дуэт, который так нужен каждому погрязшему в грехах пацану.

Нас хотелось приласкать, окружить заботой, создать счастливую, полную довольства жизнь, хотелось лечить у самых лучших врачей, и омывать нас чистыми слезами, смывая ими своё греховное прошлое. И купаться в наших благодарных улыбках, как в лучах всепрощающего солнца.

Мимо шла, почти в полном составе, Дорогомиловская группировка, перебравшаяся в Кропоткинские переулки, где накупила или просто отобрала квартиры. Привлекла их сюда близость храма, но не того святого места, где нынче красовался бассейн, а небольшого, прятавшегося в переулках, отец-настоятель в котором был по совместительству родным отцом главы этой группировки.

Тот был очень набожным и, ни боже мой, киллер не мог выйти на дело, не помолвившись предварительно за упокой души клиента.

Нам хорошо подавали, и через несколько дней оказалось доступным снять в соседнем доме, в фотоцентре, небольшую комнатку, в которой хранились пустые рамки, молотки, гвозди, верёвки. Там мы спали и раза два в месяц, проشمгнув мимо бдительной охраны, пробирались на вялую стройку, чтобы припасть к живительному источнику, после чего, воспрянув духом, шли в дождь и мороз на наше обычное место.

Парни нас узнали и посыпались предложения. Мы не противились, и вот настали времена, когда нас на джипе привозили к храму и оставляли под бдительным взглядом шофёра, чтобы вечером опять забрать к себе. Это могло быть и в здешних переулках, и в шикарном загородном особняке.

О нас пошла лестная слава, как и о необыкновенных любовницах (это

старалась рука), так и о занятных, строгих правил девицах. Хотя, что там греха таить, я вполне отдавала себе отчёт, кем мы были на самом деле. Экзотические зверушки, проститутки. Правда, я была достаточно образована, так что, пока мы лежали обнявшись, и он, плача, гладил меня по голове, а рука делала своё мерзкое дело, я, улучшив минутку, рассказывала ему истории про замки Луары и про фарфор Эрмитажа, невесть как возникающие в моей голове. В это время Матрёшка, свернувшись калачиком, пела негромко ему колыбельные песни.

Нас пытались лечить, нам предлагали дома и состояния, пока я не сообразила попросить в подарок наш особнячок. Парни сложились и быстренько его оформили на меня, так как у Матрёшки документов отродясь не было, и сколько бы раз ей их ни доставали, всегда наступал момент, когда, растерянно глядя, она признавалась в их потере.

Стройка продолжалась так же вяло, мы не настаивали. Паперть, ставшая нам родным домом, позволяла жить безбедно в нашей комнатке в фотоцентре.

Бассейн прикрыли, поговаривали, что правительство затеялось восстанавливать храм, словом жизнь текла ровно, без особых потрясений и радостей.

Однажды поздним вечером мы сидели на земле в нашем особнячке и лениво беседовали. Моя рука немного болела, и требовалось всё чаще находиться в пределах нашего истинного очага, но огонь в нём всё слабел и слабел. Недалёк был и тот день, когда, приблизившись к очагу, мы бы обнаружили, что он холоден, огонь в нём потух. Конец постепенно приближался.

Оглядываясь на прожитую жизнь, я не видела особого отличия от жизни других, в одной семье кто-то сидел, в другой кто-то был неизлечимо болен, в третьей не могли найти работу и голодали, у четвертой не было крыши над головой, в пятой кто-то из близких трагически погиб, у меня было всё. Семья, крыша над головой, мы не голодали, меня любили, любили искренне, шли навстречу моим капризам и прихотям. Я не могла родить ребёнка – не страшно, зачем выкидывать в этот мир человека, когда не знаешь, хватит ли времени и сил доносить и поднять этого ребёнка, и на какие муки он обречён? Странно, думала я. Как бы сложилась моя жизнь, не войди в неё Пусяка? Не привиделся ли он мне? И вообще, кто он? Не материализовавшийся ли это образ угрозы? И помню ли я себя с нормальной человеческой рукой? Нет, не помню. Может, дана была она мне от рождения? А как же Матрёшка? А может, это вовсе и не она? Мало ли увечных, сирых бродит по свету? Приблудился, прибился уродец ко мне. Сцепились две молекулы и образовали новое соединение, с новыми свойствами.

Я лежала на земле, смотрела на пробивающиеся через драную крышу

звёзды, и душа моя успокаивалась. Я погладила приладившуюся сбоку Матрёшку, ещё раз порадовавшись, какая густая шерстка выросла на её теле.

И в эту минуту на нас сверху обрушилось совершенно пьяное существо с криком «А вот я вас сейчас порешу, ведьмаки чёртовы». Я узнала толстого, рябого строителя, невзлюбившего нас с самого начала. Взмах топора – и Матрёшка корчится на земле, а её роскошный хвост валяется как ненужная тряпка рядом, ещё взмах, и моя рука, моя замечательная рука, разрублена на две части, одна маленькая, как крыло, трепещет у моего тела, вторая мёртвой змеей валяется на земле.

«Пусыка! – истошно кричу я в темноту, – Помоги!» – «Сейчас, сейчас, – доносится откуда-то сверху. – Иду, держись». Пьяная образина вдруг взмывает вверх, топор вырывается из его рук, и, совершив невероятный кульбит, вопреки всем законам физики, быстро разрубает супостата на куски. Окровавленная масса плюхается куда-то в угол, и я моментально забываю о ней. Пусыка, а это он, только в этот раз в кургузом пальтишке, обнимает нас обеих и фонтаны крови, уносившие из нас жизнь, остановлены, и вот уже и шрама нет, чудеса продолжают. Боль проходит совсем.

Я вцепляюсь ему в пальто и кричу: «Какой во всем этом смысл? Зачем ты это сделал?». Он улыбается и произносит: «Так, игра ума». Я понимаю только одно, что мы букашки, червячки под микроскопом. Пошалают, хорошо, если спасут, а не спасут – материала много. А вдруг это не так? Вдруг так оно и было задумано? Останешься ли ты человеком в самом тяжёлом испытании? Но кто будет нас судить? Кому нужно наше человеческое лицо? И всегда ли испытание нам по силам?

В это время Пусыка подхватил Матрёшку, прижал её к себе и пророкотал, «Пойдём, не место тебе здесь, тут человека не пожалеют, что же животину раненую? Пойдём, а она пусть остаётся. Теперь ей будет легче, поживёт нормальным человеком, не пропадёт». Они исчезли.

Я сидела в полусне, стараясь не прикасаться к окровавленной стене, и понимала, что идти мне некуда. Я не умею жить в мире здоровых, я стала моральной калекой, я даже проституткой быть не смогу, но потом подумала, что в монастырь меня теперь точно возьмут. Приподнявшись, я взяла отрезанную руку и пошла в сторону храма. Но, проходя мимо закрытого бассейна, пролезла под неплотными досками, и, распугивая бомжей и влюблённых, забралась на холм. Там выскребла ямку, положила в неё руку и хорошенько присыпала землёй. Если построят храм, то на странную вещь он будет опираться. Поистине, удивительный подарок принесла я тебе, Господи.

Опубликовано: «Всё было не так», Москва, «Русаки», 2007.

---

# Татьяна Зажицкая

---

**Эстонский контекст**

Эссе

*... но это гавань – помни это*

*Когда тебя достигнет эхо...*

Кари Унксова

«Эхо» в начале 70-х настигло трёх ленинградцев, которые сразу обрели в нашем кругу и друзей, и поклонников. Ареал, если можно так сказать, русской культуры в Таллинне был столь мал, что невозможно было не заметить и не оценить поэта Кари Унксову, художника Владимира Макаренко, и, конечно же, литератора Сергея Довлатова. Они совершенно не были известны в официальном поле культуры как поэт, художник и прозаик, но очень скоро мы увидели их именно так.

Серёжа Довлатов, в возрасте своих тридцати, или около того, лет (все были примерно ровесниками), приехал в Таллинн с чемоданом рукописей и номером «Юности», где удалось опубликовать пару рассказов.

Появившись в Таллинне почти одновременно, они надеялись, что маленькая прибалтийская столица – остров свободомыслия в мрачной стране, но забыли, что и эта столица находится во власти единого хозяина заводов, газет, пароходов, а также издательств, театров, галерей – заказчика стихов, рассказов, романов, спектаклей и так далее по списку.

К их поколению, которое уже образовалось после культурного бума 60-х, власть относилась с большим подозрением, нелюбовью и невниманием. Они были ей совсем непонятны. Они – уже выросшее поколение писателей, поэтов, художников – не были нужны советской идеологии.

Это потом, когда рухнет «Нерушимый», словно откроются шлюзы и хлынет поток созданного, написанного, придуманного, неосуществлённого в 70-е, и поколение назовут то ли забытым, то ли упущенным, то ли пропущенным, а тогда и слов таких по отношению к ним не произносилось. Что касается Таллинна, некая иллюзия, которая привела наших новых знакомцев из соседнего Ленинграда, имела основания. Довольно скоро Кари Унксова, которая не поселилась в Таллинне, но часто наезжала, получила единственный в своей жизни поэтический вечер в Союзе писателей Эстонии и подборку стихов в журнале «Таллинн».

Воледе Макаренко помогли получить работу истопника, и, следовательно, прописку, комнату в подвале для проживания и творчества,



а также и признание авангарда эстонских художников, и художественную галерею для персональной выставки.

Но самые грандиозные перспективы ожидали Серёжу Довлатова. После недолгого мытарства он получил работу сотрудника в отделе информации «Советской Эстонии». Украсил ежедневной продукцией этот отдел. Прописался на улице Рабчинского в квартире Тамары Зибуновой, и вокруг этой пары образовался широкий, если можно так сказать, в масштабах нашего города, круг друзей. В перспективе даже было издание в «Ээсти Раамат» первого сборника его прозы.

Серёжа и мой муж Иосиф, работая в разных редакциях, придумали себе почти ежедневный совместный заработок: Серёжа давал информацию в номер, Иосиф – фотографию к ней. Что-нибудь о «героях наших дней», портных, продавцах, моряках или учёных. Пять рублей за информацию, три за фотку. И всё это – до начала газетного рабочего дня. Теперь нам и будильник стал не надобен: утром в полседьмого раздавались телефонный звонок и бодрый Серёжин голос в трубке:

– Доброе утро, Танечка, толкните Оську ногой, пора вставать и идти деньги зарабатывать.

– Надо же, – говорил, беря трубку, Иосиф. – Всю ночь гудел, а в шесть уже на ногах...

– Самодисциплина, сынок, тебе этого не понять, – важно объяснял Серёжа.

– Ну да, как же... Ты просто вон какой здоровый, ничто тебя не прошибёт.

Всё труднее становилось решать бытовые и прочие проблемы, даже в Таллине, относительно комфортном островке жизни среди тотального безобразия и общего развала. Цензура и здесь не дремала, а редакционный люд продолжал тихо спиваться от общей и персональной безнадёги. Между тем, поток сам- и там-издата нарастал. Книги передавались от одного к другому на одну ночь, на полдня, на три часа.

Грянул гром и в Таллине. Пошли по квартирам и учреждениям обыски. Как в дурном сне, на квартире у некоего Котельникова, кондитера по профессии, нашли и конфисковали политический «криминал», среди которого обреталась рукопись книги Довлатова «Зона» с подзаголовком «Записки надзирателя». Первая его книга, написанная после армейской службы надзирателем лагеря уголовников на Севере. Сергей даже пытался её опубликовать, посылал в журналы, но внутренние рецензии были отрицательными, книга признавалась «идейно незрелой», и только.

Кто, от кого, почему – ничего не известно. Стало известно, что ни

эстонское КГБ, ни идеологи ЦК не стали разбираться сами с «Зоной», а предложили это редколлегии «Советской Эстонии»: разобраться, дать политическую оценку, а уж они, органы, решат в зависимости... Это было вполне милосердное решение с их стороны. Но перетрусившая редколлегия партийной газеты единогласно вынесла вердикт: «Зона» – произведение антисоветское. Для Довлатова всё свершилось мгновенно: заявление об уходе, уничтожение набора книги в издательстве, настойчивая «рекомендация» выписаться и покинуть город. Ни одного голоса, ни коллективного письма коллег или от Союза Эстонских писателей, куда после выхода книги Сергей был бы принят, не последовало. Довлатов уезжал в Ленинград в полном ошеломлении, без работы, без денег, «под колпаком» органов, что само собой означало: никаких перспектив, ни жизненных, ни тем более литературных, нет. В таком же ошеломлении от случившегося мы попрощались с Серёжей. Довлатову было тридцать четыре года.

Он редко наезжал в Таллинн, разве что навестить Тамару и общую их дочку, Сашеньку. Пару раз заходил к нам. Был замкнут. Что мы узнали от него тогда – ни работы, ни денег, «беру у мамы тридцать копеек в день на сигареты». Потом – что его жена Лена с дочкой Катей эмигрировали в Штаты, а он, после попытки поработать сторожем на каком-то заводе, был оттуда скоро уволен и устроился на временную работу экскурсоводом в Пушкинский заповедник. Оставил свой ленинградский адрес на Рубинштейна и телефон. «Будете в Ленинграде – заходите, если захочется».

В 78-м году мой сын держал экзамены в ЛГУ, и мы целый месяц жили тогда в Ленинграде в квартире моего брата, Саши Нинова. Я позвонила Серёже. Взявшая трубку Нора Сергеевна сказала, что у них много событий и попросила непременно зайти. Захожу, звоню в дверь, открывает Серёжа, но в каком виде... Голова обрита, лицо в кровоподтёках и ссадинах.

– Серёжа, что с вами?!

Он рассказал дикую историю. Уже было получено разрешение на выезд, когда в его отсутствие явился участковый и сказал Норе Сергеевне, что надобны их паспорта, для какой-то отметки, завтра сын может получить их обратно в отделении милиции. Мать отдала паспорта. Серёже этот визит очень не понравился, уже была какая-то история с милицией, он выговорил матери, но делать было нечего, пришлось идти. Принявший его милицейский чин повёл себя нагло, на вопрос, можно ли получить паспорта, не ответил, а потребовал, чтобы Серёжа при нём написал показания о том, как он, Сергей то есть, избил участкового и спустил его с лестницы. На попытку объяснить, что никаких таких действий он

не производил и не собирался, чин не отреагировал, а только пододвинул какую-то бумагу, сказал, что это протокол, вот подписи свидетелей, и он, гражданин Довлатов, арестовывается на пятнадцать суток принудительных работ за хулиганство. Провокация открытая и наглая. Качать права или не сопротивляться и не спорить? Серёжа сказал, что нервы были у него в тот момент напряжены до предела. Он понимал, что или его сгноят в тюрьме, или он отсидит, вырвется и уедет навсегда. И он решил, что должен выдержать эти пятнадцать суток и выйти отсюда.

Уводил его в камеру знакомый участковый.

– Что же ты, гад такой, понаписал там? – не выдержал Серёжа. – Я что, тебя трогал?

Тот ухмыльнулся.

– Тронул бы, годков на пять сел. Скажи спасибо, что на пятнадцать суток...

Дальше вот что произошло. Серёжа сказал, что мог вынести всё: штаны без ремня, башмаки без шнурков, самую унижительную работу, отвратную еду и тухлую воду, а вот без курева – не мог. Брат Боря, во время одной из работ на «свежем воздухе», ухитрился передать ему сигареты. Это было запрещено, при выходе из камеры и входе обыскивали. Серёжа придумал закатать несколько штук вместе с рукавом рубашки до локтя. При обыске их нашли... О, Господи... Он рассказывал это без обычных своих хохм и шуточек, на себя был не похож. Глаза воспалённые, и в них слёзы, злые такие. Громадный, здоровый мужик, он не мог забыть это унижение... Короче, его затолкали в каменный мешок, в карцер, и набросились. Их было трое, и они били его по чём попадая ремнями с пряжками, а он стоял, прислонясь к стене, прикрывал лицо и думал только о том, как бы не упасть. Он с таким отвращением рассказывал об этом, по-моему, к себе самому больше.

– Я мог бы, – говорил он, – одной своей пятерней сдавить сразу три их горла, хилые такие смрадные мужичонки, в раж вошли, прыгают вокруг меня. Но пальцем не шевельнул, это был бы конец, они не выпустили бы...

Он считает, что, с одной стороны, на всякий случай, «отъезжанту шьют» репутацию уголовника, с другой – может быть, у них там, в гебухе, свои «либералы» и «консерваторы». Первые – за то, чтобы выдворить из страны, вторые – не выпустить, он же носитель информации... Вот они и борются меж собою.

В конце концов выпустили Серёжу и паспорт вернули. Приходя, каждый раз я обращала внимание на то, что двери квартиры не закрываются, всё время приходят и уходят какие-то люди, а Нора Сергеевна с кошёлкой

в руках потерянно бродит по своему разорённому гнезду. Как только я появлялась, она делала таинственные знаки и вела в кухню. Мы – в который раз! – пересчитывали деньги, которыми надо будет заплатить за паспорта и визы. Она доставала из кошёлки завёрнутую в газету пухлую пачку, мы на кухне пересчитывали купюры справа налево и слева направо, и каждый раз получалась новая сумма. Деньги были немалые, мы такие и в руках никогда не держали, больше двух тысяч. Нора Сергеевна рассказывала, с каким трудом они собирались, и как важно, чтобы сумма была точной, копеечка в копеечку. И мы опять считали.

Серёжа предупредил, что его телефон наверняка прослушивается, просил звонить ему только из автомата, говорить о незначительном, из чего он поймёт, что я приду. «Ничего себе конспирация», – думала я, наблюдая поток визитёров на Рубинштейна.

Мы с Алёшей собрались домой, в Таллинн, и Серёжа решил ехать вместе с нами, на одни сутки, попрощаться с друзьями и городом. Договорились, что мы возьмём билет и для него и поедём вместе ночным поездом. Конечно, он сильно рисковал, не имея уже советского паспорта, но сказал, что о поездке будет знать только мать, попросил ждать его с билетом у вагона, он появится буквально за несколько минут до отхода поезда.

Голос в репродукторе Варшавского вокзала уже предлагал провожающим покинуть вагоны, когда на перроне показалась развесёлая компания. Они шли, перекрывая перрон, плотно взявшись под руки, Серёжа высился в центре, они гадали и пели. Увидев нас с Алёшей, он заулыбался, отряхивая со своих рук каких-то девиц. Мы прыгнули в вагон, поезд тронулся, провожающие махали и выкрикивали какие-то напутствия. Серёжа стоял на площадке, поставив у ног громадный портфель. Он был оживлён и весел. Я слишком хорошо знала, что означает это веселье. «Так. Пьян, конспиратор чёртов. А ну, если он разгуляется, что мы будем делать? Кутузкой на этот раз не обойдётся, это уж точно». Поезд набирал скорость, шёл первый час ночи. Мы стояли втрём на плохо освещённой площадке, точнее вчетвером, так как у окна, повернувшись к нам спиной, стоял Некто и курил. Я посмотрела на портфель.

– Рукописи, – хвастливо сказал Серёжа, пнув его ногой. – Везу Тамаре, оставляю на всякий случай.

Я посмотрела на спину Некто – он продолжал курить. Не знаю, чего было тогда больше во мне – ужаса или бешенства.

– Так, – сказала я, сухо, всем своим видом показывая, что веселья его не разделяю. – Мы все идём в купе, спать.

– Нет, – возразил Серёжа. – Мы не идём спать. Мы будем всю ночь

разговаривать и, – он проворно нагнулся, достал из портфеля бутылку водки, – и пить.

Отобрать у него бутылку – такого ещё не бывало. Отказаться – он выпьет её один, и тогда он неуправляем, переходит грань, за которой кончается игра...

– Хорошо, – сказала я. – Алёша, у нас есть какая-нибудь еда?

– Только яблоки.

– Принеси.

Сын пошёл в купе за яблоками.

– Ну, Серёжа, давайте бутылку...

– Из горла? – Серёжа ловко откупорил бутылку и с готовностью протянул мне.

Я подошла к незнакомцу и легонько ударила его по плечу.

– Выпьете с нами, товарищ?

Он обернулся. Простое и даже славное лицо, вроде рабочий.

– Отчего же не выпить? Выпить можно... Только вы первая. Всё ж таки дама, – галантно сказал он. – Тост скажите.

– За знакомство, и вообще...

Я отпила глоток, откусила яблоко и передала ему бутылку. Он пил деликатно и бережно, Серёжа следил за процессом с доброжелательным любопытством, а я говорила: «Пейте, пейте, товарищ, не стесняйтесь». Тот оторвался от бутылки и отдал было Серёже, но я её перехватила и протянула Алёше. Он вопросительно уставился на меня.

– Что? Пей же!

Сын высокомерно пожал плечами и спокойно отпил. Бутылка скоро опустела. Наш собутыльник вежливо попрощался и пошёл спать. Вслед за ним ушёл Алёша. Говорить ни о чём не хотелось.

– Я иду спать, Серёжа, у нас с вами соседние купе, идёмте, покажу.

Серёжа как-то сразу поскучил, пробормотал что-то вроде спать, так спать... У него в купе ехали какие-то старушки с ребёнком, я представила, как он, громадный, хмельной, со своим портфелем пробирается в темноте и тесноте, лезет на верхнюю полку...

– Дайте-ка мне ваш портфель, Серёжа, до утра.

Он вяло сопротивлялся, но отдал портфель, я подождала, пока за ним не закрылась дверь купе и осторожно пробралась в своё. Было темно, Алёша и попутчики спали. Портфель был тяжёлый. Я накрыла его одеялом и поставила в ноги. Легла. Передумала и перетасила в изголовье. Дальше начался бред, может, я и впрямь опьянела. В моей тяжёлой башке ворочалась одна мысль, а вдруг наш собутыльник «оттуда» и что тогда? Вдруг

«они» Серёжу схватят и снимут с поезда? Где можно здесь спрятать портфель? Я села на постели, плохо соображая. Так... Про Алёшу ведь «они» могут и не вспомнить. Я с трудом подняла портфель на верхнюю полку.

– Алёша... Проснись... Возьми портфель...

– Какой ещё портфель?!

– Тихо... Никакой... Положи в изголовье и накрой чем-нибудь... Спи теперь.

Легла. Не сплю. «Они» нашли портфель, и тогда Алёшу тоже... Господи! Вскрываю и опять его трясу:

– Алёша... Переложил портфель в ноги, слышишь? И закрой чем-нибудь...

– Что ты носишься с этим портфелем...

– Тихо! и не спорь... Если спросят, чей, скажи, не знаешь, понял?

– Кто спросит?

Но я уже не могу ответить, потому что сползаю на свою полку и проваливаюсь в неодолимый сон.

Проснулась я от сильного толчка: поезд остановился. Купе залито солнцем, постели свёрнуты, в проёме двери стоит Серёжа с портфелем, и рассказывает что-то Алёше весёлым рокошущим голосом. За окном – перрон Таллиннского вокзала. Унизительные ночные страхи испарились. Серёже – на Рабчинского, это рядом, нам с Алёшей на автобус. Мы прощаемся, с тем, чтобы вечером встретиться у Тамары.

Квартира Тамары на Рабчинского. На столе какая-то еда, и в достатке водка, разумеется. Ожидается большой прощальный сбор, а пока нас пятеро: Серёжа, Тамара, их маленькая дочка Саша, Ося и я. Ждём гостей, не спеша выпиваем и закусываем. Часов в десять вечера пришёл наш общий друг, поэт и переводчик Светлана Семенович. Ждём остальных. Уже полночь. Никого. Но вот пришёл один бывший коллега Серёжи по «Советской Эстонии», какой-то притворно пьяный, нёс околёсицу, пожал Серёже руку и через пять минут исчез.

– Большое гражданское мужество ты проявил, старик, – крикнул ему вдогонку Ося.

Больше не пришёл никто. Серёжа был подавлен, но старался этого не показать, и шутил невесело. Мы сидели почти до утра, выпили всю водку.

– Оська, фотоаппарат у тебя с собой? – спросил Серёжа.

Надо сказать, что Ося был как бы личным фотографом Серёжи в таллинскую пору его жизни, снимал его охотно и с удовольствием, ещё бы, такая натура!

Иосиф достал фотоаппарат, велел Тамаре принести сонную Сашеньку, сделал несколько снимков.



Когда мы пришли на вокзал, поезд уже стоял. Нашли Серёжин вагон. Последние минуты прощания всегда тягостны и для отъезжающих, и для провожающих. Мы как-то бестолково и молча толкались вокруг Серёжи на перроне, не находили последних и очень нужных, наверное, в эти минуты слов, в голову лезла какая-то банальщина. И, кажется, не отдавали тогда себе отчёта в том, что же случилось с Серёжиной жизнью, каким роковым образом преломилась его судьба; плохо представляли себе и что творится сейчас в нём самом. Серёжа явно ощутил это хмельным своим сознанием. Объявили посадку. Мы по очереди обнялись с ним, он молча, махнув рукой, пошел в вагон. Поднялся по ступенькам, и тут натянутые его нервы сорвались. Буквально через секунду он выскочил обратно на перрон с криком:

– Да вы что, не понимаете, что это навсегда?! Оська, ты-то хоть понимаешь это слово – навсегда?!

Он хотел нас пронять, он кричал какие-то слова, на нас оглядывались.

– Отъезжаем, – крикнула проводница. – Пусть ваш товарищ пройдет в вагон!

Мы все окружили Серёжу, повели в вагон, отыскиали его место. Только вышли, он опять выскочил на перрон с криком – Это же навсегда...

Тамара не выдержала, заплакала, и побежала по перрону прочь... Серёжа рванулся за ней, но Володя, Ося, Светлан и какой-то молодой человек, знакомый Тамары, повисли на нем...

– Да он пьяный, вот позову бригадира сейчас, и вовсе с поезда его снимут, – пригрозила хмурая проводница, наблюдавшая эту сцену.

– Нет, нет, не надо бригадира, пожалуйста, – говорила ей я, плача. – Он выпил немного, это, правда, но сейчас он один останется, ляжет на полку и спать будет до самого Ленинграда... горе у него большое...

Она смягчилась:

– Помер у него, что ль, кто?

– Да...

Мы кое-как затолкали Серёжу в вагон, и поезд тронулся.

Так и осталось в памяти: хмурая проводница с флажком на ступеньке медленно уплывающего поезда, за её спиной, на площадке, видная в проёме открытой двери огромная фигура головой в притолоку... руки раскинуты, упираются в стенки, чтобы удержаться на ногах...

Из всего широкого круга Серёжиных таллинских друзей и знакомых, кроме Тамары и Иосифа, не поехал никто и позже, в Ленинград, проводить его в эмиграцию.

В аэропорт Пулково прибыли Серёжа, Нора Сергеевна, фокстерьер

Глаша... Очень скоро отъезжающих провели в стеклянный аквариум, из которого им уже нельзя было выйти. Ося только и успел что передать Серёже фотографии. Через стеклянную стенку было видно, как Серёжа усадил на лавку Нору Сергеевну, поставил рядом клетку с Глашкой и тотчас пошел к прилавку валютного киоска. Вышел с бутылкой какого-то заморского алкоголя, тут же бутылку откупорил, и, прикладываясь к горлышку, стал важно расхаживать взад и вперед, время от времени поднимая её, как бы чокаясь, в сторону провожающих, стоявших за стеклянной стенкой. Он как бы показывал всем, сказал Иосиф, что вот, я, мол, в свободном мире уже, делаю, что хочу и пью за ваше здоровье; Нора Сергеевна показывала пальцем на Серёжу, а потом меланхолично крутила им у виска...

Так вот – в дорогу.  
Чайки подобрать  
Пустынный крик над внутренностью рыбы  
Воды воды всегда вечерний блеск –  
Всё это тут. Гуденье тополей  
Их ствол и токи в произвольных листьях  
Всё так.  
Над лесом кладбище с грибами на могилах  
Отдельные семейства мертвецов  
По верам, по войне, не все – по семьям.  
И звон резцов о камни – мудрецы  
Здесь пировали много.  
Всё – с собою.

Кари Унксова Ленинград, 70-е

Будто мелкий пакостный бес крутится у людей под ногами, злобно веселясь и гламься над нами; рвутся многолетние отношения, ломаются дружбы, рассыпаются компании. Всё пошло вкривь и вкось, и совершенно не понять, почему.

В «Молодёжи Эстонии», редакции, где работал Иосиф, конфликт между сотрудниками перерос в свару, свара в ссору, ссора – в громкий, на весь Дом печати, скандал. Иосиф оказался в центре, так как исчез какой-то газетный материал как раз в тот день, когда он вёл номер. Редакция разделилась на два лагеря. Коллеги рвали друг другу нервы, в ход шло всё: клевета, донос.

В один из этих мрачных дней Иосиф позвонил мне в редакцию и попросил спуститься в холл.

– Они с понятными вскрыли мой сейф в фотолаборатории, когда я на съёмку ушёл, и всё оттуда конфисковали. При этом рулон плёнки засветили, мерзавцы.

– А Томбу? (Вольдемар Томбу, главный редактор «Молодёжки»)

– У Володи не было выхода. Он позвал меня после всего в кабинет, запер дверь и показал донос в отдел пропаганды ЦК, который они состряпали и ему торжественно вручили. Они обвиняют меня в том, что я в сейфе молодёжной газеты «храню порнографию», это раз; что ездил в Ленинград, где провожал в эмиграцию «известного диссидента Довлатова с целью передачи ему фотографий антисоветского содержания», буквально так. Это два. Что-то ещё, я не запомнил.

– Кто «они»?

Ося называет несколько хорошо знакомых мне фамилий. Спрашиваю:

– Они что, полные идиоты? Разве можно эти снимки назвать антисоветскими? Серёжа с Тamarой, Серёжа с дочкой?

– Да они их и не видели. То, что я спечатал, отвёз Сергею и отдал Тамаре, а негативы дома. Но печатаю-то я снимки в лаборатории... Там вечно кто-то крутится, наверное, спросили, что это и для кого, я и сказал... Я вообще не придавал этому значения, а кто-то стукнул.

– Абсурд какой-то... Что же теперь?

– Володя сказал, что «сигнал», так называется эта гнусная бумага, должен быть передан в отдел печати ЦК, хоть я и беспартийный... Осквернил, так сказать, их чистые ряды...

Вольдемара Томбу вместе с Иосифом вызвали «на ковёр» в отдел печати ЦК, держать ответ. Володя нервничал и давал Иосифу всяческие инструкции – как себя вести и что говорить. Иосиф послушно кивал:

– Понял. Всё понял.

Дальше было так.

– Зав. отделом печати – здоровый такой мужик, товарищ Пальма, – рассказывал после Ося. – Володя с Пальмой по-эстонски долго трындали, я себе скромно сижу, молчу. Вдруг этот Пальма по-русски ко мне спокойно так обращается: «А на этих фотографиях, что вы Довлатову передали, что всё-таки было?» «Да ничего там такого особенного, товарищ Пальма, не было, говорю. Довлатов с подружкой своей таллиннской, с их дочкой, она родилась недавно. Обыкновенные фотографии, любительские, качество неважное, свет был плохой...» «А где вы снимали?» «Да дома у неё снимал. Ну и передал потом. На память. Это просто долг мой был. Он ведь навсегда уезжал, Серёжа, навечно. А если там и было что-то антисоветское, говорю, так это комната Тамарина, в деревянном доме

с печным отоплением. Так это ведь не декорация, она там годами живёт...» Тут Томбу ногой мне как поддаст под столом, я даже вздрогнул. А Пальма дальше спрашивает, тихо и с любопытством таким: «А какой он человек, Довлатов, расскажите, я его никогда не видел». «Я и говорю, он такой же здоровый, как вы, товарищ Пальма, только вы блондин, а он брюнет...». На Томбу стараюсь при этом не смотреть, чувствую, что он почти в обмороке. Хороший и талантливый, говорю, человек Довлатов, и никакой не диссидент, писатель он, и уезжать никуда не хотел, печататься здесь хотел. Эмиграция, говорю, его трагедия. Жалко, говорю, его очень. Тут Пальма встаёт, на часы смотрит и говорит, что его сейчас на совещание ждут. Мы с Томбу тут же отваливаем. Володя аж посинел. Идёт, молчит. Я ему говорю, Володя, да что ты, в самом деле, он по-человечески спросил, я по-человечески ему объяснил... Да он нормальный мужик, этот Пальма. Тут Володя закричал, я даже испугался: «Ты идиот!!! Партийному функционеру ты объяснял, какой хороший и талантливый отъезжант Довлатов, которого из Таллинна за антисоветчину они же и выперли» ... «Извини, Володя,» – говорю. – Они вместе с родной Серёжиной редакцией его выперли... А может, благодаря ей... Да это эстонское ЦК вместе со своим КГБ, думаешь, «Зону» Серёжину читали? На фиг им эти русские книги? Они со своими никак не разберутся. А решение по «Зоне» редакции «Советской Эстонии» передоверили, ты же знаешь, как скажут товарищи советские журналисты, так и решит верховный орган... Ведь в редакции «Зону» многие читали, вместе с официальными внутренними рецензиями на неё, где кроме, вроде, «талантливо, но идейно незрело» никаких обвинений. Но на редколлегии, Володя, ни одна сука в защиту Серёжи голос не подняла. Они же не только пили с ним, а любили его, общества его искали... А этот донос идиотский? Господи, но это же так элементарно, хоть спросить меня, как уезжал Серёжа, как провожали его. А ведь никто меня не спросил... Как они испугались, просто обосрались от страха. Как же, у кого-то новый сборник стихов на выходе, а может, собрание сочинений, может, карьера или приём в партию... А тут – такие компрометирующие связи...». Вот такой постдовлатовский сюжет...

Сквозь треск эфира прорывается иногда и голос Серёжи в программе радио «Свобода» «Пятое авеню» в паре с Мариной Ефимовой. Иногда он читает главы из своего «Компромисса», это привет персонально Таллинну и бывшим коллегам из «Советской Эстонии». Этих чтений ждут, слушают с живым интересом, кто с опаской, кто со злорадством.

Время нашей общественной жизни, которое вяло тянулось год за годом, рвануло в конце 80-х с такой скоростью, что маленькая Эстония,

оставшись географически на своем многовековом насиженном месте, вместе со всем своим народонаселением, уже в начале 90-х оказалась де юре и де факто частью Западной Европы. Мир открылся: хочешь дальше на Запад, хочешь – в другую сторону, это уже вопрос личного выбора, а не каких-то бывших там «органов».

93-й год. Серёжи Довлатова уже нет в живых. Ленинград уже – Санкт-Петербург, издательство «Лимбус-пресс» выпустило первый трёхтомник сочинений Довлатова, подготовленный литературным критиком и другом Сергея Андреем Арьевым.

Его книги стремительно завоевали многополярный читательский мир, в любви к автору объясняются люди, которые и в глаза его не видели, а многие думают, что он вообще-то жив, читает его и русский, и американец, и японец... Критики объясняют, в чём обаяние его прозы...

«...но это гавань, помни это...» Из этой гавани, прямо из своего таллиннского подвала, переехал в Париж, после многих отказов и мытарств, Володя Макаренко, вместе со своими картинами, красавицей-женой Викой и крохотной дочкой. Уехать из Союза ему помогла атташе по культуре Франции. Теперь эротическое излучение его живописи вполне оценила искушённая французская публика.

Кари Унксова, так и не получив разрешения на публикации в России, попала под колпак КГБ, тайно посетила Таллинн в 82-м году и летом 83-го за десять дней до отъезда с семьёй в эмиграцию была насмерть сбита машиной у своего дома. Следствия по этому делу не было. Её литературное наследие составило шесть рукописных томов стихов и поэм.

Светлан Семененко, занимаясь исследованием эстонской поэзии XX века и многих её авторов, задержался в Таллинне на всю дальнейшую жизнь. В потоке русских переводов «поэзии братских народов», как это тогда называлось, он открыл особый западноевропейский поэтический анклав – от модерна 20-х годов до ритмов рока 70 – 80-х.

Сергей Довлатов основал в Нью-Йорке русскую газету «Новый Американец», опубликовал всё, что написал на родине и за двенадцать лет своей американской жизни, и стал всемирно известным писателем.

Берлин, 2016.

---

# Борис Замятин

---

## Суп из Фейербаха

## Рассказ

В школе мне легко давался английский. Возможно, это было наследственное. Мой отец преподавал историю и владел пятью языками: русским, украинским, еврейским, немецким и польским. Впрочем, первыми тремя в нашем городе владели почти все. Семья у отца была большая, мать моя постоянно болела, и мы с трудом сводили концы с концами. Когда я окончил шестой класс, мне предложили стать репетитором. Наш сосед по двору, сын сапожника Виленского, как тогда говорили, «имел переэкзаменовку» по английскому языку. Я должен был заниматься с ним два раза в неделю всё лето. При успешной сдаче мне обещали баснословную сумму – сто рублей «старыми деньгами», или хромовые сапоги – на выбор.

Условия репетиторства объяснил мне отец, он был посредником. Гордость распирала меня. В успехе я не сомневался, мне казалось, что нет ничего легче, чем выучить с кем угодно хоть десять учебников английского за какой-то несчастный пятый класс. Сапоги, смятые в гармошку, с напущенными на них брюками носили в ту пору провинциальные пижоны, реальная возможность попасть в их число открывалась передо мной.

Моего ученика, как и меня, звали Геркой. Вообще-то нас звали Гришамы, но это имя почему-то не котирировалось. Гера звучало как-то красивей, интернациональней что ли?

Герка Виленский букву «р» совершенно не выговаривал. «Геа» – дразнили его мальчишки. Я тоже звал его «Геа».

– «Геа» на «Геу» говорит «Геа», – обижался он.

Перед первым уроком отец его пожелал побеседовать со мной. Он несколько не походил на других сапожников, сидевших обычно в своих деревянных будочках и тюкавших без передыху по башмакам рогатыми молотками, зажатыми в побуревших от дратвы ладонях. Виленский не был кустарём. Он работал в артели. Бычья голова, торчащая без всякой шеи прямо из вышитой косovorотки, и светлый габардиновый костюм делали его похожим на директора швейной фабрики, часто приходившего к нему в гости.

Он просверлил меня маленькими умными глазками из-под низкого, но широкого лба и сказал:



– Я знаю, что ты растёшь хороший хлопец и имеешь большие способности плюс трудолюбие, и это хорошо. Но тебя я знаю плохо. Кого я знаю хорошо, так это своего сына. Это греческий орешек с очень-таки твёрдой скорлупкой. Не хочет учиться, хотя кое-какие неплохие способности тоже имеются. Что тебе сказать ещё? Я имею на тебя надежду во многих смыслах. Помоги ему. Подтяни его по английскому.

Я обещал помочь. «Орешек» стоял рядом и скептически цыкал зубом.

Заниматься мы начали в тот же день. Нас отвели в отдельную комнату и подали чай в стаканах с подстаканниками. Его мать принесла на блюдечке пухлые булки, разрезанные вдоль и намазанные маслом с клубничным вареньем. Я сделал вид, что булки мало волнуют меня и сдержанно поблагодарил.

– Давай сначала выпьем чай, а то остынет, – предложил Герка, как только мать ушла. Я сразу же согласился.

– А, давай сегодня не будем учиться, – допив чай, предложил Герка, – первый день – учиться лень.

– Ещё чего, – оскорбился я, – мне за тебя деньги платить будут, так что тащи учебник и не надейся. Я не позволю тебе филонить.

– Подумаешь, сто рублей, – сказал он. – Есть о чём говорить! Когда я вырасту, у меня будут тыщи!

– Откуда ты их возьмёшь, если не хочешь учиться? – усомнился я.

– Возьму, – заверил он меня, доставая учебник, – чтобы иметь много денег, не обязательно учиться. Вот твой папа учился, а мой нет, а кто лучше живет, а? Шо, неправда?

Я растерялся, это был удар «под дых». Меня всегда унижала наша бедность. Отец мой был немного не от мира сего. По крайней мере, так утверждали родственники со стороны матери. Помимо преподавания истории, он читал лекции в обществе «Знание», руководил драматической студией в школе, вёл исторический кружок и ещё возился с раскопками какого-то кургана, где, по словам мамино брата, «никогда ничего не лежало». В свободное время, если оно было, он писал историю нашего города. По глубокому убеждению матери, истории имел право писать только нормальный человек, способный обеспечить семью, а не отнимать у нее последние гроши.

«Последние гроши», из-за которых у нас в семье было немало скандалов, отец тратил на книги, он покупал самые необходимые и на те гонорары, что получал от общества «Знание», но мать мою, женщину простую, замученную болезнью, тремя детьми и скромным отцовским жалованьем, покупки эти раздражали до крайности. Когда отец приносил тома «Всемирной истории», она только ворчала, но, когда он как-то принёс два тома Фейербаха, разразился скандал.

Мать как раз возилась на кухне. Это была даже не кухня, а крохотная передняя, в которой стояла газовая плита. Входная дверь вела прямо на улицу, так что зимой она покрывалась внизу ледяной коркой, и клубы холодного воздуха врываются внутрь, как только дверь кто-нибудь открывал. Узкое оконце рядом с дверью всегда зарастало морозным узором и пропускало мало света. Лампочка с матовым плафоном горела постоянно, тускло освещая умывальник, грубо сколоченный столик и полки для посуды. Мать делила свои дни между этой кухонькой и постелью. Её можно было понять.

– Так, – сказала мать, протягивая к «Фейербаху» длинную сухую руку и глядя на отца сверху вниз, так как была выше его ростом, – очень кстати. Это называется «Фейербах». Я как раз ломала себе голову, что бы мне такое придумать детям на обед! Но зачем ломать голову, когда у меня есть замечательный друг жизни? Дети, – закричала она, хотя мы и так всё прекрасно слышали, – держу пари, вы ещё такого не пробовали, что вы будете кушать сегодня. Я вам сварю суп из «Фейербаха».

– Лиза, – сказал отец, пытаюсь защитить от неё книгу, – ты же прекрасно знаешь, что книги нужны мне для работы.

– Конечно, для работы, кто же в этом сомневается? И драмкружок для работы, и я тебе нужна для работы, но дети, объясни мне, для чего тебе нужны были дети?

– Прекрати, Лиза, – рассердился отец, – так, как мы, сейчас живут сотни людей.

– А тысячи живут лучше нас, почему ты не хочешь равняться на эти тысячи? Ты, человек с высшим образованием!!

Унять мать в таких случаях было невозможно, мне до боли было жаль её и обидно за отца, не умеющего жить как те тысячи людей, о которых она говорила. Обычно я уходил из дома к тихой, почти стоячей нашей речке и шёл по её высокому берегу к старому польскому замку, разрушенному войной. Сквозь разбитые ворота виден был костёл. Скульптуры святых с оторванными руками и остатками нимбов над искалеченными головами обиженно толпились вокруг ободранного купола. Обвалившиеся бойницы в бурых крепостных стенах поросли травой. Две чугунные пушки, неуклюже вросшие в землю, напоминали о тщетных попытках кляштора «Босых кармелитов» отстоять свою независимость. Я представлял себе замок таким, каким мне его описывал отец, с роскошным фасадом и золотым куполом костёла, со стражей у огромных кованых ворот и черными, обязательно босыми монахами во дворе.

До войны отец был одним из организаторов музея в замке и ходил из

костёла по подземному ходу до того места, где была сейчас школа, в которой он работал. Я часто приходил туда на спектакли или в исторический кабинет, созданный с помощью учеников, меня поражали макеты всевозможных таранов, катапулт и даже греческой галеры с фигурками рабов, навечно прикованных к вёслам крохотными цепочками. Стены украшали карты великих сражений и оружие всех времён и народов, сделанное из дерева.

Были и настоящая сабля, и кинжалы, и утварь, и рукописные книги, одна из которых до сих пор хранится в моей библиотеке, как память об отце.

Но понимание бесценности всего, что было с ним связано, пришло ко мне позднее. А в тот момент я сидел перед сыном сапожника Виленского, сбитый с толку его неумолимой правдой.

– Да знаешь ли ты, кто мой отец? – сдерживая обиду, спросил я.

– Конечно, знаю – спокойно ответил он, – учитель ...

Его тон окончательно разозлил меня. – Да что же ты знаешь о моем отце? Он не просто учитель! Ты видел его исторический кабинет? Ты ходил подземным ходом из старого костёла? Тебе известно, что мой отец закончил педагогический институт в Одессе? Что ты вообще знаешь про Одессу?!

– Всё знаю, – невозмутимо сказал Герка, – мы ездили с отцом на море в прошлом году и были в настоящих катакомбах, если хочешь знать.

Этого я не знал и знать не хотел. Я гордился тем, что отец учился в Одессе. По его рассказам я воображал этот замечательный город, недоступный тогда для меня, как для отца развалины Парфенона. То, что Герка уже побывал там и даже ни разу при мне не похвастался, совершенно убило меня.

– Да моего отца весь город уважает! – только и нашелся я.

– А моего, скажешь, нет? Шо, скажешь, не уважают?!

В голосе Герки послышалась какая-то тревога, но сказать, что его отца не уважают, я не мог. Моя мать всегда ставила Виленского в пример отцу.

– Посмотри на Виленского, – говорила она, – простой сапожник, а как все к нему относятся!! А почему?! Потому что он не занимается пустяками, он не ставит спектакли и не копает курганы. Если ему хочется копать, так он копает картошку.

Матери я верил, но я чувствовал, что в её словах была какая-то жестокая житейская истина, унижающая отца. Он был человеком в городе известным, с ним действительно раскланивался почти каждый встречный. Но соседи по дому относились к нему без почтения, в то время, как с Виленским, я это замечал, разговаривали даже несколько заискивающе. Я не понимал этой очевидной несправедливости.

– Ну ладно, ты мне зубы не заговаривай, – оборвал я Герку, – не об отце сейчас речь. Я твой учитель, а ты мой ученик. Открывай первую страницу.

Он открыл свой чересчур опрятный учебник. На титульном листе корявыми печатными буквами было выведено: «Учебник мой; кто возьмёт его без спросу, тот останется без носу». Неумелая подпись владельца заверяла угрозу.

– Шо, начнем с самого начала, или не стоит? С начала я знаю. Не веришь? – спросил он.

Я проверил. Первые уроки он знал неплохо. Его папаша был прав, «способности у него имелись». Но его чудовищная лень приводила меня в исступление. Он пытался откупиться от моей настырности неисправными авторучками, конфетами и даже футбольным мячом. Я мобилизовал всё свое терпение, но занятия шли туго. Возможно, он не воспринимал меня всерьёз. Он мог во время занятий бухнуться на кожаный диван, как будто в полном изнеможении, или прямо на пол, на ковёр, где были изображены какие-то птицы в диковинном саду, и где я сам был непрочь повалиться. Я обзывал его кретином, бездельником и будущим второгодником. Он не обижался. Его ленивые круглые глаза смотрели на меня удивлённо и насмешливо. Я метался между желанием пожаловаться его отцу и самостоятельно набить ему физиономию.

– Если ты не будешь добросовестно заниматься, придется сообщить твоему отцу, – попытался припугнуть его я.

– Все зубрили ябеды, – сказал он, – значит, ты тоже зубрила. Вот скажу отцу, что ты мне плохо объясняешь, он пригласит другого учителя.

Он бил наверняка. Перспектива потерять первый в жизни заработок испугала меня. Я пошёл на уступку. Устные занятия мы перенесли на пол, на ковёр. Я блаженно вытягивался во весь рост, положив подбородок на скрещенные руки. Слушать спряжение глагола «to be» в этой позе было намного приятней и удобней. Прохлада комнаты и утомительная жара лета работали на Герку. Понемногу я начал склоняться к мысли, что английский язык ему и в самом деле ни к чему. Уже тогда я прекрасно понимал, что ковёр на полу, и диван, и всё остальное досталось Виленским благодаря изворотливости его отца, наверняка не слыхавшего ни разу о «презент континиус» ... Зачем же он мучает Герку? Зачем хочет для сына иной жизни?

Я отгонял от себя эти мысли. Привычка к систематическим занятиям спасала меня.

В конце концов, он победил, мой несгибаемый лентяй. Он соблазнил меня велосипедом, новеньким велосипедом «Орлёнок», подаренным ему братом-футболистом. Но он поставил одно условие: мы должны вдвое сократить занятия. Я согласился. Отказываться от возможности кататься два раза в неделю на этом сверкающем чуде было невыносимо. Утешал я себя верой в удачу и способности моего ученика.

Перезкзаменовку он всё же выдержал.

Он учился со мной в одной школе, и наша учительница знала, что я готовил его. Она натянула ему тройку из солидарности со мной.

За первым моим заработком пошел отец.

– На тройку мой Гриша мог сдать и сам. Я не напрасно боялся, что этот ленивец найдёт способ уломать вашего хлопчика. Он таки применил велосипед. Но за то, что они дружили всё лето, я всё-таки заплачу. Я имею надежду, что с этого была польза.

Так, или примерно так, встретил отца сапожник Виленский, и отец вернулся тихий и печальный, как древний могильный камень.

Он не взял у Виленского ни денег, ни сапог.

–Что? Не взял? Не взял совсем ничего? – ахнула мать.

И оттого, что она ограничилась только этим вопросом, глядя на отца с молчаливой жалостью, я тоже молчал, физически ощущая, как заползает в мою душу ледяющий смысл отцовского поступка.

– Я не мог предположить, что характер моего сына не выдержит испытания обычным велосипедом, – потирая переносицу, как он это делал всегда, когда ему неприятно было смотреть на собеседника, – медленно выговорил отец.

– Это непостижимо уму, но я всё же постигла, – наконец очнулась мать. – Есть такая напасть, такое несчастье: раздвоение личности. Когда человек думает, что он Наполеон Бонапарт или какой-нибудь барон Ротшильд. Так вот, наш папа думает, что он Дюпон и Морган, взятые вместе. А что для такого воротилы пара хромовых сапог?..

Я не стал дожидаться конца этой тирады. Выбежав на улицу, я понёсся к реке. Там, на берегу, уткнувшись носом в рыжую августовскую траву, облегчил я свою душу, я плакал так, как только могут плакать мальчишки, когда знают, что их не видит никто...

Не так давно приезжал я в родные места навестить могилу отца и видел старика Виленского. Он прошел мимо, опустив тяжелую седую голову, и не заметил меня. Он не замечает никого с тех пор, как его Герку, ставшего в Москве директором рыбного магазина, приговорили к высшей мере за махинации с валютой.

Навестил я и старый замок, фигуры святых куда-то убрали. Исчезли и старые пушки у ворот. Крепостные стены оштукатурены и аккуратно покрашены в блёклый желтоватый цвет. Этот цвет ничего не говорит ни моему сердцу, ни воображению.

Опубликовано: «Новый Континент», август 2016.

---

# Генрих Киршбаум

---

## **Парша**

Яблоня в саду у реки  
болеет уже третий год.  
На коре завелись грибки,  
шершавятся лист и плод.

Ясным осенним днём  
я подожгу листву –  
в ней зимует парша.

Медленно сизый дым,  
как из тлена душа,  
потянется в синеву.

## **Стланик**

С обрыва за перевал,  
по гулким углам расщелин  
стынет щебень  
в ключицах скал.

Голые гланды льда.  
В глубь котловины тесной  
застывает отвесной  
судорогой вода.

На склоне, сплетаясь стволами,  
сосновый стланик.  
Рыжие иглы колют лоб валуна.

Воздух прозрачен до истощенья.  
Тишина  
промерзает со дна ущелья.



### **Круги**

Редеют резкие краски.  
Осенние фрески  
кусками падают ниц.

В стылой слякоти,  
в талой трухе снежниц  
затвердевает лёд.

Вывихи вихря себе под дых.  
Лебединым крылом бьёт  
копоть первой пурги.

Под глазами святых –  
чернеющие круги.

### **Заледь**

Прорезали вдребезги  
заледь у переката,  
стыли кривыми выями тростники.

Под выкрики выпи  
заиндевели выли,  
скрипели колки реки.

Звенело зимнее пиццикато.

### **Седловина**

Холод и голод гор.  
Грубо, ветру в упор  
топорщится череп гребня.  
Крупнозернистый сор,  
острые струпья щебня.

Медленная лавина  
тумана, неуловимо  
соскользнув со скалы,  
клубами глубокой мглы  
легла в длань седловины.

### **Эдельвейс**

Пропасти, кромки,  
обглоданные воронки  
в коросте гор.

Пучками по кручам  
крепнут коряги  
ползучего кедра,  
кривыми корнями  
корчась в порах пород.

Слюда снега  
под пылью мела  
остекленела в лёд.

Упав с неба  
на известковую высь отвеса,  
светит звезда эдельвейса.

### **Полип**

Капельницами с потолка  
в скользкие плиты  
стекают сталактитовые кульки.  
Грибки бликов  
слезятся на кончике язычка.

Морщиясь полипом мозга  
над тёмным ликом  
подземной реки –  
лепнина известняка.

За конусами сосулук,  
на нёбной стене  
краснеет рисунок  
руки в огне.

---

# Александр Лайко

---

## В прошлом неушедшем веке

\* \* \*

Заката ходят снегири,  
Сугроб цифирью зачернили.  
На Кировской душок ванили  
Из магазина «Чай» сквозит.

И от зари до фонарей  
Всего минут пятнадцать ходу,  
И переулками в охоту  
Кварталы снега прохожу.

А в них пустоты всех ушедших  
Хранят былые очертанья,  
Так небом, если рухнет зданье,  
Хранится долго силуэт.

### *Пайка*

В стране моей не велено грустить.  
Поэзия так радостно бездумна,  
Что средь веселья хочется спросить:  
– Подружка, а ты, часом, не безумна?

Есть времена, в которые не быть,  
Чем вкупе славословить шумно –  
Спасение. Да что там говорить!  
Гуляй, колпак! Бей, колоколец бубна!

Кто выбирает хлеб – получит хлеб,  
Не выбравший его – нелеп,  
Ворона белая, и головою вертит.

Ты пайку получи свою, едок,  
А птичий труп запороши, снежок, –  
Дружок и спутник безымянной смерти.

## Сретенка

Памяти М.А. и М.Р.

Давно, вчера, насупротив «Урана»,  
Сей кинотеатр, кажется, снесён,  
Пивной сооружён был павильон –  
Советских служащих уютная нирвана,  
Где влага била в кружки из-под крана,  
Мы, три товарища, чуть старше – он  
/Поллитра извлекалась из кармана/:  
– Культ... И культур...– гудели в унисон.

И вот легли на сон или уснули –  
Тот, старший, высоко, в Гиват Шауле\*,  
Один из троицы – в очках и рыжий –  
Истаял, как туман, в цветном Париже,  
Хотя ведь только что отпил из стакана'  
И подмигнул буфетчице. Она...

\* \* \*

И прибыл друг мой в Иерушалáим,  
Сменил «Будь здрав!» на местное «Лехаим!»,  
И если граппу починает в паре,  
То наливают каждый в свой стакан.  
И видится ему, слезою осиян,  
Стакан на ветке в Сретенском бульваре.

Он восседает в шалаше в Суккот,  
Задумчивый и никого не ждёт.  
Того гляди, какой-то сукин кот  
Придёт,  
Собьёт музýку, сгинет фраза...  
И вдруг – аж оторопь берёт! –  
Натужно воеет и орёт,  
Взобравшийся на минарет  
Горластый муэдзин,  
Зараза.

\*Кладбище в Иерусалиме

Во граде происходят дни Творенья,  
В ограде он кроит стихотворенья.  
Неспешно отложив своё стило,  
Он видит: Трубная от зноя мреет,  
Трамвай гремит от Чистых до Гило,  
И времени песок хамсином веет.

### ***Московский запах***

не знаю – ты помнишь? – а впрочем неважно  
я даже не знаю жива ль и где ты вообще находишься –  
занесло на Колхозную делом бумажным –  
справка выписка что ли – а за ними куда как находишься

вдруг запах ударил – и словно собаку  
повело закружило – из жизни которой меня окликают? –  
и пешеходы спешащие сзади и сбоку  
что-то бурчат недовольно и локтями подталкивают

запах бил всё острее превращаясь в эпоху  
заволглых дверей и домов окраины деревянных  
в рыжий свет абажура и чёрного хлеба краюху  
и горбатился толем сараев дровяных и дырявых

там любовь отпускала Тамарка – белокурая курва –  
за деньгу за продукты и мануфактуру –  
власти шли за бесплатно – участковый – тот первый  
а за ним и помельче начальство – князья жилконторы

запах вдруг превращался в хриплую песнь патефонную  
в Первое мая и танцы стол клеёнчатый водку сучковую –  
Рио-Рита – на протезе Ефремыч отплясывал со своею законною  
а Тамарка хмелея от чарки всё подмаргивала участковому

вор в законе Валера грозил ей – водил подбородком  
бухгалтерша Женя – кликуша – зашла и задёргалась в трансе –  
Сталин! Сталин родной! – заверещала эта карлица и уродка  
сделал ручкой Валера Тамарке – поклонился – и восвояси

не знаю – ты помнишь? – а впрочем неважно –  
как на свалке там за сараями – в тьмище прогорклой –  
возвращаясь с катка – как морозно нам было и страшно –  
белое тело тамаркино с перерезанным чёрным горлом

ах каток! – огоньки – падэкатры звенят с падэспанью –  
как ты билась без слёз прижимаясь губами-коростой  
как тебя оттолкнул задыхаясь твоей или тёткиной шалью  
этот запах глотая – ненавистно-родной – нищеты и сиротства

\* \* \*

Где фрау Мацке? Почто не встречаю?  
Не то, что не чаю выпить с ней чаю,  
Я с этой фрау был мало знаком –  
Morgen! – приветствовал. Или кивком.  
Почто не встречаю я маленькой Мацке  
В стоптанных туфлях, в шляпке дурацкой?

Она умерла где-то ранней весной,  
Соседка по дому – этаж надо мной.  
Да кто мне она? Да и я ей не нужен.  
Но чудится вдруг – стала улица уже,  
Дома что ли ниже, пиво пожиже.  
Вот вроде она, но подходишь поближе...

Почто не хватает мне старенькой Мацке  
В стоптанных туфлях, в шляпке дурацкой?

### **Чистые пруды**

Едва узнал я девочку катка  
В матроне тучной с цацкой Нефертити,  
Кричавшей: «За картофель оплатите,  
А после отходите от лотка!».

Ах, Бог мой, как она была легка,  
Как вспыхивали канители нити –  
Летящие московские снега,  
Так далеко от нынешних событий.



## **Buschlat**

*Посвящается славистам*

Вот телогрейка.

– What... is this?

– Bushlat,

Матерчатый, ещё не деревянный.

Душа отбита, да и тощий зад

Едва прикрыт, а холод окаянный.

Примерьте – и завьюжит, и у врат

С ключами Пётр... Иваныч тихо пьяный.

Но жутче лейтенант – загонит в ад –

Голубоглазый, молодой и рьяный.

Что вы сказали? В Лувр? Как экспонат?

Не кажется ли эта мысль вам странной?

Треченто, Кватроченто, ряд наяда,

Пикассо и... bushlat, софитом осиянный.

И что любителям и знатокам картин

Глухим несчастьем стёганный ватин?

## **Немецкий паспорт**

Офелия пила сырую воду,

А Виолетта пела о любви -

Прибыв надясь в Берлин из Навои ,

Девицы здесь не делают погоду,

Но есть соображения свои:

К примеру – замуж выйти сходу;

На готов пожилых ведут охоту,

К венцу готовы, только позови.

Ну, да, не Гамлет. Нет. И не Альфред.

И всё-таки не худшие мужчины:

Курт выпить не дурак, но ортопед,

А Ганс на пенсии – плетёт корзины.

Офелия вино пьёт из пакета.

Поёт в церковном хоре Виолетта.

## **Бал**

В любовных сердце упадет столах,  
В музыке вальса, локонах, поклонах;  
Гвардеец брав, и князь хорош – ей-ей! –  
И маменьки глядят в лорнет на оных,  
Загадывая дочечкам мужей.

Ну, что ж, не зван – лишь по усам текло.  
С молодых ногтей запомнились зело –  
Ещё в школярстве – проза и преданья,  
Поэзии «страданья-упованья»,  
Дворянских гнёзд безумье и тепло.

Вальсируют легко в стране недужной  
Виновники её паденья – каждый...  
В Берлине допиваю свой бокал.  
Затих оркестр. Короче – кончен бал.

---

# Татьяна Нелюбина

---

Из романа «Окно в скорлупе»

*Отрывки*

Ну где он, где? Снова на море свалил? Святой предлог – с родителем повидаться. А она тут крутись. Одна в кафе! Ублажай посетителей! То кофе им подай, то вина принеси, а это они пить не будут, пробкой пахнет... не пей! Чебуреки ешь, пельмени бери, вареники, они с поваром как проклятые их лепят. Взвизгивать хочется от такой жизни. Разве она о такой жизни мечтала, когда замуж за него выходила? Сколько раз ему говорила: ты музыкант! Ты в ДЕФА работал! Он неизменно напоминал: я был реквизитором. И рассказывал про лошадь, которая опоздала на съёмки. Вся группа ждёт. Режиссёр в бешенстве. Солнце уходит, под которым лошадь должна скакать. Претензии к Вернеру: где кобыла?! А Вернер, реквизитор хреновый, отпирается: Я её заказал, организовал, не моя вина, что принцесса опаздывает.

Он умел так её заводить, что она в него тарелки метала. Он ловил. Сплошное кино. Кому ни пожалуешься, все одно твердят: Кафе кормит тебя и всю твою семью!

Но вся её семья и лопатилась в этой забегаловке! Борщи варили, пекли пироги, а из-за гуляша она его чуть не прибила! Приехало какое-то телевидение, спрашивает: «Это гуляш? М-м-м. Вкусно! А как его готовят?» Вернер на полном серьёзе: «Всё, что от других блюд остаётся, мы туда спихиваем». Эльвира метнулась между ним и камерой, но её и слушать не стали! Её, хозяйку кафе! Всё выпытывали: «А что пьётся к пельменям?» Они ждали нормальный ответ: «Водка». Вернер им: «Молоко. К пельменям молоко подаётся».

Глаза бы ему выцарапала. Где, где молоко пьют?!

В Сибири, говорит.

Кто в Сибири пьёт молоко?! Родитель его? Так он в лагере был, воду пил!

Нет, говорит, мы в Сибири молоко пили, когда фильм там снимали.

Трезвенник!

А жена в кафе надрывается, пока муж байки рассказывает!

Лучше бы и дальше матрёшками торговала! У Бранденбургских ворот! Не обратила бы внимания на охламона! Да на неё все заглядывались!

От ухажёров отбою не было!.. Кто же её с ним свёл? Не помнит... что-то отмечали... У Лёши на концерте были! И Вернера она вообще не замечала! Неприметный, с крупным носом, крепкого сложения, высокий, волосы ёжиком и рыжая длинющая борода. Трубоч. Короче, не произвёл на Эльвиру никакого впечатления. Они на улице польку отплясывали. Потом танцевали «У грека» сиртаки. «У турка» хороводы водили, какой-то их певец Эльвиру обхаживал, но они гурьбой вломились «К испанцу», там ещё и на фламенко силёнок хватило, Эльвира произвела совершенный фурор! А утром... ха-ха-ха!.. она глаза открывает... мама моя, что за страхолюдина!.. борода по груди разметалась. Замуж за меня, говорит, выходи.

Нет, не так было. Не так сразу.

А как?

Вспомнила! Дня через три она куда-то шла, и он – навстречу. Борода развеивается. Руки в карманах. Вдруг пошёл дождь. Они вбежали в кафе. Он заказал шампанского – сразу бутылку. Эльвире это понравилось. Очень. Не крохобор. Откуда ни возьмись – на дармовщину! – набежали друзья. Весь вечер хохотали, пили шампанское, вышли на улицу, он ей:

– Komm zu mir.

Пойдём ко мне, значит. Да ни за что, не на ту напал! Но почему бы и нет? Пошли. Пришли в какой-то заброшенный дом, крысы в подвале – наверняка, летучие мыши по всем этажам, а наверху... светёлка. Метров в тридцать квадратных. Доски на козлах – стол, стружкой пахнет, фигурки какие-то, лошадка деревянная, керамические собачки, запах... пробирающий. В старинном шкафу – порцеланы из Мейсена. Посреди – лестница. В потолок, в никуда. Вернер потом часто на эту лестницу взбирался, когда спорить не хотел или чувствовал, её взяла. Сидел там наверху, руки в брюки. Не брюки, штаны, широкие, изо льна. Под футболкой – волосатая грудь. Едва Эльвира спать прилегла – в другой комнатке, – он сел играть на фисгармонии. Эти бравурные и меланхолические звуки так и перекатывались по чердаку, липли к балкам, струились по черепицам, и где-то жесьть билась, она вошла. Борода по груди разметалась, глаза закрыты, босые ноги с растопыренными пальцами на педали давили, её пробрало.

Любовник он был нежный, страстный и сильный. Ей только эта борода очень мешала. Напоминала веник.

Завтракали они как в кино. Маленький круглый столик на гнутых ножках, кружевная салфетка, масло, сахар, сливки – в серебре, он омлет

приготовил необыкновенный, с ветчиной, сыром, луком и шампиньонами. Чай пили – крепкий, ароматный – из тончайших, почти прозрачных фарфоровых чашечек. Сахар серебряными щипчиками поддевали и золочёными ложечками размешивали.

– Sei mir treu. Vergiss mich nicht.

Она засмеялась, в автобус прыгнула, дома в словаре посмотрела, что он сказал. «Будь мне верна» – шутливо, ни на что не рассчитывая, и: «Не забывай меня» – серьёзно и трогательно.

Потом они гоняли на его «трабанте» по Берлинским окрестностям – по полям прямиком, без дорог, стекло с её стороны было придавлено щепками, чтобы держалось. Эльвира смеялась. В шутку сделала такое движение пальцами, будто его бороду состригает. Он отстранился. В этой рыжей кошмарной бороде застревают крошки хлеба с омлетом. Она смотрела в сторону. От молока на усах оставалась белая кайма. Она смотрела в сторону. Но руки, когда он её обнимал бережно, сильные руки его она любила. Глаза с отражением чуда любила. Но борода... На неё все заглядывались (на бороду, не на Эльвиру). Потом пришла пора уезжать. Закончилось лето. Он ей и говорит: «Выходи за меня». Они тогда много-много смеялись. Она по-немецки – ни бэ, ни мэ. Он что-то рассказывал, она хохотала. Влюбилась, короче. Замуж за него влюблённая выходила.

Вот так тогда было, а сейчас...

Обещали дождь, но светило солнце, ярко желтели рапсовые поля, обочины были усыпаны маками.

В повозках, украшенных сиренью, тряслись мужики, пили пиво. Вознесение Христово почему-то считается мужским днём, мужики в этот день с полным правом накачиваются в сугубо мужской компании. Вернер подъехал к деревенской пивнушке, закал кружку. Парни в венках и женских колготках на головах громко его поприветствовали.

Жаль, что традиция угасает... По велосипедным дорожкам, проложенным после Объединения, теперь в этот святой мужской день катили семейные пары. Чего в гэдээровской юности Вернера не было и в помине.

И Handy не было, а теперь жена хоть на краю света достанет.

Но не Эльвира звонила – журналистка Алла. Попросила ответить на вопросы русских читательниц её портала. Они сводились к одному: как выйти замуж за немца?

Вернер обещал, что подумает. Надо будет, подключит друзей. Он их уже не раз подключал. Допытывался, чем, по их мнению, женщина может

увлечь настолько, что они решили бы жениться? «Ничем!» – отвечали одни, а другие начинали мечтать. Вернер призывал их сосредоточиться.

Друг, повар, сосредоточился:

«Жена ушла десять лет назад. Я десять лет живу один. Я аккуратный, ты знаешь. И чтобы я снова женился? Об её туфли спотыкался? Её бельё с кресла убирал? Зеркало в ванной, уже не знаю, как, она умудрялась заляпывать: а) лаком для волос; б) маской для лица; в) зубной пастой. Нет, спасибо, я привык быть один. Встречаться – пожалуйста. Лучше всего – у неё».

Обещанный дождь всё не шёл. Вернер пожелал мужикам счастливого дня и дальше поехал.

Вопрос на засыпку. Немец-жених собирается в Киев к невесте. Не на машине, поездом ехать решает. Так будет дешевле. Невеста – в шоке. Не хочет за скопидома замуж. Жених – в недоумении. Он хотел показать себя с самой лучшей стороны. Хотел показать, что он бережливый, что уже сейчас заботится о бюджете семьи.

Он прав? Три варианта ответов: да; нет; не знаю.

Верный ответ: да. Будущий партнёр идеален. Он уже сейчас готов ради вас ущемлять свои интересы: немец ненавидит поезда, он – изобретатель автомобиля и любит его как себя. Он поступится своим комфортом, которым воспользуетесь вы – став женой, вы будете ездить в Киев на машине, тратя сэкономленные им средства. Ради семьи не вы, а он пойдёт на лишения.

Обещанный дождь пошёл.

Замечание походя: не делайте скоропалительных выводов. Вы зашли к немцу без предупреждения. Он рад вас видеть, он спрашивает: ты голодна? Русские почему-то в таких случаях говорят «нет», а немец верит и не понимает причины вашего дурного настроения, ведь он не знает, что вы ещё не ужинали, что вы про себя склоняете всю нацию, упрекая её в скупости. Ответьте прямо: «Да!» Будьте уверены – голодными не уйдёте. Если пуст холодильник, вас пригласят в кафе.

На полях – спаржа. Поля покрыты плёнкой и кажутся издалика озёрами. Красиво. Сезон. Если вы не любите спаржу, не отказывайтесь, проявите силу духа – немцы любят спаржу (зелёную, белую; горячую с маслом, холодную с соусом винегрет). К спарже пьётся сухое белое вино.

Большая душевная тонкость требуется при выборе вин. Предоставьте спутнику выбор. Скажите, что полностью полагаетесь на его вкус. Постарайтесь не морщиться при первом глотке – после второго бокала привыкнете.

Пожалуйста, при несогласии или согласии не размахивайте руками, в которых вилка, нож или ложка. Положите приборы на стол и машите.



Дождь лил и лил.

Почему немцы женятся на иностранках? Румынках, болгарках, вьетнамках, а с победой Русланы и конкретно на украинках?

Немцы любят экзотику. Как известно из французских источников, немцы не воевали бы, обладай они хорошей кухней и красивыми женщинами.

Вот уже много лет они не воюют. У них – благодаря притоку иностранцев – хорошая кухня и красивые женщины.

Дождь перестал, выглянуло солнце. Радуга появилась.

Женщины оказывают мужчинам духовную поддержку. Укрепляют их дух. Если дух – то, что составляет основу человека. А если дух – тот самый джин, которого выпустили из бутылки?

Вернер остановил машину и подошёл к своему дереву. Это святое дерево – здесь он её целовал. Трепещущий дух. Воинственный дух. Дух сопротивления. Дерево не забыло, бережно хранит их Желание. Сломленный дух. Дух времени. Если вам скучно или невкусно, не теряйте присутствия духа. Найдите интересную тему, с немцем можно говорить обо всём. Побеседуйте, в качестве примера, о церкви. Католики Италии и Германии переходят в буддизм с тех пор, как и в Италии ввели церковный налог. А буддисты Китая (их 80 %) принимают католичество и протестантство (таких 16 %). Учитывая китайскую численность, ряды христиан не оскудеют.

Вернер подъехал к морю, вышел из машины. Ветер трепал его бороду. Этой ночью его мучил кошмар – Эльвира подбиралась к нему с ножницами.

Он запахнул куртку. Светило солнце, но было холодно.

Отец и сестра с мужем Гансом сидели на лужайке перед домом, укутавшись в пледы.

– Боже мой, Вернер, – сказала сестра, – эта твоя борода. Так и подмывает вцепиться.

Ганс сразу взял Вернера в переплёт:

– Сосед хочет наш участок оттяпать. Всё ему мало. Его никто на Запад не гнал. Ушёл – и катись. Знал, на что шёл. Кто уходил – всё терял. Вернулся после Объединения – давай ему всё назад! И ещё Хоникера ругают! Да ему высшие награды надо дать – если бы он не развалил хозяйство, так и Объединения не случилось бы!

С соседа он перешёл на себя:

– Я в тисках! Живу под нажимом!

– Бедный ты мой, – сестра принесла торт и термос с кофе.

– В тисках! Вся жизнь – под нажимом!

– Моя – нет. Я – свободна.

Ганса это взбесило:

– Где?! В чём?!!

– В мыслях.

Ганс не нашёл, что сказать, и повёл Вернера в дом, чтобы показать свои новые картины. Ганс, учитель биологии и рисования, писал пейзажи. Замечательные. По фотографиям. По чужим и по своим.

– На выставку пригласишь? – спросил Вернер.

– Нет! – рассвирепел Ханс. – Я не буду у этих западных бюрократов выпрашивать выставки! Пусть дети потом устраивают.

А детям до его картин... Ганс заботливо распределил, кто из наследников какие получит. Мужик он крепкий, лет двадцать ещё будет писать, в месяц у него получалось по две картины, весь дом был ими увешан.

Дом был большой, стоял на скале, с лужайки открывался великолепный вид – море, волны, небо, облака, галька на пляже. Сюда, в Аренсхооп, до Объединения съезжались на лето художники, музыканты, писатели, киношники. Некоторые всё ещё приезжают, ведут набившие оскомину разговоры, как раньше всё было прекрасно и как отвратительно стало, Вернеру до чёртиков надоело их слушать.

Он посетил святые места. Скалу, под которой они лежали на гальке. Пляж был не такой пустынный, чтобы можно было отдаться Желанию, но они отдались. Безграничное потрясение. Снять комнату в ту пору было невозможно, сестра тоже весь дом на лето сдала, и одну ночь они провели в стог сена. Тогда сено ещё складывали в стога, сейчас его заворачивают валиками в плёнку... жаль ему молодое поколение.

Отец молчал. Ему исполнилось восемьдесят пять, и что-то случилось с речью. Насилу подбирал слова.

– Я боюсь, – сказала сестра, – когда он один уходит. Оступится где-нибудь. Поговори с ним, повливай.

Отец был у врача, глотал таблетки. Ещё сильный духом, крепкий физически, как пойдёт на прогулку, за ним не угонишься. Когда умерла мать, они были совершенно разбиты. Переживали за отца. На похоронах он... Вернер поморгал, борясь со слезами, наклонился, поднял камешек, бросил в море. Через год у отца уже была Ингрид. Тоже профессор, работала вместе с ним. Но, по его словам, неинтересная собеседница и, как женщина, холодна. Появилась Дора. Доцент, доктор наук, схоронила двух мужей, в отца была влюблена давно. На эту парочку было неловко глядеть. Отец её обнимал, прижимался к ней, ручки целовал, коммунист по убеждениям, вдруг проникся к голубой крови Доры величайшим почтением: баронесса!

Как она движется! Как на стол накрывает! И прочее. А баронесса в своё время отказалась от родителей, бабушек-дедушек, чтобы снимать сливки с социалистического общества. Отец сделал Доре предложение. Она отказала. Разница всё-таки в тридцать лет. Двух мужей похоронила, ещё за третьим ухаживать? Разошлись. Отец отчаянно страдал.

– Ты как? – спросил Вернер. Сильный ветер заглушал слова. Пронзительно кричали чайки. Волны накатывали, выбрасывали гальку с глухой неотвратимостью. – О чём думаешь?

– О разном.

– О прошлом?

– О будущем.

– Ты начал верить?

– Нет.

– Если бы верил, было бы легче – твоя жизнь продолжалась бы в раю или аду, но продолжалась.

– Нет, не начал.

– Ты боишься?

– Нет.

– Печалишься?

– Да, больше ничего не увижу.

– Тебе восемьдесят пять. Ты – потерял жену. Мы рыдали. Когда тебя везли с похорон. Но потом у тебя была Ингрид и твоя большая любовь Дора. Ты не устал? Тебе не хочется, чтобы всё кончилось?

– Да, может быть... когда мне исполнится сто.

В лесу – дрок, ландыши. Ветер с моря – ледяной. Вернер нырнул в тополиную аллею, как в туннель, и застрял в ней. Пробка. Мужики в увядших венках по домам пытались разъехаться. Грустно. У отца слюна изо рта текла.

А облака лежат голубыми животами вниз, под ними – ярко-жёлтые поля до горизонта. Пахнет сладко, свежо – юной крапивой.

Смотреть, смотреть – до последнего часа! До ста.

Опубликовано «Окно в скорлупе», Спб., Алетейя, 2012

---

# Александр Смолянский

---

*Переводы из Вуди Аллена*

## **Что в имени? То, что зовём мы розой...**

Спросите первого встречного, кто написал пьесы «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Король Лир» и «Отелло», и, скорее всего, он уверенно ответит: «Бессмертный бард из Стратфорда-на-Эйвоне». Поинтересуйтесь у него насчёт авторства шекспировских сонетов и наверняка получите такой же бесхитростный ответ. А теперь спросите об этом у кого-нибудь из бесчисленных сыщиков от литературы, которых хватало во все века, и не удивляйтесь, если на вас посыпется: «Сэр Фрэнсис Бэкон... Бен Джонсон... королева Елизавета или даже Декларация Независимости...»

Последняя из подобных гипотез недавно встретила меня в книге, где убедительно доказывалось, что автором шекспировских творений был Кристофер Марло. Аргументы приводились настолько бесспорные, что я совсем запутался – то ли Шекспиром был Марло, то ли Марло Шекспиром (или кем-то ещё). Ясно одно – чек бы я не принял ни от одного из них, хотя писали они отлично.

Итак, попытаемся разобраться в этой концепции и для начала выясним вот что: если книги Шекспира написал Марло, то кто же тогда написал книги самого Марло? А всё дело в том, что Шекспир был женат на женщине по имени Энн Хатауэй. Тут никаких сомнений нет. Однако, согласно вышеуказанной гипотезе, настоящим мужем Энн Хатауэй был Марло! Шекспир же от этого очень страдал – ведь его даже в дом не впускали.

Но пробил роковой час: супруги поспорили, кого первым должны обслуживать в хлебной лавке, и Марло был убит или, возможно, удрал, переодевшись, чтобы избежать обвинений в ереси – самом тяжком в ту пору преступлении, каравшемся смертью или изгнанием, а подчас и тем, и другим.

Вот тут-то юная супруга Марло и взялась за перо, чтобы сочинить новые пьесы и сонеты – те самые, которые сегодня известны всем, хоть их никто и не читает. Однако позвольте мне всё объяснить.

Общезвестно, что Шекспир (Марло) одаживал свои сюжеты у древних (современных) авторов, но, когда пришло время их возвращать, выяснилось, что чужие сюжеты растрачены подчистую, и он был вынужден уносить ноги из страны под чужим именем Уильям Бард (отсюда понятие

«бессмертный бард»), чтобы не попасть в долговую тюрьму (отсюда термин «долговая тюрьма»). И тут на подмостках истории появляется сэр Фрэнсис Бэкон.

Бэкон значительно обгонял своё время и работал тогда над революционными методами замораживания продуктов. Легенда гласит, что он погиб, пытаясь заморозить курицу. Видимо, последняя заморозила его первой. Чтобы скрыть Марло от Шекспира (окажись они всё-таки одним и тем же лицом), Бэкон принял имя Александр Поп, которого в действительности звали Поп Александр (он же Папа Александр, глава римско-католической церкви) и жил он в изгнании, поскольку Италия тогда подверглась нашествию последнего из оставшихся кочевых племён – племени бардов (понятие «бессмертный бард» именно отсюда) и ещё задолго до описываемых событий он прискакал в Лондон, где в Тауэре в ожидании смертного приговора томился Уолтер Рэли.

Ситуация становится ещё более запутанной после того как Бен Джонсон инсценирует похороны Марло, уговорив какого-то второстепенного поэта лечь в гроб вместо мэтра. Драматурга Бена Джонсона не следует путать с критиком Сэмюэлом Джонсоном. Он-то был Сэмюэлом Джонсоном, а вот Сэмюэл Джонсон им не был! На самом деле Сэмюэл Джонсон был мемуаристом Самюэлом Пипсом. Пипс же, в свою очередь, был Уолтером Рэли, сбежавшим из Тауэра, чтобы написать «Потерянный рай» под псевдонимом Джон Мильтон, который, будучи слепым, случайно забрёл в Тауэр, где и был повешен под именем Джонатан Свифт. Но всё проясняется, когда мы узнаем, что Джордж Элиот – женщина.

Из вышесказанного следует, что «Король Лир» вовсе не трагедия Шекспира, а сатирическое шоу Чосера, первоначально озаглавленное «Всяк человек порочен есть», где разоблачается убийца Марло, известный в елизаветинские (полное имя – Элизабет Барретт Браунинг) времена как Олд Вик, или Старина Вик. Сегодня Старина Вик знаком нам больше как Виктор Гюго, написавший роман «Горбун Парижской Богоматери», который, по мнению большинства литературоведов лишь несколько видоизменённый «Кориолан» (стоит произнести оба названия быстро, чтобы убедиться, как они похожи).

Возникает вопрос: а не воссоздана ли пародийно вся эта ситуация Льюисом Кэрроллом в «Алисе в стране чудес»? Судите сами: Мартовский Заяц – это Шекспир, Безумный Шляпник – Марло, Мышь-Соня – Бэкон; или, например, Безумный Шляпник – Бэкон, Мартовский Заяц – Марло; или, скажем, Кэрролл, Бэкон и Мышь-Соня – это Марло, тогда Алиса – либо Шекспир, либо Бэкон, а Кэрролл – Безумный Шляпник. Жаль, что

Кэрролл умер, а то бы он всё объяснил. Или Бэкон. Или Марло. Вывод: задумаете переезжать – сообщите на почте свои новые координаты. Конечно, если не всё равно, как вас назовут потомки.

### ***Ирландский гений***

Издательство «Лейк О`Пластор и сыновья» выпустило в свет откомментированные «Стихотворения Шина О`Шона» – гордости ирландской литературы, признанного самым невразумительным и, следовательно, наиболее значительным поэтом своего времени. Для понимания стихов О`Шона, изобилующих лишь одному ему понятными намёками, требуется такое подробное знакомство с обстоятельствами жизни автора, каким, по мнению исследователей, не обладал и он сам.

Приведем отрывок из этой замечательной книги.

### ***Поверх ихоров***

Поплыли-ка! Поплыли в  
Александрию с челюстью Фогарти,  
А в это время оба брата Бимиш  
Хихикая, спешат на башню,  
Чрезвычайно дёснами кичась.  
Прошло тысячелетие с тех пор,  
Как Агамемнон крикнул: «Эй, ворота  
Не отпирайте! Ну на кой вам сдался  
Таких размеров деревянный конь?»  
Какая связь? А дело в  
Том, что Шонесси, вздыхая  
Тяжко, не заказал закус-  
Ку на обед, хотя  
Имел на это право.  
А славный Биксби, хоть и походил  
Наружностью на дятла, не сумел  
Вернуть свои трусы, не предъявляя  
Квитанцию Сократу.  
Парнелл бы мог ответить, но никто  
Его об этом так и не спросил,  
За исключением старины Лаферти, чей  
Ляпис-лазурный ляпсус  
Все поколение заставил брать  
Уроки самбы.

Да, был Гомер слепым, и потому  
Он назначал свидания всегда  
Подобным дамам.  
Но Эгнус и Друиды – суть немые  
Свидетели людских стремлений  
К метаморфозам.  
И Блейк мечтал о том же и  
О`Хиггинс, у которого украли  
Костюм, что был на нём.  
Цивилизация напоминает круг  
И повторяется; но так похож  
О`Лири пик  
На трапециод.  
Ликуйте же! Ликуйте! И взывайте  
Вы к матери, хотя бы иногда.

*Поплыли-ка!* О`Шон обожал плавать на кораблях, хотя ему так и не довелось выйти в море. Мальчишкой он мечтал стать капитаном, но, прослышав об акулах, оставил эту мысль. А вот его старший брат Джеймс всё-таки нанялся на военный корабль. Впоследствии он был с позором списан на берег за то, что продавал боцману морскую капусту.

*С челюстью Фогарти.* Несомненно, речь идёт о Джордже Фогарти, который надоумил О`Шона стать поэтом, уверив, что его и после этого будут принимать в приличных домах. Фогарти издавал журнал, в котором печатались начинающие поэты, и хотя круг читателей ограничивался лишь матерью издателя, журнал приобрёл международную известность. Весёлый, розовощекий ирландец, Фогарти считал, что нет лучшего развлечения, чем улечься на газоне, изображая щипцы. В конце концов, это привело к нервному расстройству, и он был арестован за то, что в Страстную пятницу поёдал панталоны.

Фогарти постоянно терпел издевательства из-за своей нижней челюсти, такой крохотной, что многие вообще сомневались в её существовании. На поминках Джима Келли он признался О`Шону: «Всё отдам за нормальный подбородок. Если я его в ближайшее время не раздобуду, так точно над собой что-нибудь сделаю». Кстати, Фогарти дружил с Бернардом Шоу, и тот ему как-то даже позволил потрогать свою бороду при условии, что после этого Фогарти уберётся вон.

*в / Александрию.* Ближневосточные аллюзии встречаются во многих произведениях О`Шона. Например, в стихотворении, начинающемся



словами «Весь в мыле скачу в Вифлеем...», язвительно рассказывается о гостиничном бизнесе, увиденном глазами мумии.

*Оба брата Бимиши.* Родные братья, оба слабоумные. Пытались добраться из Белфаста в Шотландию, отправляя друг друга по почте.

Лайам Бимиш учился с О`Шоном в Иезуитской школе, откуда был исключён за то, что однажды вырядился бобром. Что же касается Куинси Бимиша, то он был постоянно погружён в себя и до двадцати одного года не снимал с головы наматрасник.

Братья Бимиш частенько подтрунивали над О`Шоном и, бывало, съедали его ланч пока О`Шон раскачивался. Однако поэт всегда вспоминал о них с теплотой и в лучшем своем сонете «Моя любовь, как здоровенный як» зашифровывал братьев в образе двух этажерок.

*На башню.* Покинув отчий кров, О`Шон поселился в башне на юге Дублина. Это была совсем невысокая башня, примерно 1 м 83 см, то есть даже ниже, чем сам О`Шон. Жил он там со своим другом Гарри О`Коннелом, человеком не без литературных амбиций – его пьеса «Мускатный бык» неожиданно сошла со сцены, поскольку труппе потребовался общий наркоз.

О`Коннел оказал огромное влияние на стиль О`Шона, в конце концов сумев его убедить в том, что не обязательно каждое стихотворение начинать строкой «Розы алеют, фиалки синеют».

*Дёснами кичась.* Братья Бимиш отличались восхитительными дёснами. Лайам Бимиш, например, мог, вынув вставную челюсть, разгрызть карамель, чем собственно и занимался ежедневно на протяжении шестнадцати лет, пока ему не объяснили, что это всё-таки не профессия.

*Агамемнон.* О`Шон постоянно размышлял о Троянской войне, недоумевая: как это можно быть такими кретинами, чтобы во время войны принять подарок врага. Тем более что, подойдя к деревянному коню, они слышали, как внутри хихикают! Эта история глубоко запала в душу юному О`Шону, и он всю жизнь тщательно разглядывал подарки. Дошло до того, что, получив однажды на день рождения ботинки, он стал высвечивать их внутренности фонариком и прокричал: «Эй, есть там кто-нибудь? Выходи живо!»

*Шоннеси.* Полное имя: Майкл Шонесси, писатель-мистик, специалист по оккультизму. Сумел убедить О`Шона, что живущим экономно уютно-вана загробная жизнь.

По мнению О`Шона, луна влияет на земные дела: скажем, тем, кто стрижется во время полного затмения, неминуемо грозит бесплодие. О`Шон находился под сильным влиянием Шоннеси и посвятил много

лет оккультным практикам, хотя так и не достиг конечной цели – войти в комнату через замочную скважину.

В поздних стихах О`Шона луна упоминается особенно часто. Он говорил Джеймсу Джойсу, что испытывает неопишное наслаждение, лунной ночью погружая руку по локоть в заварной крем.

Эпизод с отказом от закуски относится, по-видимому, к тому времени, когда оба они обедали в ресторане «Иннесфри», где, кстати, Шоннеси однажды обстрелял горохом через соломинку некую толстую леди, не разделявшую его взгляды на бальзамирование.

*Биксби.* Полное имя: Имон Биксби. Политик, фанатично защищавший чревоущание как способ избавления от всех напастей. Один из самых знаменитых последователей Сократа, хотя и не согласный с его взглядами на «справедливое благоустройство»: оно, по мнению Биксби, может наступить лишь при условии, что у всех будет одинаковый вес.

*Парнелл бы мог ответить.* Ответ, который имеет в виду О`Шон, – «олово», а вопрос: «Какая главная статья экспорта Боливии?» Ничего удивительного, что никто Парнелла об этом не спрашивал. А вот на вопрос «Какое из живущих ныне четвероногих, покрытых шерстью, самое крупное?» Парнелл ответил: «Курица», за что подвергся суровой критике.

*Лафферти.* Мозольный оператор Джона Миллингтона Синга. Достоинейший человек, страстный роман которого с Молли Блум продолжался до тех пор, пока до него не дошло, что Молли – персонаж «Улисса».

Лафферти слыл большим шутником. Однажды он обвалял стельки Синга в муке с яйцом и, хотя походка мэтра сделалась от этого довольно странной, последователи Синга пытались её перенять, надеясь таким образом научиться писать хорошие пьесы. Отсюда строки: «Всё поколение заставил брать/Уроки самбы».

*Был Гомер слепым.* В представлении Т. С. Элиота, которого О`Шон считал «поэтом огромного масштаба, несмотря на ограниченность», Гомер являлся фигурой символической.

Познакомились они в Лондоне на репетиции пьесы Элиота «Убийство в соборе» (называвшейся тогда «Роскошные ножки») Под воздействием О`Шона Элиот сбрил баки и оставил мечту посвятить себя исполнению испанских танцев. Писатели составили манифест, излагавший цели «новой поэзии» (одна из них – пореже упоминать кроликов в стихах).

*Эгнус и Друиды.* Кельтская мифология сильно повлияла на О`Шона. В одном из стихотворений («Рявкну рыкно – чур, чур, чур!») рассказывается о том, как древнеирландские боги превратили двух влюблённых в тридцать два тома Британской энциклопедии.

*К метаморфозам.* Вероятно, восходит к мечте О`Шона «изменить род человеческий», погрязший, по его мнению, в грехах (особенно жокей). О`Шон, как известно, слыл пессимистом. Он полагал, что всеобщее счастье не наступит до тех пор, пока люди не понизят температуру тела. Тридцать шесть и шесть, уверял он, температура совершенно нелепая.

*Блейк.* Подобно Блейку, О`Шон был мистиком и не сомневался в существовании потусторонних сил.

Особенно он укрепился в своей вере после того, как в его брата Бена, высунувшего язык, чтобы лизнуть почтовую марку, ударила молния. Бедняга, как ни странно, остался жив – по мнению О`Шона, лишь благодаря милости Провидения (впрочем, Бену понадобилось ещё семнадцать лет, чтобы втянуть язык обратно).

*О`Хиггинс.* Полное имя: Патрик О`Хиггинс. Познакомил О`Шона с его будущей женой Полли Флаэрти. До свадьбы О`Шон десять лет ухаживал за Полли. Самое большое, что они позволяли себе во время тайных свиданий, это сидеть рядышком и тяжело вздыхать. Полли так и не поняла, что её супруг гений, и полагала, что в историю он войдёт отнюдь не своими стихами, а скорее, тем пронзительным криком, который издавал перед тем, как впиться зубами в яблоко.

*О`Лири тик.* Здесь О`Шон сделал предложение Полли, кстати, за секунду до того, как она сорвалась вниз. Навестив невесту в госпитале, О`Шон покорила её сердце стихотворением «На разрушение плоти».

*К матери.* Бриджит, мать О`Шона, на смертном одре умоляла сына оставить поэзию и заняться торговлей пылесосами. О`Шон не мог выполнить эту просьбу и до конца своих дней испытывал чувство вины. Впрочем, на Международной конференции поэтов в Женеве он таки всучил по пылесосу У. Х. Одену и Уоллесу Стивенсу.

### ***Города и люди. Воспоминания***

Бруклин. Бульвары. Бруклинский мост. Куда ни кинь – церкви и кладбища. И кондитерские. Мальчик помогает бородатому старику перейти улицу и поздравляет его с шабатом. Старик улыбается и выбивает трубку о голову мальчика. Тот, обливаясь слезами, бежит домой...

Бруклин задыхается от влажного, раскалённого воздуха. Люди вытаскивают на тротуар складные стулья – посидеть, поболтать после обеда. Вдруг начинается снегопад. Всеобщая паника. По улице семенит продавец брецелей. На него набрасываются собаки и загоняют на дерево. К несчастью, на дереве собак ещё больше.

– Бенни! Бенни! – мать зовет сына. Бенни, которому только шестнадцать, уже на учёте в полиции. В двадцать шесть лет его посадят на электрический стул. В тридцать шесть – повесят. В пятьдесят он станет владельцем химчистки. А пока что его мать накрывает на стол. У них нет денег даже на свежие булочки к завтраку, и Бенни намазывает мармелад на газету.

Стадион Эббетс Филд. Болельщики выстроились вдоль Бедфорд-авеню в надежде, что бейсбольный мяч перелетит через стену, и они смогут бросить его обратно. После восьми безрезультатных подач раздаётся рёв толпы. Мяч вылетает на улицу, к нему устремляются болельщики. Все удивлены – мяч оказывается футбольным. В том же сезоне владелец Brooklyn Dodgers обменяет своего защитника на левого крайнего из Питтсбурга, а затем приобретёт владельца команды Boston Braves и двух его младших детей в обмен на себя самого.

Залив Шипсхед. Мужик с задубелым лицом вытягивает из воды ловушки для крабов. Он весело смеётся. Огромный краб хватается за нос. Уже не до смеха. Приятели мужика тянут в одну сторону, приятели краба – в другую. Силы примерно равны. Садится солнце. Борьба продолжается.

Новый Орлеан. Идёт дождь, и под скорбные мелодии джаз-банда в могилу опускают покойника. Траурная музыка сменяется весёлым маршем, и оркестр шествует в город. На полпути до кого-то доходит, что похоронили не того. Этот и близко не лежал с покойником. Живой был и здоровый, а во время погребения даже распевал тирольские песни. Приходится возвращаться на кладбище и выкапывать бедолагу. Тот грозит судом, хотя собравшиеся обещают вычистить костюм за свой счет. Никто не понимает кого надо хоронить. Музыканты продолжают играть и присутствующие хоронят друг друга, рассудив, что тот, кто станет возражать меньше всех, и есть покойник. Вскоре становится ясно, что никто не умирал, но настоящего покойника уже не раздобыть – перед праздниками они нарасхват.

Карнавал накануне Великого поста. Повсюду креольские лакомства. На улицах толпы ряженых. Человека, нарядившегося морским гадом, бросают в кипящий суп. Он кричит, что он не гад, но ему не верят. Приходится предъявить водительское удостоверение. Оказывается, он не врал.

Площадь Борегар забита зеваками. Когда-то Мария Лаво устраивала здесь церемонии вуду. А теперь старый колдун-гаитянин продает куклы и амулеты. Полицейский требует, чтобы тот проваливал. Гаитянин протестует после чего рост полицейского уменьшается до десяти сантиметров.

Он вне себя и всё ещё пытается арестовать старика, однако голосок полицейского стал таким тонким, что никто не понимает, чего он хочет. Завидев кошку, перебегающую улицу, полицейский спасается бегством.

Париж. Мокрые тротуары. И огни, повсюду огни! В уличном кафе знаколюсь с французом. Его зовут Анри Мальро. Но он почему-то считает, что Анри Мальро – это я. Объясняю, что это он Анри Мальро, а я пока ещё студент. Он очень радуется, что всё обошлось, поскольку любит мадам Мальро, и огорчился бы, окажись она моей женой. Мы ведём серьёзную беседу: он говорит, что человек свободен в выборе своей судьбы и, мол, нельзя понять смысл существования, пока не осознаешь, что смерть – это тоже часть жизни. Затем пытается продать мне кроличью лапку на счастье. Много лет спустя мы снова встречаемся на званом обеде, и он опять настаивает, что Анри Мальро – это я. На этот раз я не спорю и съедаю его фруктовый салат.

Осень. Париж парализован очередной забастовкой. На этот раз бастуют акробаты. Никто не кувыркается и город словно замер. Вскоре к бастующим присоединяются жонглёры и чревовещатели. Но для парижан профессии эти жизненно важные – забастовку запрещают и вспыхивают студенческие волнения. Демонстранты ловят двух алжирцев, стоящих на руках, и бреют их наголо.

Зеленоглазая десятилетняя девочка с длинными каштановыми локонами прячет пластиковую бомбу в шоколадном муссе министра внутренних дел. Не успев его даже распробовать, бедняга покидает ресторан Фуке через крышу и благополучно приземляется в «Чреве Парижа». Сегодня «Чрева Парижа» уже нет.

По Мексике на автомобиле. Ужасающая нищета. Повсюду сомбреро, как на фресках Ороско. Больше сорока градусов в тени. Бедный индеец продает мне энчиладу с острейшей свиной начинкой. Вроде вкусно. Запиваю ледяной водой. Вдруг подступает тошнота, в животе что-то урчит, и я начинаю говорить по-голландски. Брюшные колики сгибают меня пополам, словно кто-то захлопнул книгу. Через шесть месяцев я прихожу в сознание в мексиканском госпитале уже совершенно лысый. В руках у меня флаг Йельского университета. Да, опасное вышло приключение. Мне говорят, что, находясь в бреду на волосок от смерти, я заказал два костюма из Гонконга.

Восстанавливаю силы в палате среди прекрасных крестьян. Некоторые станут моими близкими друзьями. Например, Альфонсо, мать которого хотела, чтоб он стал матадором. Альфонсо боднул бык. Позже его забодала собственная мать. Или вот Хуан. Простой фермер, который и имени-то

своего написать не мог, как-то умудрился нагреть телефонную компанию ИТТ на шесть миллионов долларов. Или старый Фернандес, много лет проскакавший бок о бок с Сапатою, пока знаменитый революционер не арестовал его за то, что Фернандес постоянно задевал его ногой.

Дождь. Шесть дней подряд дождь. Потом туман. Мы с Вилли Моэмом сидим в лондонской пивной. Я расстроен, что критики так холодно встретили мой первый роман «Благородное рвотное». Единственная благожелательная рецензия появилась в «Таймс», но и её испортила последняя фраза, в которой мои страницы объявлялись «миазмами идиотских клише, не имеющих параллелей в западной литературе».

Моэм говорит, что поскольку эту фразу можно понимать по-разному, лучше её в рекламных целях не использовать. Мы идем по Олд Бромптон-роуд, и снова начинается дождь. Я предлагаю Моэму зонт, тот берет, хотя имеет свой. Теперь он шагает под двумя зонтами. Я по-прежнему рядом с писателем.

– Не надо слишком серьезно относиться к критике, – говорит Моэм. Помню, один критик страшно разругал мой первый рассказ. Я долго думал, после чего отпустил несколько язвительных замечаний по его адресу. Впоследствии я перечитал рассказ и понял, что критик был прав. Рассказ действительно слабый и композиционно недоработанный. Я надолго запомнил тот случай и годы спустя, когда самолеты Люфтваффе бомбили Лондон, подсветил дом, где жил критик.

Моэм останавливается, покупает третий зонт и раскрывает его.

– Чтобы стать писателем, надо экспериментировать, не боясь, что со стороны это выглядит глупо. Работая над «Остриём бритвы», я носил бумажный колпак. В первой редакции рассказа «Дождь» Сэди Томпсон была попугаем. Мы, писатели, двигаемся на ощупь. Мы не боимся риска. Всё, что я имел, когда начинал «Бремя страстей человеческих», это союз «и». Но я чувствовал, что роман, в котором уже есть «и», будет великолепным. Постепенно появилось всё остальное.

Внезапный порыв ветра отрывает Моэма от земли и швыряет об стену дома. Писатель заливается хохотом. Затем Моэм даёт мне самый ценный совет, какой только может получить начинающий писатель:

– В конце вопросительного предложения ставьте вопросительный знак. Вы не представляете, как мощно это может сработать.

---

# Вадим Фадин

---

## Похороны меня

## Рассказ

Вышло так, что умер я, не дождавшись славы, отчего в день похорон был в смятении, не понимая, сокрушаться ли о прошлом, о будущем ли. С настоящим обстояло проще, из-за его неспособности изменяться, как к нему ни относиться; оно, к тому же, изобиловало неожиданными подробностями, которые следовало запомнить, потому что такие вещи случаются раз в жизни.

Сама по себе известность никогда меня по-настоящему не интересовала, теперь же наша с нею разобщённость обернулась тёмной стороной, и Дом литераторов отказал в помещении для панихиды. Это – проза смерти, и о ней не стоило бы говорить, когда бы не очевидные для моей карьеры последствия. Будь гроб выставлен в писательском клубе, в траурный зал могли бы заглянуть на огонёк, по пути в ресторан, какие-нибудь важные лица – глядишь, к слову и слово за слово, договорились бы об издании моих сочинений. Так нет же, прощание с телом состоялось в больничном морге, в нелепом, похожем на бокс гаража отсеке, где совершенно исключались нечаянные встречи неблизких покойному людей. С близкими же как раз происходило непредвиденное.

Плача получилось предостаточно. Женщины способны плакать даже на похоронах посторонних, куда попадают по обязанности, и щедрые слёзы новоиспечённой вдовы никого не удивили. Точно так же никого, кроме вдовы, не удивила печаль нескольких неизвестных здесь дам, неведомо как прознавших о церемонии; кроме одной, все они в своё время были связаны со мной лишь платоническими узами, но близки мне более прочих. Совсем не в такой обстановке я хотел бы с ними встретиться; предвзято протесты нашедших тут плоскую шутку, спешу заявить, что оскорблён пренебрежением к своей последней воле: вопреки моим многим, когда между строк, а когда и прямым пожеланиям, меня не стали отпевать в церкви (дети, правда, пытались настоять, но не сладили с большевистским напором старших). Вообще, всякие похороны следует устраивать до смерти, чтобы усопший имел возможность проследить за исполнением собственных распоряжений; я, например, не только заказал бы церковную панихиду, но и похлопотал бы о месте на деревенском погосте, и отверг бы казённую плиту в пользу креста. Главное же – я быстро, по горячим следам, добился бы посмертного издания хотя бы избранных своих работ, ведь кончина писателя – самый благоприятный момент в его биографии.



Кроме меня самого, сделать это оказалось некому: при жизни я не сумел назначить себе душеприказчиков, наследники же не годились для такого дела никоим образом, оттого что моё сочинительство считалось в доме блажью, и теперь, избавившись от него самым радикальным путём, семья жаждала общепринятого покоя.

Не будем говорить о вдовах, но вспомним, что между женщинами считается более достойной та, чей муж богаче; никакие их или их супругов добродетели – ни ум, ни, тем паче, таланты – в расчёт не принимаются (так в армии шофёр генерала всегда стоит на голову выше полковничьего шофёра). Поэтому нечего искать сподвижниц среди жён, поэтому и не будем говорить о вдовах. Незавиден удел быть женой неизвестного писателя, вдовой – тем более, и такие женщины предпочитают стыдливо умалчивать о профессиях своих супругов, последние же иногда так до конца жизни и не понимают, как навредили себе, заключив брачный союз. Вообще, браку напрасно придаётся преувеличенно мистическое значение – как, впрочем, и похоронам. В действительности похороны – это лишь досадное нагромождение непривычных забот и расходов. Чтобы избавиться от негодной вещественной оболочки бывшего члена семьи, надобно соблюсти множество условий и условностей; в том же, что попутно делается для сохранения следов отлетающей души, у нас наблюдается полнейший произвол. О самой душе знают лишь то, что ей надлежит являться в старый дом на девятый и сороковой дни; только в день погребения ей уделяется толика внимания, выраженная в поднесении стопки хлебного вина со ржаным ломтём на закуску. Мою – угостили тем же самым, начисто забыв, что врачи не разрешали мне, после инсульта, ничего, кроме коньяка; понятно, что эта водка осталась нетронутой.

Выпивке в народе тоже придаётся мистическое значение; в моем перечислении это уже третий пункт, и непредвзятые критики могут попенять мне за то, что я зря валяю всё в одну кучу, однако иначе нельзя было бы объяснить, почему две из незнакомых другим собравшимся женщин мало того, что позволили себе прилюдно всплакнуть, но и явились затем в дом на поминки. Вдова, по привычке предположив скандал, еле сдержалась, чтобы тотчас не поинтересоваться их историей, – быть может, и спросила бы, не исчезли те после первой рюмки.

Они ушли одновременно, но так и не перемолвившись между собою ни словом и не узнав о некоем общем для них знаменателе: молча спустились в одном лифте и на улице разошлись в разные стороны, словно ничто не связывало их в этом мире (возможно, так оно и стало теперь). Мне доподлинно известно, что всё пошло бы иначе, сойдись они не в гараже, а в церкви (я не оговорился

насчёт гаража, потому что, когда молчание и слезы в морге были соблюдены, обморок одной из этих двух замят, а речи неродных иссякли, прямо в зал вдруг въехал, пятясь от снегопада, автобус с разверстой для поглощения меня задней стенкой; здесь легко предположить и дальнейший конвейер): после отпевания в храме они безошибочно потянулись бы одна к другой, угадав сходство судеб. Каждую в отдельности я всё собирался просить позаботиться в случае чего о моих делах – собирался, но не успел. Я и сейчас затруднился решить, за какую проследить до конца, и в итоге остался в неведении относительно обеих.

То и дело забегая вперёд и в стороны, я невольно уклоняюсь от главного рассказа; похоже, что он так и не запишется за ненадобностью. Похороны пугают, пребывая в неопределённом будущем, но теряют своеобразие и забываются, отойдя недалеко в прошлое. Они имеют смысл единственно в момент совершения, в сей минуту, повествование о которой невозможно физически, и остаются из-за этого собственностью покойника. Он один имеет возможность наблюдать за последним спектаклем сколь угодно долго – не заботясь при этом о сохранении приличного выражения лица: оно скрыто под гримом, наносимым для театрального представления; самочувствие под этой маской интересно лишь ему самому, и он долго ещё живёт этим маскарадом, музыкой Шопена и анекдотами в задних рядах, воспринимая происходящее сейчас как праздник.

Не стоило бы рассказывать пребывающим в унынии о своем празднике, который не омрачила ни неопределённость дальнейшей судьбы, ни сюрпризы из прошлого, свидетельствующие о тесноте мира. Для моего удобства впервые сошлись в одной точке мысли чужих друг другу людей, сделав меня центром своего притяжения; странно, что, приняв это как должное, я не испытал полного удовлетворения; наверно, моё тщеславие умерло вместе со мною. Гораздо больше мне понравилось, что в единственной точке пространства сошлись и их тела и я смог рассмотреть оные так подробно, как никогда прежде. Так я открыл, что старший из сыновей знаком с одной из тех печальных женщин, которые пришли сюда, как чужие и как бы на ощупь, – так близко знаком, что чмокнул её в щёку. Рассеянно улыбнувшись в ответ, она отвернулась ко гробу; на кладбище она не поехала, затерявшись в окрестностях морга. Все эти будто бы посторонние женщины уходили по-английски, не прощаясь; зато говорливы и оживлены оказались мужчины. Оживлены – в настоящем тексте звучит нелепо, оттого что относится не ко мне, а к людям, живым и без того. На эту игру слов никто из них, литераторов, не обратил внимания – по той причине, что они лишь считались профессионалами, будучи занесены в списки и платёжные ведомости,

но оставались равнодушными и к словам, и к играм, отчего, усвоив, что и зачем надобно писать, никогда не имели понятия, как. Именно об этом, приятно меня поразив, неожиданно заговорил человек, которого я видел впервые; он же напомнил публике об общем долге передо мною; нужно было подумать, соглашаться ли с этим, но тут был хорош поворот сюжета: понадобилось всего лишь умереть, чтобы из почтенного должника превратиться в почётного кредитора.

Наше государство более или менее искренне любит только тех, кто успел умереть; мне не хочется додумывать мысль до конца, решая, есть ли это проявление русского характера или следствие правления варваров (второе, разумеется). Если верить надгробным речам, я стал наконец любим, и это меня устроило. Я стал любим вне семьи более, нежели внутри, – меня устроило и это, оттого что в моём новом качестве семья стала излишня. Отныне я могу считать себя холостяком или многоженцем, всё равно – это более не имеет значения даже для меня самого: нынче все равны передо мной, различаясь лишь отношением к наследству. Потеряли также значение и чувства, связывающие их – симпатии и неприязни. Важным осталось то одно, что я умер в России, где давно уже почитают только мёртвых.

Опубликовано: «Пейзаж в окне напротив», Москва, «Время», 2016.

## **В пользу романа**

## *Эссе*

*Многознание ума не прибавляет  
Гераклит Эфесский*

Книги, увы, сопутствуют в жизни далеко не каждому. И не всякие книги. В последние годы стало особенно заметно, как, пренебрегая художественным словом, бывшие читатели всё чаще обращаются к мемуарам, очеркам, вообще – к прикладной литературе: то ли мода пришла, то ли человек измельчал, но они искренни в своём новом пристрастии, объясняя, что там, мол, всё подлинно, одни случаи из жизни, а не досужие выдумки писателя – не ведая, что как раз там автору всего легче покривить душой, пусть и ненароком, и что лишь против собственного вымысла, в романе, согрешить невозможно (в романе? – но я для краткости и всякую художественную прозу стану здесь именовать романом).

Спрос рождает предложения, и многие издатели охотно берутся за сочинения, имеющие документальную основу. Стоит в аннотации упомянуть, что в основу сюжета положен действительный факт – и произведение повышается в цене: ему словно бы присвоен пресловутый знак качества, хотя на самом деле для романа клеймо «Основывается на действительных событиях» является верным признаком неудачи. Оно предупреждает, что

автор, скованный в работе общеизвестными фактами и мнениями, не имел возможности полностью выразить себя.

Мне вовсе не хочется клеймить здесь научно-популярную или документальную литературу как таковые. Без них молодые люди вступали бы во взрослый мир недорослями. В молодости хочется знать всё – вот и хорошо бы читать всё подряд, накапливая знания, чтобы потом пристроить их к какому-нибудь делу (непреренно – к делу, потому что трудно понять энтузиастов-эрудитов, без устали пополняющих свой ум новыми данными, но не умеющих обратить их на пользу кому бы то ни было). И хорошо бы потом вовремя остановиться.

От автора популярных текстов, неспециалиста, неловко требовать скрупулёзного знания предмета, да он и не знает, он же как правило не специалист в нём, и у него где-нибудь да вкрадётся неточность, что-нибудь он да упустит, что-нибудь да приукрасит. И это не вся беда, гораздо хуже, что чтение прикладных сочинений, тем паче – газет, не только не требует воображения, но и гасит его за ненадобностью; оно же полностью включается лишь при чтении художественных текстов (сказанное относится не к одной лишь литературе: слепая верность любым источникам информации губительна и для всякого вида искусства). Здесь, кстати, лежит и объяснение того, что многие к старости вдруг начинают не в меру интересоваться мемуарами в ущерб роману, словно фотографиями – в ущерб живописи: дело в том, что воображение с годами угасает, и воспринимать искусство становится не под силу. Мемуары же достаточно лишь принять на веру, при этом степень достоверности чужих припоминаний уже несущественна, ведь они читаются в возрасте, когда добытые факты всё равно невозможно приспособить к делу.

Тут, впрочем, всё связано одно с другим, и живое воображение не только необходимо для восприятия художественных текстов – оно ими же, в славной компании со сказками и детскими играми, и развивается. В конце концов, на чём мы все выросли? Да именно на романах и выросли... Ну, хорошо, отступлю на шаг назад: на художественном письме. Оттого что сказки, рассказанные нам бабушками, и они суть художественная литература и романы.

Нынешних детей не оторвать от телевизора, хотя отказ от книжки ради готовых картинок мультлика – это погибель в зародыше всякой фантазии. А когда-то (я обращаюсь к собственному далёкому, довоенному детству) всё начиналось с бабушкиных сказок. Не было на свете телевизоров, мультфильмы в кинотеатрах были совсем не частым удовольствием, а вот домашние сказки рассказывались ежедневно, и детям приходилось, слушая, каждому по-своему представлять себе то Кощея Бессмертного, то Царевну-

лягушку (между прочим, не такое это простое дело – не имея образца... ). Потом, по мере взросления, на смену устным сказкам приходили книги, и труд воображения усложнялся и уже никак не мог быть исключён. Но смею утверждать, что он начисто исключается при рассматривании на экране движущихся картинок: ну, бежит кошка за мышкой...

Здесь надо бы срочно оговориться: меня могут посчитать ярким противником кинематографа; в действительности ж я большой его любитель. Всему, однако, своё место и время.

Что же до необходимости всем читателям, какие есть, разжиться воображением, то я приведу лишь несколько фраз из прозы классиков (чтобы не приводить в пример вообще всю их прозу), которые трудно или даже нельзя было бы понять, если не напрягать воображение; в буквальном исполнении они совершенно теряют смысл. Вот они:

...выходя... оставляя сапоги в сенях и отправляясь вновь на собственной подошве.

...имел, по обычаю людей своего звания, крупный нос и губы.

...то, что было грязно, так и оставалось грязным, не принимая привлекательной наружности.

...по стенам поднимали ножку балетные снимки.

...они говорили мало, говорить было слишком темно.

...тяжёлый, словно всю жизнь наполненный гроб.

И так далее. Объяснять метафоры никогда нет смысла. Просто над каждым из приведённых отрывков, надо задуматься хотя бы на секунду, сравнить с чем-то своим, вообразить ситуацию.

Сегодня принято считать, что современные дошкольники как раз благодаря телевидению знают больше, чем прежние ученики, одолевшие, скажем, начальный курс; не спорю, это так, но и не совсем так, потому что разглядывать изображение – вовсе не то, что задумываться над фразой. Беда же в том, что кино с его готовыми картинками (и телевидение, естественно, но я опять буду пользоваться общим термином) предъявляет к воображению довольно скромные требования, и зрители постепенно привыкают обходиться почти без оно́го; им больше не нужно выдумывать своего Кощея, если его портрет уже всем показали на экране (я имею в виду только зрительный ряд фильмов, но не диалоги, которые в принципе могут иметь собственную, отдельную ценность именно как факты литературы). Бывает, что важные мелочи на изображениях пропадают без толку, оттого что глаз попросту не знает, на чём нужно остановиться – на плохо повязанном галстуке, на манерно оттопыренном мизинчике дамы, пьющей чай, на размоченных кусочках бисквита... Авторы

фильма, конечно, могут помочь, допустим, наездами, голосом за экраном – но это будет уже нарочито, грубо. Зато в художественных текстах не бывает лишних слов: каждое, если уж написано, что-то значит для писателя, в противном случае он бы им пренебрёг. Если он, например, одевает своего персонажа в коричневый костюм, то это уже целая характеристика.

Если угодно, вот развёрнутый пример.

Не знаю, экранизирован ли рассказ Набокова «Весна в Фиальте», но позволю себе представить, как выглядела бы в кино его развязка. Там три персонажа уезжают из города на жёлтой спортивной машине – и разби-ваются. В фильме нам, вероятно, мельком показали бы замечательный яркий автомобильчик, а потом – безрассудную гонку по серпантинам, то ли азарт, то ли отчаянье в глазах водителя, стрелку спидометра, дрожащую у невероятной цифры, колесо, скользящее у самой кромки, над пропастью, разорванный, истекающий тормозной жидкостью шланг... А перед всем этим – трое садятся в машину и уезжают, не более того. Уезжают – но это уже почти финал фильма, – а у зрителя нет дурных предчувствий, он, скорее всего, предвкушает happy end, какую-нибудь голубую дорогу вдаль, с машиной, трогательно, как Чарли Чаплин с тросточкой, уменьшающейся в перспективе.

Но вот как это звучит у Набокова: перед выездом этот жёлтый, похожий на жука «автомобиль стоял ещё неподвижно, гладкий и целый, как яйцо...». Я очень хорошо помню, что, читая рассказ впервые, на этом месте с абсолютной уверенностью почувствовал, что автор непременно разобьёт машину – и с такою тревожной уверенностью и читал дальше. Он и разбил.

Подобное предчувствие беды не передать изображением, не внушить средствами кино, при всех его цвете, звуке и стереоскопии. Но одно точное слово писателя – и я уже знал всё наперёд. Только позже, размышляя о прочитанном, я представил происхождение своей догадки: в Начале было яйцо! Машина была жёлтой, как яичный желток, который можно увидеть, лишь разбив скорлупу. Само же яйцо как предмет – символ хрупкости, и у читателя после набоковской строки остаётся неосознанный привкус несоответствия: целый, как яйцо? Оно же тронь – и треснет... Эта мимолётная неправильность и создала предчувствие скорого несчастья, автомобильной катастрофы – ещё не описанной, но уже предьявленной воображением.

Излишне говорить о том, что и Набоков тоже не был очевидцем крушения.

Зато можно говорить о том, что и обыкновенно сцены, в которых автор даёт волю фантазии, как правило, выходят живее и правдивее (это не оговорка) тех, что честно списаны с натуры, если только (непременное условие) особенно позаботиться о слоге: стиль, оказывается, чужд фальши. При скрупулёзной отделке фразы как-то само собой получается, что

несообразности и ложные утверждения проявляются как дурно написанные места, и добросовестная работа над стилем приводит к изгнанию неправды. Трудно оспорить Жюль Ренара, когда-то определившего: «Плохой стиль – это несовершенство мысли».

То же – и о персонажах прозы. Автор художественного произведения всегда знает, что пережил, что думал, думает и как собирается поступить его вымышленный герой, то есть знает всю правду; кое-что потом остаётся про запас в писательской памяти, а кое-что заносится на бумагу для читателя; обо всех тонкостях его биографии можно спросить у писателя – и он ответит. Автор же документальной вещи, о ком бы ни писал, никогда не может поручиться за достоверность слов своего персонажа; пусть даже они взяты из какого-нибудь подлинного письма того, но недаром тот доверил их частной записке пером, а не произнёс – быть может, никогда не мог бы произнести вслух, – и значит, использованные в прямой речи мемуара, они будут неправдой.

Давая волю воображению, пишущий человек освобождается и сам, и на ум ему приходит нечто давно припасённое и хорошо обдуманное. Тот же Набоков в размышлениях о Гоголе утверждал, что: «Внешние впечатления не создают хороших писателей; хорошие писатели сами выдумывают их в молодости, а потом используют так, как если бы они и в самом деле существовали», а Феллини написал совсем уже прямо: «Чем вернее ты воспроизводишь действительность, тем скорее скатываешься к подделке».

У каждого писателя – свой опыт и свой метод: одни, задумав роман, отправляются в так называемые творческие командировки, чтобы собрать какие-то материалы, а самое малое – хотя бы надыхаться подходящим воздухом, другие – просто пытаются поделиться всем, что наболело в душе, что накипело... Однако первым – надобно знать меру.

Здесь я вынужден обратиться к собственному опыту.

Я всегда очень много читал (романы и стихи), благо места моей инженерской службы располагались либо в пригородах Москвы, либо на далёких её окраинах, и ежедневная долгая дорога бывала необыкновенно удобна для спокойного чтения. Мои коллеги, попутчики, тоже не отрывались в электричках или в служебных автобусах от книг, но большей частью – специальных, или от периодики, но – научно-популярной. Естественно, не чужд был подобных интересов и я, недавний студент – во всяком случае, не пропускал свежих номеров таких журналов, как «Наука и жизнь», «Знание – сила» или «Техника – молодёжи». Однако постепенно у меня стало сгущаться подозрение, что такое чтение мешает моему собственному письму, словно после него в голове скапливается



бумажный мусор, который всякий раз надо убирать прежде, чем заняться делом; иногда на уборку помещения уходило всё свободное время. Конечно, я немедленно проделал опыт, и стоило мне на пару месяцев забыть о разного рода занимательных физике и механике, как стихи начали приходить охотнее. Не утруждая себя формулировкой этого феномена, я просто сделал практические выводы, перестав интересоваться просветительской литературой в пользу литературы художественной, тем более, что у меня давно уже (вовремя, в юности) набралась, как теперь бы сказали, изрядная база данных по многим областям знаний, и дальнейшее беспорядочное их накопление становилось пустым делом, оно имело бы смысл лишь если б от этого была возможна отдача – когда б онигодились для какой бы то ни было работы.

Недавно я прочёл где-то, что просвещённым следует считать не того человека, который знает всё, а того, кто знает, где взять то, чего он не знает. Собственно, тому же меня научили и в институте (а я кончал труднейший – авиационный): мои однокурсники, поначалу смущённые объёмом преподносимых нам знаний, исподволь пришли к выводу, что всего запоминать и не надо, а надо, имея за душой упомянутую выше базу, понимать задачу и при необходимости знать, каким справочником воспользоваться. Смею считать, что я избежал многих неудобств благодаря знанию такого адреса. Что же до бумажного мусора, то он не отвлекал больше, чем я и удовлетворился, не дав себе труда вникнуть в суть явления, как это позже сделал Иосиф Бродский, выведя: «Знаю по своему опыту, что чем меньше информации получает мой мозг, тем сильнее работает воображение». И даже, добавлю, тем ближе и ниже становится порог сочувствия чужой боли.

Воображаемый мир не так уж далёк от нас: с детства все мы видим его существующим параллельно с нашим, реальным. Это мир сказок, а потом – книг, это мир поначалу детских, а позже и взрослых выдумок и игр, без которых ничего не делается на свете. Да, никакое дело не делается лучшим образом, если работник не увидит в нём хотя б отзвуков игры, а увидев – и сработает играючи. Работа же художника или писателя и подавно – игра, от начала до конца; у них это – серьёзно. Это серьёзно и у детей, в игре они учатся жизни, разыгрывая выдуманные роли взрослых. Девочки играют в куклы, воображая, что это – живые люди: куклы ходят друг к другу в гости, пьют чай со сладостями, беседуют за столом о чём-то для себя важном, иногда – ссорятся, всё это понарошку, но так и персонажи романов встречаются друг с другом, иногда – пьют вместе чай, а иногда ссорятся и много чего ещё делают такого, что придумает за них писатель, переживающий в уме всё, что с ними происходит; не обладая воображением, роман не

напишешь, но и наоборот: не читая романов, воображение не разовьёшь – такой получается замкнутый, заколдованный по-доброму круг.

И всё-таки: для чего люди читают книги?

Если речь идёт о прикладной литературе, то ответ прост: для получения информации – неважно, из простой любознательности или для использования в работе. Если же говорить о литературе художественной, то многие решат, что – для получения эстетического удовольствия: не могут же романы быть примитивными источниками знания, да и научить жить, дать какие-то рецепты поведения они тоже не могут. И не должны. Правильный ответ может показаться неожиданным: романы и стихи читаются тоже для получения информации, но не фактической (иначе зачем бы по нескольку раз перечитывались любимые книги?), а той, что припасена в неких тайниках умов самих читателей. Иными словами, художественные тексты тоже являются источником информации, возможно, даже более щедрым, нежели документальные, просто мы извлекаем из них не отдельные сведения или числа, а – новые собственные соображения и выдумки, вдруг возникающие при чтении из попутных ассоциаций, воспоминаний, нечаянных сравнений: мысль читателя цепляется за какую-нибудь неожиданную метафору или просто за удачно написанную, точную фразу, или ... да за что угодно, за любой намёк и тогда начинает жить самостоятельно, ища продолжения, плодя себе подобных и приводя к догадкам и открытиям, часто даже не имеющим общего с прочитанным текстом – вплоть до мыслей о вечности и о Боге.

В другой раз, при очередном перечитывании того же романа, читателя может задеть иная, нежели раньше, метафора, и в его уме образуется новая ассоциативная цепочка ...

В свете этого становятся нестрашными крамольные, казалось бы, слова Шопенгауэра: «Надо меньше читать и больше думать», – потому что не одни лишь изящные затеи вроде сочинения новелл, но и многие, многие случаи в нашем бытии суть игры воображения. Не дай ему волю, и тогда что последние известия по радио, что бабушкины сказки – всё будут пустые слова. Этак даже к описанию тридевятого царства останешься равнодушным, пока не вообразишь себя – в нём, со всеми приключениями в пути.

Но, сумев вообразить, уже не грех затронуть и высокие материи, вплоть до темы вечности, оттого что вечно само настоящее искусство, и оттого, что настоящее искусство создано вымыслом – тут достаточно вспомнить творения классиков. Великих обессмертили отнюдь не документальные работы, вечными оказались лишь произведения, рождённые воображением: не секрет, что реальность не имеет отношения к вечности.

---

# Александр Шмидт

---

\* \* \*

Утром  
Тень моя  
Суха и благородна,  
Как рыцарь из Ламанчи.  
К полудню  
Толста и добродушна,  
Как его вечный спутник.  
А вечером –  
Нелепо мельтешит,  
Словно ветряная мельница.

## *Таможенный досмотр*

На границе  
Этого и того света  
Вероятно  
Тоже существует таможня  
Ты проходишь ворота  
Что-то звенит  
И ангелы  
Невидимыми лучами  
Обшаривают тебя  
Чтобы ты  
Не пронёс  
Свои самые драгоценные воспоминания

\* \* \*

Ну и  
Поменял я  
Ближнее зарубежье  
На дальнее  
Дальше Родина не стала

Но и не приблизилась  
Осталась всё на том же  
Расстоянии памяти  
На расставании памяти  
Чужая речь  
Сначала ты её мучаешь и калечишь,  
Пытаясь преодолеть собственную немоту,  
Потом привыкаешь к чужой речи,  
Словно к протезу в осиротевшем рту.

### **Усталость**

Стих мой стих –  
Устал.  
Устаёт, остыв,  
И металл.

Устают уста  
Лгать.  
Промолчал –  
Исполать.

Устаёт пытаться  
Палач.  
Ведь хребет ломать – Не калач.

А толпа орёт  
Всё лютей.  
Устаёшь любить  
Людей.

Устаёшь нести  
Свой крест.  
Дым отечества  
Очи ест.

### **Строфы**

1

И я, мой друг, почти что ветеран  
Какой-нибудь Пунической войны,

Скрыплю пером-протезом по утрам  
И страшные записываю сны.

2

Отшумела весенняя мутная речка,  
А ведь страстно как русло вычерчивала.  
Вот и руки обсыпала старости гречка –  
Будто я эту воду вычерпывал.

\* \* \*

Какой лёгкой казалась мне жизнь  
Когда я взвешивал на ладони  
Нашего новорождённого ребёнка

Какой тяжкой она оказалась –  
В лёгкой горсти земли  
Которую я бросил на твой гроб

### ***Пещера***

– Ты – русский, –  
Утверждают знающие меня немцы.  
– Ты – немец, –  
Внушают мне знакомые русские.  
– Я – никто, –  
Говорю я на всякий случай.  
И под циклопическими сводами пещеры  
Легучие мыши эха  
Испуганно вопрошают:  
– Кто?.. Кто?.. Кто?..

### ***Зона досяганья***

Услышал слабое теньканье  
Машинально полез в карман за мобильником –  
Молчит

Поднял голову –  
Пичуга какая-то

Я еще  
В зоне  
Её досяганья

\* \* \*

Божья коровка –  
Алая капелька –  
Ударил в грудь.  
Остановился,  
Простреленный  
Нежностью  
К миру.

### ***Весна из Стабии***

Ах как идёт ей  
узел тяжёлых волос  
и лёгкая поступь  
так идёт  
что шёлк щебечет у щиколоток

сколько столетий смотрят ей вслед  
а она  
не оглянется даже

так и пройдёт нас пленяя  
роскошным  
равнодушьем  
спины и бёдер

только сердце  
ветерком обдаст

### ***Бабье лето***

Пусть осень старушечьи шаркает —  
Душа юнее невесты,  
По-прежнему не решается  
Задача с тремя неизвестными

И я не в своей тарелке  
Меня она тоже касается  
Мой нос как магнитная стрелка  
Следит за каждой красавицей

Они глядят победительно  
Их туфли гремят соловьями  
И, что ещё удивительно,  
Снисходят к общению с нами.

### ***Из старого запаса***

Проснёшься — небо голубей  
Чем ... все сравнения избиты.  
И правит стая голубей  
Крылатый бог совсем забытый.

Он в колеснице золотой,  
Как описал его Овидий,  
Тугой играет тетивой  
И норовит меня обидеть.

И прежде чем сообразишь,  
Что он по-прежнему опасен,  
Он сердце бедное пронзит  
Стрелой из старого запаса.



*Участники литературных собраний:*

*гости из Германии, России и других стран*

---

# Сергей Бирюков

---

## Одинокая строка

## Эссе

Речь пойдет об одностроке, одностишии или моностихе, форме, которая в последние десятилетия получает всё большее распространение. Тем более небезынтересно посмотреть на движение русского однострока в относительно хронологической последовательности.

Обычно в разряд моностихов попадают строки, сохраняющие определённый размер и ритм. Но этого ещё недостаточно для того, чтобы назвать монострочное сочинение, обладающее внешними признаками стихотворения, стихами. Очевидно, что стихотворение (однострочное или многострочное) это прежде всего концентрация – мыслительная, эмоциональная, интонационная. Разумеется, здесь может быть учтен и момент парадоксальности.

Моностих в России, конечно, существовал и до его явного обозначения Валерием Брюсовым, но не был акцентирован как самостоятельная стиховая форма. Пословицы и поговорки, эпитафии, различные девизы и т. д. – и всё это было в России, как и в других странах. Появление авторизованных эпитафий, принадлежащих перу Карамзина, Державина, Хемницера, тоже не вызвало осознания моностиха как формы поэтической. И нужен был Брюсов, с его аналитическим умом, чтобы моностих сделался явлением поэзии. Нужно было и время обостренного интереса к литературе, чтобы одинокая строка произвела столь шумное впечатление. Стоит сказать и о том, что Брюсов написал несколько моностихов, но, видимо, не счел их пригодными для печати. Они и в самом деле не очень удачны, особенно в сравнении со знаменитым:

О, закрой свои бледные ноги.

Небезынтересно привести здесь строки из воспоминаний Вадима Шершеневича «Великолепный очевидец»: «Когда я однажды спросил у Брюсова о смысле этих стихов, он мне рассказал (возможно, это была очередная мистификация, которые очень любил Брюсов), что, прочитав в одном романе восклицание Иуды, увидевшего «бледные ноги» распятого Христа, захотел воплотить этот крик предателя в одну строку, впрочем, в другой раз Брюсов мне сказал, что эта строка – начало поэмы об

Иуде, поэмы, позже уничтоженной автором». Это разъяснение существенно меняет представление о моностихе как об однозначно прочитываемой афористике или парадоксе, хотя именно в этом направлении двинулись в основном последователи Брюсова. Правда, единственным известным автором, использующим моностих последовательно, на основе разработанной теории, я могу назвать пока только Владимира Маркова, русского филолога и поэта, жившего некоторое время в Германии, а затем переехавшего в США. В 1963 году он опубликовал в нью-йоркском альманахе «Воздушные пути» антологию однострочков и трактат о них.

В отличие от Брюсова Марков имел перед собой немало примеров одностиший, как в русской, так и в западноевропейской поэзии. Он впервые дал панораму однострочков от классической древности (греков и латинян) до разноязычных поэтов Европы XX века (как в «Антологии», так и в обзоре), зафиксировал почти всё, что существовало в русской поэзии на начало 60-х годов. Он определил «четыре традиции» в написании однострочка: «греко-римская эпитафия-эпиграмма», «романтический фрагмент, осложненный импрессионизмом», «однострок, развившийся из пословицы» (при этом Марков отмечает, что «именно на русской почве этого не произошло»), и «пересаживание на европейскую почву ориентальных или иных экзотических форм». В последнем случае интересно замечание, что однострок русского постсимволиста С. Вермея «получился не без влияния японской танки»:

Кожей своей и то ты единственна.

Помимо этого, Марков привёл массу интереснейших соображений, находя соответствия моностиху в афоризме, «среди политических лозунгов и коммерческой рекламы», среди «обломков стихов античных поэтов», среди «просто строк», т.е. метрических примеров (Ломоносов) и набросков (Пушкин). Он заглянул также за моностих, замечая, что «однострок – дорога к искусству заглавия», подчеркивая, что он же «идеальный эпиграф», находя «стыдливые одностроки» у многих поэтов, т.е. начальные строки стихотворений, которые, по его мнению, не требуют продолжений:

Чего в мой дремлющий не входит ум?

Державин

А море Черное шумит не умолкая

Лермонтов

Мерещится мне всюду драма

Некрасов

Русь, ты вся – поцелуй на морозе!

Хлебников

Я научился вам, блаженные слова

Манделштам

Говоря о возможностях однострока, Марков приходит к «однослову», к стиху из «голых рифм» и «однобукву», наконец, к «белой странице» или к «поэтическому молчанию».

В советское время одностишия писались, но лишь очень малая их часть попала в печать. Это заставило меня обратиться к «подозреваемым» авторам. Полученные одностишия (вместе с уже имеющимися) дали возможность для вывода, что в моностихе, как и в других формах поэзии, уживаются разные пути: моностих формально замкнутого, «классического» типа не мешает развитию моностиха разомкнутого, «авангардного». Такие моностихи, части «Кнеги кинга» обнаружались у поэта и исследователя авангарда Владимира Эрля. Причем один из его моностихов имеет горизонтально-вертикальное начертание, что не встречалось в русской поэзии раньше и что, безусловно, сближает поэта с дальневосточными авторами, с их вертикальным письмом, но и тут же разделяет – ибо там это норма, а здесь – нарушение нормы.

В истории русской поэзии есть и книга одностроков. Это «Смерть искусству» Василиска Гнедова, его «пятнадцать [15] поэм». Хотя книга Гнедова называлась «Смерть искусству», поэт показал практически безграничные возможности именно искусства. Гениальное белое поле «Поэмы конца» – завершение этого свода минималистских поэм – есть в то же время подлинное Начало.

Если одностроки Гнедова являли собой своего рода арсенал авангардного артистизма, то циклы одностроков Владимира Маркова, опубликованные им в 1963 г. вместе с трактатом, наряду с их поэтическими достоинствами, представили как бы проекцию возможных путей развития древнего жанра. Ученый и поэт (в одном лице) вступают в творческое соперничество – и оба выигрывают. Любую антологию моностиха теперь уже невозможно представить без одностроков Владимира Маркова:

О боже, я разбит, составь меня опять.

Интересно, что к однострочной форме часто обращаются поэты, которые параллельно занимаются исследованием литературы. Мы видели

уже это на примере Брюсова и Маркова. Замечательный поэт и литературовед Вадим Перельмутер, живущий в Мюнхене, продолжает эту традицию по-своему. Своим моностихам он обычно дает названия и возникает дополнительный эффект. Вот два примера:

*Жуковский*

Он Пушкина видал в гробу.

*Эпитафия. Князь Вяземский*

Он жил, пока браниться не устал.

Более десяти лет назад появились книги однострочков Татьяны Михайловской и Владимира Вишневого. Михайловская свои моностихи объединяет в развернутые циклы. Один из циклов называется «Улей». Одностишия живут, в самом деле, как в сотах. Такие «скопления» переводят моностих в новое качество, возникает своеобразная драматургия, так, как это бывает и в книге «обычных» стихов, с той разницей, что здесь предельно сокращается расстояние от стихотворения до стихотворения – буквально – до одной строки! Вишневский поставил своего рода рекорд, его юмористические однострочки завоевали различные популярные издания, эстраду и телевидение.

Возможности моностиха явно не исчерпаны. В последнее время в различных изданиях всё чаще появляются моностихи разных авторов. Среди множества удачных и полуудачных строк явно выделяются своей оригинальностью циклы живших в Германии поэтов Ры Никоновой и Сергея Сигея. Приведу несколько примеров.

### ***Ры Никонова***

\* \* \*

Будь сама себе Египет

\* \* \*

Мне хочется Ц в букве Ц

\* \* \*

Рис рисования искует

\* \* \*

Рыдама дыма

\* \* \*

Тёмен свет белый



## ***Сергей Сигей***

\*\*\*

Гусеница синееет гусем

\*\*\*

Злее злого лого льда

\*\*\*

и собошь боле боль со

Выдающийся филолог М. А. Гаспаров в свое время писал об одностроках: «...Такие «стихи» возможны только в культуре с развитой поэтической традицией».

Нет сомнений, что эта традиция в русской культуре существует. Русский однострок уже проявился и на международном горизонте. В 1999 году известный швейцарский славист, поэт и переводчик Феликс Филипп Ингольд издал на русском и немецком антологию современного русского однострока.

Представленные примеры из разных авторов демонстрируют различные подходы к этой поэтической форме и обнаруживают, конечно, точки пересечения. Одностроки, словно параллельные из геометрии Лобачевского, пересекаются в пространстве. Можно сказать и иначе – одинокая строка – это линия горизонта, которая всё время отдаляется по мере приближения к ней.

И в заключение – небольшая подборка одностроков разных лет и разных авторов.

## ***Даниил Хармс***

За дам по задам задам.

## ***Ян Сатуновский***

Главное иметь нахальство знать, что это стихи.

## ***Роман Солнцев***

Ушла – надкушенное яблоко чернеет...





---

# Марина Гершенович

---

## *Осенний мотив*

В переулке пустом, мешковатом, дождями промытом,  
колокольное эхо гремит, словно прачка корытом.  
Беспокойный октябрь простыню на балконе полощет.  
Новый слог время года диктует – короче и проще.

Не крыло, а весло пригодится в такую погоду.  
Опечалился булочник Ганс, нету в лавке народу.  
Смотрит Грета в окно неизменно мечтательным взглядом.  
Не видать жениха, а осенние сумерки рядом.

Замыкается круг, ибо нет над судьбой нашей власти  
за границей любви, за пределом обугленной страсти.  
И какой-то мотив неприкаянный душу тревожит  
и с ненастной погодой роднит, да утешить не может.

## *Написанное на обороте бланка для загранпаспорта*

Не зная плана улицы своей,  
страны не зная, правящих в ней партий,  
не доверяя типографской карте,  
но – собственной судьбе и только ей,  
возьмешь билет плацкартный, как всегда  
рискуя перепутать время, место,  
и переменишь жизнь, и это вместо  
того, что было до...

И всё же, да,  
оглянешься и, сдерживая шаг,  
переведёшь дыхание, так надо,  
иначе пульса тёмная цикада  
зальётся, голос разума глуша ...  
Оглянешься, и что увидишь ты?  
Скрещение двух сил неистребимых:  
желание познать своих любимых  
и ужас абсолютной темноты.

### **Учитель**

Ты мне говорил: не пугайся потери,  
не требуй подарка с чужого плеча.  
Учись, уходя, не захлопывать двери,  
пока не отыщешь в кармане ключа.

Твердил: если надо, иди тёмным лесом,  
но помни с какой ты идёшь стороны.  
И груз в соответствии с собственным весом  
неси, чтобы он не калечил спины.

Не ждал, что усвоим предмет и ответим,  
когда объяснял ты таким же, как я,  
гонимым судьбой, непоседливым детям  
основы любви и закон бытия.

Мы встали и вышли – из дома, из плена  
в свободу распахнутых настежь дверей,  
уже понимая, что память нетленна  
и груз неподъёмен своих якорей,

что мир неизведан, а стороны света  
запомнить легко, если их полюбить,  
что время не даст нам прямого ответа,  
пока мы не выберем твёрдое: быть.

Мы встали и вышли, и некая сила  
сродни сквозняку или ветру в трубе  
щемящую нотой во след голосила  
по дому, по времени, и по тебе....

### **Отцу**

Ты звал меня?  
Ты снова звал меня.  
Под утро звук любой способен сбыться.  
Побить одной мне не хватило дня,  
а по ночам мне ничего не снится.

Я вслушиваюсь в эхо... Говори!  
Ещё раз повтори слова простые,  
что говорил не раз мне, повтори,  
что день прошёл, что щи давно простыли,  
что снег идёт уже вторую ночь,  
и старый друг давно тебе не пишет,  
что ты устал, и собственная дочь  
тебя в соседней комнате не слышит...

В такой на редкость странной тишине  
я вслушиваюсь, не перебивая,  
в слова, когда-то сказанные мне,  
вот только голос, голос забываю.

### ***Без названия***

посвящается Салоникам

В каком-то городе с названием интересным  
в чужом краю, на диалекте местном,  
пока ты грусть под сердцем пеленала,  
звучала песня, – ты её узнала,  
и в благодарность обретенью света,  
ты вторила мелодии куплета...

Звенел фонтан, цвели сирень и слива,  
день отражался в зеркале Залива,  
над древним Храмом голуби кружили,  
и мне казалось, мы всегда здесь жили.  
Родившись в этом месте безымянном,  
мы были чем-то вечным, постоянным,  
то исчезая, то являясь снова,  
мы были частью музыки и слова.  
Как две души, свободные от боли,  
не знающие смерти и неволи.

## ***Первое января***

*Экспромт*

Шёл мокрый снег в седьмом часу,  
под сердцем пели канарейки.  
И черти ели колбасу  
у ресторана на скамейке.  
Ты спал на кресле, как сурок,  
я тоже, рядом примостившись.  
Уснули все, наевшись впрок,  
мы все уснули, впрок напившись.

Безумный день календаря  
на блюдо выложен с гарниром..  
Что делать с 1-м января?  
Пропаший день, покойся с миром.

Быть может, через много лет,  
в конце пути, читая свитки,  
я молча вытащу на свет  
свои нехитрые пожитки.  
В шкатулке, отданной под лень,  
найду лишь то, что там осталось.

Я извлеку пропаший день.  
И этот день продлит мне старость  
1.01.2016

## ***Из затакта***

Я многих тварей повидала  
на своём веку;  
и Икара, и Дедала  
и других «куку»,  
и коня в избе горящей,  
и коня в пальто;  
тварей много настоящих  
знаю, как никто.  
Я любила тварей многих,  
годы что вода;  
больше всех – четвероногих.  
Нет от них вреда.

## Из Генриха Гейне

### *Лорелея*

Я в толк не возьму, отчего же  
печалию горькой пленён?  
опять моё сердце тревожит  
предание давних времён.

Свежо в предвечерней прохладе,  
и Рейн так спокоен и тих.  
Вершина горы на закате  
сияет в лучах золотых.

Красавица, взгляд привлекая,  
на этой вершине сидит.  
Её ожерелье сверкает,  
и песня над миром летит.

В руках её гребень мелькает  
и золото льётся волос.  
А песня при этом такая,  
что сердце от боли зашлось.

Мелодией этой свободной  
был юный моряк увлечён.  
Он риф не заметил подводный,  
на гибель плывёт его чёлн.

Погубит волна, не жалея,  
и судно, и жизнь моряка.  
Виною тому Лорелея,  
зовущая издалека.

---

# Павел Грушко

---

## **Весы**

*Кубинскому поэту Элисео Диего.*

Всё крошится, всё клонится к нолю,  
то разрастётся, то увянет снова,  
а я – дитя неведомого зова –  
зачем родился, мыслю и люблю?

Попав неожиданно в эту колею,  
где я останусь муравьём былого,  
быть может, я вмещу в облатку слова  
небесный звук – и тем себя продлю?

На плахе жизни, в торопливой смене  
поспешных жестов и обыкновений  
молчишь. Но вдруг, в качанье вечных чаш,

на неустанном этом коромысле  
забьётся слово, тёплый ответ мысли,  
разумный звук, застенчивая блажь.  
1970

## **Переводы с испанского**

### **Луис де Гонгора-и-Арготе (1561–1627)**

#### ***Бренная роза***

Родившись ныне, завтра ты умрёшь.  
Неужто свет – для жизни столь мгновенной?  
Сияние – для участи столь брэнной?  
А пышность эта – чтоб уважить нож?

Прекрасная, на веру ты берёшь  
то, что чревато суетою тленной.  
О, как безвременно красу Вселенной  
смертельная пронизывает дрожь!

Уже ты жертвой стала грубой длани  
в обдуманном Природой злодеянье,  
уже ты в бездну смрадную летишь.

Не расцветай – вблизи тиран таится,  
во имя жизни – не спеши родиться,  
спеша родиться, – умереть спешишь.

### **Франсиско де Кеведо (1580–1645)**

#### ***О краткости жизни и о том, насколько ничтожным кажется прожитое***

Кто скажет, что такое жизнь?.. Молчат!  
Оглядываю лет моих пожитки,  
истаяли времён счастливых слитки,  
сгорели дни мои – остался чад.

Зачем сосуд часов моих почат?  
Здоровье, возраст – тоньше тонкой нитки,  
избыта жизнь, прожитое – в избытке,  
в душе моей все бедствия кричат!

Вчера ушло, а Завтра не настало,  
Сегодня мчать в Былое не устало.  
Кто я?.. Дон Был, Дон Буду, Дон Истлел...

Вчера, Сегодня, Завтра, – в них едины  
пелёнки и посмертные холстины.  
Наследовать успенье мой удел.

### **Федерико Гарсиа Лорка (1898–1936)**

\* \* \*

Я знаю: облик мой поблёкнет в иле  
на берегу, спелёнатом тенями.  
В бессонной непорочной амальгаме  
иссякнет пульс лишь мне присущей были.



Хотя я телом был свежее лилий,  
а гибкостью поспорить мог с вьюнками,  
мой облик будет заметён песками,  
безмолвными столетьями рептилий.

Язык, сведённый горечью полыни,  
забудет терпкий вкус земных мгновений,  
как голубь, онемевший в зимней стыни.

Но я останусь в робком мановенье  
бесплодной ветки, в скорбном георгине, –  
свободный знак былых обыкновений.

### **Мигель Эрнандес (1910–1942)**

\* \* \*

Глаза мои без глаз твоих пустынны  
они – два муравейника разъятых,  
а руки-ветви без твоих, крылатых,  
мертвы, как две сухие хворостины.

Пригубив робко губ твоих рубины,  
я благовещу в сладостных набатах,  
а нет тебя – в желаниях распятых  
я тёрн рашу там, где росли жасмины.

Я глохну, если ты хранишь молчанье,  
и путь мой без твоей звезды не сладок,  
я без тебя безмолвен, как мертвец.

Повсюду я ловлю твоё дыханье,  
твоих следов забытый отпечаток –  
в тебе его начало и конец.

## Антонио Мачадо (1875–1939)

\* \* \*

О свет Севильи – мой родной чертог,  
фонтан, чья песня в памяти не смолкла...  
Отец мой в кабинете: эспаньолка,  
усы прямые, чистый лоб высок.

Ещё он молод. Пишет, а порою  
листает книги, думает... Встаёт,  
идёт к ограде сада. Сам с собою  
о чём-то говорит, потом поёт.

Похоже, будто взгляд его сейчас,  
тревожный взгляд больших отцовских глаз,  
опоры не найдя, в пространстве бродит –  
в грядущее течёт сквозь глубину  
былого – и во времени находит  
моих волос сыновних седину!

## Пабло Неруда (1904–1973)

\* \* \*

Моя дурнушка, ты растрёпанный каштан.  
Моя красавица, ты свежий вешний ветер!  
Твой рот, дурнушка, чересчур велик.  
Красавица, твой рот – арбуза слаще!

Невелики твои, дурнушка, груди –  
они не больше двух горстей пшеницы.  
А я хотел бы видеть две луны,  
две неприступные большие башни!

Дурнушка, ногти ты купила не у моря.  
Моя красавица, я сосчитал все звёзды,  
все волны тела твоего и все цветы!

Люблю, дурнушка, стан твой золочёный.  
Моя красавица, люблю твои морщинки.  
Любовь, люблю в тебе и свет и тень!

## Хорхе Луис Борхес (1899–1986)

### *Ослепший*

*Мариане Грондоне*

Навечно он лишён земных обличий  
и лиц, чьи не меняются черты,  
нет близких улиц, всё за три версты,  
нет некогда бездонной сферы птичьей.

От книг ему остался только вид  
того, что память – этот род забвенья –  
удерживает в форме оглавления,  
являя вместо смысла алфавит.

Неверный шаг – и падаешь куда-то,  
от уровней различных спасу нет...  
Так робким узником сонливых лет  
живу я без рассвета и заката.

Сплошная ночь. И ни души. Лишь стих –  
ваятель беспросветных дней моих.

## Хосе Лесама Лима (1910–1976)

### *Ночная рыба*

Свет рыбы меркнет, – тёмный бой угас.  
Уже всей ночью пасть начинена.  
Пылает чешуя, но и она  
теряет свой серебряный окрас.

Уже разъят чешуйчатый атлас  
янтарным светом жаберного дна,  
но выщела и эта желтизна,  
зрачок холодный отпускает нас.

Рывок, и взгляд, отяжелённый мглой,  
распавшись, источает свет гнилой,  
и этот свет, не вытлевший пока,

за собственным источником следит,  
но пена сна – уже не возродит  
упругой траектории прыжка.

## **Элисео Диего (1920–1994)**

### ***Главный знак зодиака***

Владыка мира, вот и ты возник  
среди богов, предметов и животных.  
Двенадцать знаков, стрелок быстролётных,  
нацелены в тебя. Всего лишь миг

сияет твой неповторимый лик,  
но сколько пламени, и мук бессчётных,  
и стонов смертных в сумерках бесплотных,  
хотя так хрупок ты и невелик.

И всё-таки ты главное творенье  
на этой карте, самый центр порядка,  
все смотрят на тебя, хотят помочь.

Стремительное, беглое горенье,  
мерцаньем сна ты озаряешь кратко  
слепую, вечно длящуюся ночь.

---

# Борис Колымагин

---

## Японский след в поэзии андеграунда

Эссе

В статье рассматривается влияние японской культуры на неподцензурную поэзию. В андеграунде мы видим попытки двинуться в сторону освоения внутренних особенностей традиционной японской литературы. Однако большинство авторов, затрагивавших японскую тему, ограничились «следами», использованием японских мотивов в своих модернистских проектах. Поэтические опыты Михаила Файнермана, Вилена Барского, Геннадия Айги, Анны Альчук и других авторов свидетельствуют о том, что литература страны Восходящего солнца в определенной мере повлияла на современную русскую поэзию.

В 1950-е годы Вера Маркова и Анна Глушкина познакомили советских людей с классической японской поэзией. В сознании читателей многих поколений образ страны Восходящего солнца был неразрывно связан с замечательной книжечкой в красной обложке под названием «Японская поэзия».

При этом Маркова не только отбирала стихи, которые могли бы органично войти в русский язык, но и создала уникальные подражания японской миниатюре. Например, стихи 1979 года:

Охапка осенних листьев.  
С чем ты тягаешься, книга, книга?

Во многом благодаря просветительской деятельности Марковой андеграунд воспринял некоторые мотивы и стилистические особенности японской литературы. В то время, когда в официозе шла дискуссия о верлибре и о праве его на существование, неофициальные авторы присматривались к традициям далекой страны, пробовали одеть свободный стих в восточные одежды.

Стоит, наверное, сразу сказать, что экзотика в чистом виде мало интересовала неофициальных поэтов. Народные поверья и легенды о небесных феях, оборотнях, речных духах, эликсире бессмертия и монахах-волшебниках волновали их гораздо меньше, чем речевая походка, конструктивные особенности стиха и ментальность нашего дальневосточного соседа.

Если брать тематический план, то он крайне беден. В солидной антологии «Самиздат века» мы не найдем и десятка стихотворений на интересующую

нас тему. Там же, где она появляется, всё достаточно просто и небогато.

Вот, скажем, Владлен Гаврильчик в 1967 году пытается сопрячь сакральное и сексуальное, но это чисто условное сопряжение:

Японский бог, благословляя землю,  
Кругом рассыпал вишен лепестки,  
Я изумленный, радостно приемаю  
Твоих грудей невинные соски.

Поэт поёт песню любви, которая для него так же прекрасна и таинственна, как и японский бог, который снова появляется в конце стихотворения.

Но кто это божество? Какое место занимает в пантеоне синтоизма? Автора это не интересует, поскольку стихи посвящены «таинству грудей», а не религии. И заморское божество с его лепестками играет второстепенную роль: оно служит созданию атмосферы радостной телесности.

Вот стихотворение Константина Левина «У старого восточного поэта», написанное в начале 1980-х. Говоря о харакири, автор сравнивает себя с самураем. Стихи не обременены сложными ассоциациями, отсылками, например, к французской киноленте «Самурай» с Аленом Делоном в главной роли. Они просто крепко сколочены и держатся на пафосе и сильном жесте:

О харакири варварская сущность,  
Гордыня, злоба, мужество и спесь.  
Но с чем я против них, убогий, сунусь,  
Нестрогий весь, перегоревший весь?

Более изощрённо действует Елена Кацуба в стихотворении «Вариация на восточную тему» 1978 года. Она решила придать японскому богу домашние черты, что характерно для синтоизма. Божок у нее получился весьма симпатичный. Пикантность в том, что он оказался вовлечённым во вполне авангардную по духу стиховую игру:

По ступеням  
стук – стук  
по дорожке  
шлёп – шлёп  
деревянные сандалии  
японского бога  
На его ноге-скамеечке

сидит маленькая девочка  
тростниковые ладошки  
хлоп – хлоп...

Игровая стихия способствует появлению персонажей из далёкой страны. Дмитрий Александрович Пригов, написавший о Японии в постсоветские годы отдельную книгу, в советское время разрешил своему лирическому герою поиграть с географией и с историей:

В Японии я б был Катулл  
А в Риме – чистым Хоккусаем  
А вот в России я тот самый  
Что вот в Японии – Катулл  
А в Риме чистым Хоккусаем  
Был бы

Из поэтов, по-настоящему увлекавшихся Японией, выделяется Михаил Файнерман. В его стихах много тонкой наблюдательности. Файнермана, как автора-минималиста, интересуют «короткие японские песни». Он пишет немало пятистиший и трёхстиший, которые отсылают нас к танка и хокку. Для передачи последней поэт прибегает и к четверостишиям. Здесь он оглядывается на опыт американцев и англичан, которые порой укладывают хокку и хайку в четыре строки. Долгое время Файнерман штудировал книги Судзуки по-английски и вслед за ним устремился в мир феноменов:

Осенний ветер!  
даже тень горы  
перед ним трепещет  
(перевод стихотворения Иссы).

Дзен-буддизм Файнермана лежит в плоскости графики, а не парадоксов. Его описание простых вещей, минимальных в смысле развёртывания сюжета и заполняемости пространства несет в себе огромное напряжение. Стихи-вспышки открывают простор:

Стая за стаей  
птицы на север летят  
на север, домой.

Простор не возникает по способу нагромождения вещей, их перечисления.



Да, наш глаз в момент вспышки способен выхватить отдельные предметы: покосившийся сарай, стог сена, изгородь и дуб на повороте. Но они размазаны в пространстве и подчинены общему настроению. Простор открывается «вдруг», в один миг.

Миг длится вполне ощутимое время – от вспышки молнии до удара гро-ма. Это время свободы. Стих говорит о просторе благодаря своей природе. Однако мы не можем безмятежно любоваться открывшейся картиной, потому что всё внимание переключено на ожидание новой молнии.

Когда вы сознаете, что всё сущее есть вспышка в бесконечной вселенной, вы делаетесь сильными, и ваше существование обретает глубокий смысл, рассуждал Судзуки. Молния, по мысли знатока дзена, сродни просветлению. Человек учится жить в пустом тёмном небе. И хотя здесь вспыхивают молнии, они не могут нарушить его покоя: «Даже если появляется вспышка просветления, в нашей практике мы вовсе забываем о ней. И тогда мы готовы к новому просветлению. Нам необходимо испытывать просветление одно за другим, по возможности миг за мигом».

«Японские» стихи автора андеграунда транслируют нам на поэтическом языке идеи Судзуки. Его «я» – тёмное небо – обретает устойчивость в пустоте. Оно живёт просветлением. Стих-вспышка создаёт переживание, которое не вписывается в горизонты нашего мира. Воспоминание о нем может греть нас всю жизнь.

В то же время поэт не отказывается полностью от своего «я», как того требует дзен-буддизм, и строит новую субъективность на основе сведения лирического героя к ландшафту.

Интересно, что скрытые японские мотивы Файнермана иногда становятся хорошо заметными. Например, в стихотворении:

Моя собака  
не знает покоя,  
ходит из комнаты в кухню:  
»Ину га катэ мо» –  
«Ину га китэ мо», –  
поправляет она меня,  
я ошибся.

Всё трехстишие звучит так:

Ину га китэ мо  
доната зо то Мосу  
фусума кана

и значит примерно вот что:

Кто там? – спрашиваю я  
из-под своего одеяла,  
даже когда наша собака входит.  
(Кобаяси Исса).

Для поэта, осваивающего японскую культуру, всё-таки важно знать некоторые основы языка оригинала. Конечно, настоящим знанием японского могут обладать немногие. Но есть колоссальная разница между полным незнанием языка и пусть весьма неполным, фрагментарным, но всё-таки знанием, которое позволяет смотреть на переводы другими глазами. Просто, когда мы начинаем чувствовать, как соединяются слова, мы начинаем видеть красоту и игру. Мы начинаем понимать, какая краткость, какая сжатость присуща поэтическим текстам в подлиннике.

Файнерман в приведённом тексте позволяет читателю «потрогать» язык оригинала, почувствовать, как он движется. Изменение одной буквы в русской транскрипции, одного иероглифа, приводит к парадоксальным поэтическим фразам. И мы можем фиксировать это не в длинных примечаниях, а в процессе чтения, в контексте живой речи.

Если Файнермана интересовала духовная сущность литературы страны Восходящего солнца, то киевлянина Вилена Барского привлекли формальные вещи. Наверное, как и многие другие неофициальные поэты, он прекрасно знал, что в японской миниатюре много омонимов, игры слов, каламбуров. Но предпочёл отбросить всё это за ненадобностью.

Барский плывет по волнам конструктивизма. Его анаграммы выводят простые вещи в область высокой поэзии. И сами они – часть речи. Поэзия возникает благодаря повторам с незначительными фонетическими сдвигами. Местоимения погружают нас в мир речевой спонтанности. Они возникают как неразложимые частички слова, как морфемы. Они «проступают вещь». Играя этими вещами, поэт создает свои прямоугольнички, свои конструкции. Вот его танка:

сёдато  
дасёто  
тосёда  
датосё  
сётода

А вот хокку:

тёдасо  
тадосё  
тодёса

Так языковые частички стали японским следом русской поэзии.

Следы Барского хорошо видны на русской снежной равнине. Но есть в андеграунде и такие, которые занесены, совсем незаметны. И, тем не менее, игнорировать их не стоит.

К таким занесенным следам можно отнести поэзию Всеволода Некрасова, у которого нет японских сюжетов и которого, однако, Иван Ахметьев однажды назвал «русским японцем». Почему?

Японцы, как говорят знатоки, гораздо меньше думают абстрактными терминами, у них всё куда более конкретно. И поэзия хайку очень конкретна. Это своеобразное увеличительное стекло, направленное на данный момент, на данную вещь, на данную ситуацию. Японские миниатюры, как отмечает переводчица Соколова-Делюсина, связаны с повседневной жизнью, они всегда чутко реагируют на изменения повседневности.

В стихах Некрасова живёт похожий конкретизм, дополненный многослойностью и музыкальностью особого рода. Если мы сравним его тексты со стихами Холина, то увидим разницу. Никому и в голову не придет искать связь между «барачной» и японской поэзией. А здесь, у Некрасова – формально трудно схватить, но на интуитивном уровне ясно: вот оно, то самое. Фраза выскакивает из повседневности и застывает во времени. Вернее, так: речь фиксирует время и культуру. И сигнализирует о том, что две культуры не так уж далеки друг от друга, как принято считать.

Об этом свидетельствуют, например, листовертни Дмитрия Авалиани. Его опусы – и иероглифы, и визуальная поэзия, и парадоксы дзена одновременно. Не случайно, когда пал железный занавес, японские документалисты приезжали на дачу к поэту и снимали о нём фильм.

Интересно, что Авалиани записывал свои граффити не только на листах бумаги, но и на свитках, на чашках и блюдах. В этом смысле он, как и японские художники, осваивал разные материалы. Делал надписи даже на ширмах.

Конкретизм и минимализм, шагавшие семимильными шагами по страницам самиздата, сделали японскую миниатюру частью русского поэтического пейзажа. Когда, скажем, Иван Ахметьев писал: «ворон каркает/одинокий простор равнины», он, возможно, не задумывался о связи своего

стиха с монохромным стихом-рисунком Басё о вороне (в переводе Веры Марковой): «На голой ветке / ворон сидит одиноко. / Осенний вечер»).

Но рисунок, который выводил русский поэт, стыковался с тем, что делал классик далекой страны.

В других минималистских текстах Ахметьев задирист, динамичен, диалогичен. Его лирическое «Я» присутствует всюду. А тут раз – и растворилось. И автор смиренно признает:

больше всего увидишь  
если замрёшь на одном месте  
на зиму  
лето  
ночь  
день  
как старый чемодан на балконе

Говоря о занесённых следах, нельзя пройти мимо Геннадия Айги. У него, как и у Некрасова, трудно найти японские мотивы. Но они спрятаны буквально всюду, стоит только разгрести сугробы.

Взять хотя бы его тексты на грани стиха и прозы, вроде «Стихи друга – теперь – без него (Памяти Антуана Витеза)». Прочитаем несколько фраз: «И – видится мне эта поэзия: словно ровная – белая (белоснежная) – равнина: просто – во тьме – пребыванием своим – «говорит» – (да хотя бы и «небу») – грустью, мерцанием, безмолвием...

Поэт предложил нам медленное, медитативное чтение, погружение в себя и в мир одновременно. Язык не автоматичен, не задан. Штампы, вроде «говорит небу», нуждаются в переосмыслении, и они переосмысливаются прямо в тексте. Поэзия живёт в языке путём пауз, тире.

Довольно часто вставленные в японскую прозу поэтические миниатюры оказываются моментом тишины. Они играют своеобразную роль тире. Впрочем, бывает и иначе. В «Повести о Гэндзи» мы видим, как поэзия держит весь роман и к ней обращаются постоянно самые разные персонажи. Проза становится как бы обрамлением драгоценного камня – поэтического текста. В критических заметках Айги мы тоже можем отыскать что-то подобное. Так что поэт примерил разные одежды бытования стиха в прозе.

Японский след в контексте творчества Айги подразумевает какое-то непопадание в реальность, некий сюр. Японская культура создает зазоры между словом и описанием. Мы как бы всегда догоняем и не можем

догнать мысль японского художника. И поэтому на заднем плане порой маячит вопрос: что происходит?

Богаты японскими реминисценциями короткие стихи Айги, особенно его одностишия. След возникает там, где наш автор стремится извлечь из живой речи отдельный образ, чтобы взглядеться в него и в стоящую за ним жизненную реальность или ситуацию.

Интересно, что некоторые моностихи Айги можно трансформировать в хокку. Например, однострок

«Осень: Туман»:

падают птицы улетают листья на юг

легко переводится в трёхстишие. Заголовок становится первой строкой, а играющие между собой слова выстраиваются в два простых предложения: птицы улетают на юг, падают листья. Это пример того, как стих, меняя форму, перерастает в банальность, редуцирует. Хотя это совсем не обязательно.

Любопытно, что японские пятистишия – танка – записывали в оригинале в одну строку, но интонационные группы при этом чётко выделялись.

Одинокая строка – это линия горизонта, которая всё время отдаляется по мере приближения к ней. Мы не в состоянии оказаться внутри неё. Можно оказаться за краем света, в другом измерении. Но постоять внутри заветной черты не удастся.

Эту ускользящую линию можно сравнить с незримой чертой, которую мы пересекаем, когда выходим из автобуса. Нам приходится сделать длинный шаг и ступить с площадки перед выходом на асфальт. Иногда приходится делать не один, а три шажка по ступенькам: всё зависит от конструкции автобуса. Эти шажки – движение до горизонта. И большой шажок – новая земля, мы за горизонтом.

Маленькие шажки заложены в конструкцию транспортного средства. Ступеньки можно сделать по-разному. А вот геометрия остановки от создателя автобуса не зависит. Над ней работали другие люди. И совсем недоступна нам линия между двумя территориями: мы обречены её всегда переступить.

Не знаю, стоит ли сопрягать поэтические интуиции, направленные внутрь черты, с японским следом. Но читая, например, моностихи Ры Никоновой «Мне хочется Ц в букве Ц» и Владимира Эрля «як ык», какие-то ассоциации возникают.

Тем более что они имеют продолжение в постсоветское время и уже напрямую завязаны на японскую тему. Я имею в виду, прежде

всего, хоккусерию Сергея Бирюкова. Стихи органично продолжают то, что делалось в подполье. Правда, игры стало гораздо больше.

Пример потенциального свёртывания являет собой трехстишие:

юг  
ог  
эг

или такая его миниатюра:

кто же слоги  
соблюдает  
в хайку

Японские мотивы Бирюкова завязаны на звукоподражании и ретроавангарде:

токио тикает  
токио токио  
окиет окает  
токи о токи...

Своим творчеством автор как бы иллюстрирует утверждение Алексея Кручёных: «Поэт зависит от своего голоса и горла».

Поэты андеграунда продолжали японскую тему и в перестроечное время. Так, Константин Кедров написал стихи, посвящённые чайной церемонии:

я всего лишь  
необы-  
чайный домик  
где чай не пьют  
но ле-  
тают  
от чая к чаю  
аро-  
матовый  
па-  
рок у рта  
иероглиф чая

А Анна Альчук создала немало текстов, в которых видеоряд стыкуется с медитативными практиками дзена:

дым камней...  
виноградин своды озарены  
отвесной музыкой арки.

К текстам Альчук органично подвёрстываются короткие стихи Натальи Азаровой, во всех них есть своя изюминка. Интересен их совместный проект «57577», в котором две женщины в поисках языка для диалога обратились к танка и даже назвали книгу по числу характеризующих японскую миниатюру слогов.

Азарова и Альчук ведут стихотворную переписку друг с другом. Каждое стихотворение иллюстрируется либо фотографией, либо графической работой. Сами стихи визуальны: огромную роль в них играют синтаксис и шрифты. Изображение «звучит» соседствующим с ним текстом, а текст «дышит» изображением, хотя снимки лишь косвенно соотносятся с посланиями. Если учесть возникающие ради цифр 57577 дополнительные слоги, возникающие просто так, ради формы, то мы окажемся в пространстве свободного «рисования-говорения». Стихотворения живут, двигаются в сторону тире, линии. В них много музыки и игры. Они удивительно прозрачны:

если у моря  
остались наши следы  
если на солнце  
взле-тая блеснули рыбы  
  
скоро-рас-сеет-ся-сон

В предисловии к книге Альчук признавалась, что ей нравится обычай хэйанской элиты писать письма друзьям и возлюбленным. Аристократы следовали своему желанию поделиться с близким человеком ярким впечатлением или мыслью и создали немало замечательных произведений.

Но в отличие от хэйанских времен в наше время мало поэтов, способных поддерживать качество стиха. Проблема поэтических стоп-кадров обнажилась со всей остротой в непрофессиональной поэзии. Японские «фотки в слове» оказались настроенными на волну ЖЖ, фейсбука: в них оказалось много необязательного, пустого – лишние слова, тусклые краски...



Герман Лукомников, дабы избавиться от балласта, на рубеже тысячелетий «дописал» хокку в издевательском, скоморошьем стиле. Вот, скажем, как звучит его Басё:

А я – человек простой!  
Только вьюнок расцветает,  
Ем свой утренний рис –  
И в окно улетаю...

После стихов Лукомникова невозможно на полном серьёзе брать кисти и тушь, и рисовать, рисовать, рисовать. Невозможно работать, «следуя кисти» (так называется особый стиль в японской литературе). К рисункам нужно что-то добавлять из области новой поэтики, как сделали это Альчук и Азарова.

Стихотворение Александра Скидана (1996 год) демонстрирует это со всей очевидностью:

Японец снимает японку видеокамерой: она  
несколько смущена, ровно настолько, насколько знает –  
другой вторгается в интимную  
сцену. Другой? Другое.

Поэт использует эффект картины в картине. Полотно не висит высоко, оно находится на уровне наших глаз: мы можем легко оказаться внутри рамки. Стих движется от наблюдения к умозаключению, причём слово «другой» имеет и гендерное, и философское измерение. Япония в скидановском стихотворении предстаёт просто как далёкая страна, ничем особенным не выделяющаяся. Видеокамера это обстоятельство только подчёркивает: мир стал глобальным. Вместо японца может появиться китаец, кореец, якут. Понимание ускользает, «понимающее расположение» (воспользуемся языком Хайдеггера) не находит себе достойного места. Минимализм и конкретизм, увы, уже не подпитывают японскую тему, хотя стихи напрямую связаны и с тем, и с другим. И это противоречие «держит» картину.

Японская тема сегодня – это особый разговор. Путешествия, фильмы, книги, культурный обмен, безусловно, способствуют её продолжению. Но она нуждается в смене поэтической походки. Немаловажно, что неофициальные советские авторы не имели возможности познакомиться с современной им японской поэзией и использовать её наработки в

своей практике. Теперь эта возможность появилась. Репрезентативный сборник «Гэндэйси: Антология послевоенной японской поэзии» показывает нам литературную традицию нашего дальневосточного соседа в момент перелома, во время освоения поэтами опыта западноевропейского модернизма.

В заключении заметим, что куда бы ни двинулась современная русская литература в поисках своей Японии, японский след андеграунда будет, безусловно, влиять на происходящее. Не исключено, что он подскажет заинтересованным авторам правильное направление пути.

---

# Анатолий Кудрявицкий

---

## Из цикла «Книга гиммиков, или Приключения слов»

### *Выбор малых*

Лилипуты поклонялись Ноге. Следуя прихотливым узорам шнурков, некоторым удавалось высфериться, но дело не стоило хлопот, потому что на ещё большую высоту мог их забросить снисходительный пинок. В конце же мелко нашинкованного отрезка времени скатывалось за горизонт Солнце, свистел височный ветер – и начиналось падение тел в межтравное пространство, столь хорошо освоенное непослушными чадами имевшего протоотцовские очертания грязноподошвенного Сапога.

### *Равновесие гласных и безгласных*

Бабр брал на цугундер, Бибр отдавал зеркально – зерном и лыком. И всё было бы окейдок, если бы не писанные на лёгком воздухе правила земли Обр, где ось мироздания торчит на каждом дворе – и оргазмически подрагивает, когда на привязанные к ней веревки мокро шлёпаются застиранные до дыр надежды века.

### *Русский театр Но*

Завьюжинский губернатор держал в клетках обезьян, медведей и непослушного инженера. Кормили их жижей из молочного озера. Торопились куда-то дни и ночи; в особенно рыхлом промежутке между ними инженер выбрался, спрятавшись в цистерне жижевоза. В клетку посадили его жену, питавшуюся сеном и собственным грудным молоком. Вскоре её освободили, в надежде, что она приведёт подглядывающих прямо к беглецу. Однако она отказалась покидать клетку, заявив, что здесь ей является муж, в виде быка, и что коротать время с призраком лучше, чем жить в одиночестве. О дальнейшем история умалчивает. Известно лишь, что в комнате охраны были найдены заскорузные бычьи рога, а жена инженера вскоре родила двух медвежат с очень обезьяньими чертами морды.

### *Башенное*

Вавилонская башня сквозит створчато, суховеем. Всё выше строят руконоги в замозолившихся фартуках. Вот уже птицеперья вцарапываются в трахеи, и воздух кнутом щёлк. Всё выше вьсь, а неба нет как нет.

Всё тише тишина земли. У бесконечной книги нет начала, у высокоцеля – фундамента, есть лишь плотно застроенная чёрная дыра. На верхотопе же имеется поликратово окошко, откуда можно выперстниться рыбкой в бултых забытомыслия.

### **Скрёбонеб**

*Аппаратчик за ухом.  
Ян Каплинский*

Аппаратчик за ухом, референт во рту... И хрустоколенно восстаёт торс, остекляется, все взгляды зеркалит, в себя ничего. Сверху колпак, ниже подколпачная глухота, кабинетная, дубовая. Снаружи пустота – непейзаж, непортрет, многооконые. Лифты считают люфты. Трубы зевают. Кривится подъездная пасть... А говорят, когда-то здесь лужайка лужилась небоотражательно.

### **Организменное**

Человек, который был печенью, любил цирк, слонов на трапедии и львов, жонглирующих тушканчиками. Человек, который был почкой, журчал вдольречно, а жил чердачно или подвально. Человек-лёгкие вёл ватные и музейные разговоры и лелеял жаберные воспоминания. Человек-сердце иногда собирал вместе всю голокожую компанию и пускал дымоватый намёк на то, что все они, в сущности, один организм, на что ответом была иронический скляк стаканов из-за стойки пустотелого бара, над которым нависал усопопый портрет идиота, известного полиции как человек-мозг.

### **Первая нелюбовь**

В поле – косами до ночи, потом – устало – до тишины, до кузнечика в ушах. «В каше косой, басом босой!» – говорила бабушка разума. Пели полюции. Леандр олелил Олю до полного олеандра. Но пятнадцать – это не возраст, и герой ненаставшего времени ходил шахматным конём, этским ботвинником – смысловато. Тем временем безрукавная рука уже начала продвигать маленькие кучковатые пешки, которые потом обязательно сгрудятся неживой преградой в пока ещё зияющем узкоместе.

### **Час оленя**

Зеленеют млистья, крылятся почки на рогах. Олень-головотряс, веселень, рога – мысли древа. Козочки вслед тонконого, горячеглазо. Жарок лизык, крепок струй. Суковато молчат шептатели, солнечно корона оленебога в полдень светловесны. А в тени торопят время лев, волк и змея, часождатели.

### **Самомучо**

«Бесаме мучо» – мучило беса. «Отстойно», – осело в стакане. Остальное было бахромой снега в рождественском стекле, индейкой про-тоамериканского обеда, программой безмолвного концерта. «На Истре искреннее, в стране странное», – чревовещали щели. Но внимание не обращало, дело не деловое, слово не вымолв...

### **Этюд в серо-зелёных тонах с выкриками алого**

– Безотрадно, – трубил диплодок.

– Антинародный у нас народ, – соглашались ящеры поменьше.

Каменный пейзаж смягчали папоротники, умело скрывавшие, кто кого приобщал к желудочному соку своего нутра. И только утробный рёв, временами продубинивавшийся сквозь мускулистые сплетения ветвей, повествовал о сытости саблезубых и о святости травоядных.

### **Прежде недоописанное**

Перепел свои кричалки, перечитал чёрное. Тем временем мир повернулся к нему склизким полузабытым. «Гр-ру», – сгрудились гуру. Лошади бессмысла слышали «Тпр-ру», – и всё застыло. Однако мир, не совращая внимания с колеи, продолжал скользить маслено, особенно для ухожилых наездников.

### **Довостребованность**

Бедрил портретил Газдрубала. Фантух пальцевал маленького Газдрубала. Гутенморген подвозил Газдрубалу газдрубалово и бесхозово, без сухого остатка. И только воитель Пахучий сидел на мокром месте в паучьем чулане, дул в парфюмерные усы и поштукивал шпинделем по шпонкам некоей бесскелетной куклы, чья гибкость служила круглосуточным при-мером нравственной твёрдости.

### **Всениюхательное**

Белоцерковно, белоцерковно. И куличики на рогах, и двуличики на богах. А Чорторыский с Чистохойским в гляделки из-за гробища, по-хохатывательное. У самих-то безматериально, а в советчики со свечой. Темнотуя, темнотуя... В тутовонной же – ладан всениюхательно, хруст ос и сок кос. Насмех кур. И зяблится над гробищем скажимолость.

### ***Триумвират***

«Вам на костёр», – животил Жеватель. «А вам в тюрьму плясать хурьму», – хренодил Агавк. «А праздноголазым чего надо?» – фальцетил Чегонадо. От них струйно исходил компостный пар, у рваного края обозримой выси свивавшийся в картины гнилоплодов незазеленевшего пока будущего.

### ***Эврика Гаврика***

Наперуз вплыл в зубной канал, Гомоносов перепесочил пляж. «Первостатейно!» – зачмокали шпоны. «Как в Титере! – заклякали литеры. – Во всяком Гавре свой Гаврош». «Булавайо, моё Булавайо», – плеснулась квакодемия, когда её насквозь просапожили Хонки-Дот и его панзы, ряскорвательно чавкавкавшие к внеочередным обжорным жерновам.

### ***Политика науки***

На пастбище эксперимента вывели говорящего волка. Волк вышерстился недоделанный и зубастил всего одну фразу: «Хочу кремлятину. Кремлятину хочу!» И потом закогтил по перекрёсткам рецидивно. А за ним наказки на деревянных лошадаках. А за ними ямы и статуи. А над ними круглозвезды и плоскопланеты – сиятельно. До сих пор зыбится учёная пыль, всё никак не укладывается спать в исторические фестоны.

### ***Хоррор***

Заволосилось небо, замохнатилося. Нечистые ветры друг друга поддувают, благодатное умывают. Ледники выскребаются из холодильников вместе с каменнорыбьем. В луже каждая пиявка – аллигатор, в пруду рыбы-прилипалы и выбросившийся из моря кит. Смердяково и дрожательно. Небо открывается половощелью, оттуда – в твиджаке – вия Вия, гогалящего бессмысленно и бессловесно: «Яснова. Сновая».

### ***Шепоток из редукции***

Редуктор Малзолей был пернатолюб. Его гребень рдел когда к нему подухахтывалась очередная пухлукурочка. Курочки лапописали, редуктор писанное лорнетировал, особенно если ему оголяли потрогать подкрылья. Потоптав стихописку, он зашпоривал её катеринчики на ленту безвременья, уходящую куда-то в околословесную даль, где туман не может надышаться на параднопортреты початных виршеписов.

### ***Осанна саням***

Саннополёт мимо соннопамятников, бронзофонарных львов, толпы деревьев. Не каждая белка летяга, не каждый ветер свистун. Избегать шагающих навстречу домов легче, чем обгонять медленных милиционеров. Пришпоривать полёт ногами легче, чем тормозить головой. Кто попал в снеготалое, летит дальше самолётом или автобусом и приземляется в чужедалье, в свою оценочную стоимость.

### ***Философский калейдоскоп***

Дваждывреку тонул в разливах конкретного, Мокрокобылин выловил его философским крючком. Обсохнув, тонущий очернил точку на белостраничье бытия. Зазеленела звезда. Мокрокобылин вперпендикуляри столб в рыхлоземье и стал дотягиваться до звезды, но обвалился мягким мешком, а потом покаянно отряхивался. Всё это многожды повторялось по требованию зрителей, со сменой ролей после тридесятого представления.

### ***Гиммики***

В косой раме мокрый пейзаж дня. Бабочка в уходящей ввысь спирали света. Люди в квадратах реальности. Гуманоиды в гумусе гиммиков...

– Я так страничил о судьбоносной, что омолодил моё седалище.

– Мне было так половочленно, что я отчопил себе шупальце.

«Следите за своими гиммиками», – глупит тулуп на поднебесном плакате.

В притекающем, арабы гуммиарабика, вино полихлорвинила, лоно полорона... И жизнь склизит куда-то даже и без колёсных гиммиков.

### ***Карма кармана***

В село Буквоедово вселился ляд. Забурели артишоки, заволосилось дыхание. Анимальная аномалия. В головизне грыз, в шерсти чос, в глазах пожары грядущих грабежей. Жадному – кожа планеты, жадному до озарений – её красный жар.

### ***Сцилла и Харибда***

Сцилла любила Харибду, и строитель Сольнес нагромоздил для них дом. Сцилла лаяла от радости, Харибда завернулась винтом внутрь повседневной себя. По утрам пища исправно рапортовала о своем прибытии. Харибда отщупывала аппетитное, омундиренное; Сцилла, зажмурясь, убивала. Холодный погреб не вмещал окровавленную плоть, и Харибда телепатировала параситам – на всякий случай, потому что параситы и так всегда знали.



Так продолжалось до начала конца, когда сгустилась околотологическая эбстановка, жить стало не по-прежнему, и параситам было рукоположено питать себя хоть подводно, хоть подковырни, но напрямую. Наличие же открыто пицелюбивых персонажей отныне дружноотрицалось, что означало, что их кувырком выковыряли подальше от многоглазых, в Тартар.

### ***Наблюдения Гаутамы***

Краб паучился по безоглядному пляжу. Море переплёскивалось с облаками, солнце мерещилось выхухоловой улыбкой. «Идти – не перейти!» – хохотнул со скакуна мимоглазый Крембрюле. «Кто молодец от малых дел?» – морщился двусмысленно Гунгнус-хан. Краб затих, обдумывая себя, но потом опять заголенастился упрямо, процарапываясь сквозь скрепы времени, но уступая вечности в пространстве.

### ***Наблюдения Гаутамы 2***

Верблюд знает геометрию пустыни, пустыня – психологию верблюда. Кактус ведаёт тайные тропы воды, вода – сочное пристанище мякоти. Солнце пробует плавкость планет, планеты – державные игры протуберанцев. Вселенная лелеет объёмы пустоты, но игнорирует мерцающий песок самозародившихся миров.

---

# Вячеслав Куприянов

---

## *Песнь Одиссея*

*Моей жене Наташе Румарчук*

Когда мой корабль причалит к берегу,  
Вместе со мной сойдёт на берег песня,  
Её прежде слушало только море,  
Где она соперничала с зовом сирен.  
В ней будут только влажные гласные звуки,  
Которые так звучат в бледном переводе  
С языка скитаний на язык причала:

Я люблю тебя охрипшим криком морских чаек,  
Клёкотом орлов, летящих на запах печени Прометея,  
Тысячеликим молчаньем морской черепахи,  
Писком кашалота, который хочет быть рёвом,  
Пантомимой, исполненной щупальцами осьминога,  
От которой все водоросли встают дыбом.

Я люблю тебя всем моим телом, вышедшим из моря,  
Всеми его реками, притоками Амазонки и Миссисипи,  
Всеми пустынями, возмнившими себя морями,  
Ты слышишь, как их песок пересыпается в моём пересохшем горле.

Я люблю тебя всем сердцем, лёгкими и зеницей ока,  
Я люблю тебя земной корой и звёздным небом,  
Падением водопадов и спряжением глаголов,  
Я люблю тебя нашествием гуннов на Европу,  
Столетней войной и татаро-монгольским игом,  
Восстанием Спартака и Великим переселением народов,  
Александрийским столпом и Пизанской башней,  
Стремлением Гольфстрима согреть Северный полюс.

Я люблю тебя буквой закона тяготения  
И приговором к смертной казни,  
К смертной казни через вечное падение  
В твой бездонный Бермудский треугольник.

\* \* \*

От её единственного поцелуя,  
прежде чем умереть,  
он долго старался выжить,  
прикладывал к губам снег, полынь,  
прикасался к белой коре берёзы,  
ночами блуждал, искал озёра,  
настоянные на корешках упавших звёзд,  
в туман закутывался,  
лечился дальней дорогой,  
сном, в котором она была похожа на многих, –  
его долго выхаживали другие руки,  
его заговаривали другие губы,  
ему прописывали шум прибоя, звон посуды,  
и он очень долго старался выжить,  
и всё-таки лет через сорок умер,  
так и не успев почувствовать перед смертью,  
то ли теперь наконец они будут вместе,  
то ли только теперь  
они навсегда расстались.

### **Близость**

Как найти расстояние между нами  
измерить шагами  
фигурами идущими между нами  
кольшущимися душами

Сколько идёт письмо  
от меня к тебе  
пока мы стоим  
дышим рядом

Сколько бы ни длилась близость  
вечность –  
это разлука  
мера всех любовей

Я жду твоего слова  
и не знаю с какого краю

встать ли мне ближе к сердцу  
или дать сердцу больше простору  
тебя заслонить от ветра  
или отдать ветру  
и его порыв  
перепутать с твоим порывом

И как быть перед лицом солнца –  
как удержать наши тени  
которые ночь сольёт  
воедино  
с кем бы нас  
ни застала

### ***Ода времени***

О!  
О, половина седьмого!  
О, без четверти семь! О, без пяти!  
О, семь утра!  
О, восемь! О, девять! О, десять!  
О, одиннадцать, двенадцать, тринадцать!  
О, обеденный перерыв! О, после-  
Обеденный сон разума! О, после-  
Полуденный отдых фавна! О, последние  
Известия! О, ужас! О, ужин! О, уже  
Последняя капля! О, последняя туча  
Развеянной бури! О, последний  
Лист! О последний день  
Помпеи! О, после  
Дождичка в четверг! О, после  
Нас хоть потоп! О, половина  
Двенадцатого! О, без пяти!  
О, полночь!  
О, полдень!  
О, полночь!  
О, по лбу! О, в лоб!  
О, по московскому времени!  
О, по Гринвичу  
О, по ком звонит колокол!

О, бой часов! О. счастливые!  
О, половина седьмого!  
О, полдень!  
О, полночь!  
О, без пяти!  
(«От первого лица», Москва, «Современник», 1981)

### **Толкование неба**

Земля –  
одно из толкований неба  
заметка на полях Вселенной  
утверждение  
что небо может быть обжитым  
что его жители видят разные звёзды  
ибо у них есть почва  
для разных точек зрения  
но есть и благоприятная атмосфера  
в которой можно столкнуться  
так я полагаю  
один из людей  
из которых каждый  
одно из толкований  
Земли

\* \* \*

Нет места в море  
где бы не затонул корабль  
с грузом сокровищ

Нет мест в небе  
где бы не упала звезда  
не успев ни в ком пробудить  
заветное желание

Рождается блуждающий смерч  
в отчаянном водовороте  
где утонувшие в реках  
непрощенные приходят в гости  
к утонувшим в море

Рождаются новые вселенные  
где исполнятся заветные желания  
всех кому не позволили родиться

\* \* \*

Когда все тебя потеряют  
и никто уже искать не станет,  
тогда ты найдёшься  
и найдёшь что ответить тем, кто спросит –  
где тебя носило –  
уверяет весенний ветер.

Скажешь – засыпало золотой листвою,  
скажешь – увлекли перелётные птицы,  
умыкнула серебристая рыба.

Не говори, что с пути сбивался,  
что о горючий камень споткнулся,  
долго лежал под снежной корою,  
ждал, когда под нею срastутся кости.

Скажи – с первой травой вернулся,  
скажи – на землю выронили птицы,  
на берег выплеснуло с талой водою.

Не говори, если вернёшься,  
что тебя уговаривал ветер  
не возвращаться.

### ***Сумерки тщеславия***

Каждую ночь  
мертвец  
приподнимает  
гробовую плиту  
и проверяет на ощупь:

не стёрлось ли  
имя  
на камне

---

# Алексей Макушинский

---

Из романа «Город в долине»

Главы

70

Он спросил меня в тот мой приезд, бывал ли я на Défense; я не был там. В таком случае, Алексей, вы обязаны; это надо увидеть, хотя бы однажды. Мы и встретились с ним на Défense, в воскресенье. Я стоял, я помню, озираясь по сторонам, на ступенях зеркальностенной Большой арки, слишком огромной для нашего мира, в толчее сверкающих небоскрёбов, расступившихся, казалось мне, лишь для того, чтобы изумлённый маленький человек, потомок пушкинского Евгения, мог увидеть в отдалении, превосходящем его самые дерзкие мысли, в глубине проведённой Гулливером-архитектором перспективы, крошечную, игрушечную, настоящую Триумфальную арку, символ забытых побед в доисторических войнах, тех войнах, думал я, в которых комические короли с коронами на седеющих локонах вели в бой оловянных храбрых солдатиков и пороховые дымки поднимались как нежное «ах» над идиллическими полями; и появившийся непонятно откуда Двигубский в новом жёлтом плаще и неизменном своём, по-парижски причудливо замотанном шарфе, в линялых, к моему изумлению, джинсах, и новых тоже, по виду замшевых, с толстыми верёвочными шнурками и твёрдой, пупыристой подошвой ботинках, не совсем таких, может быть, но всё же очень похожих на те, которые так хорошо видны на известной фотографии Набокова, сделанной Хорстом Таппе (единственным, кажется, немцем, которому Набоков простил, что он немец, уж слишком хорошие получились, действительно, снимки...) на лужайке перед пресловутым Палас-отелем в Монтрё, где я стоял, помнится, весной 1997, приехав туда вместе с моей мамой, жившей у друзей в Бёрне и попросившей меня свозить её в это обиталище бессмертных теней, на поклон к ним, – той известной фотографии, на которой счастливый старый ВВ, закинув одну ногу на колено другой и тем самым выставив упомянутый ботинок на передний преувеличенный план, сидит на скамейке рядом с покровительственно улыбающейся ему ВЕ, показывая ей что-то плохое различимое в его нетонких пальцах, похожее на маслянистый гриб,



срезанный под ближайшим кустом, совершенно такой же, конечно, какие росли когда-то под Вырой, в бабушкином Батово и в рождественском парке, возле той беседки, где Ганин целовал свою Машеньку...; ботинках, вернёмся к ним, которые я сам примерял несколько раз в разных обувных магазинах разных европейских стран, всякий раз убеждаясь, что носить их не в состоянии, что они жмут мне со всех сторон, справа, слева, сзади, спереди, сверху и снизу и что я двух шагов, значит, не способен пройти по стопам любимого автора, – Двигубский, следовательно, в этом плаще, этих джинсах и этих ботинках появившийся непонятно откуда, уселся, предложив и мне сесть с ним рядом, на одну из тех высоченных ступеней, по которым поднимался, наверно, наверх, к своей никому не ведомой цели Гулливер-архитектор, зодчий, созданный Франкенштейном, Прометей строительной страсти и на которых сидят теперь, лежат теперь как ни в чём ни бывало, греясь на солнышке, всевозможные приезжие перуанцы, девушки с обручем на голове и косяком в тонких пальчиках, счастливые студенты, погружённые в перелистывание комиксов, в чтение Платона, в мечты об экзамене. На такой-то ступеньке сидючи, Двигубский без долгих предисловий извлёк, я помню, из холщовой сумки, висевшей у него на плече, чёрный увесистый том, оказавшийся восемнадцатым томом альманаха «Минувшее», выходявшего в 90-е годы в России; он сам не понимает и не может сказать почему, но он только вчера наткнулся на него в библиотеке. В этом восемнадцатом выпуске альманаха «Минувшее» (Москва, Санкт-Петербург, 1995) опубликован большой блок материалов, посвящённый Г. И. Мясникову, организатору убийства великого князя Михаила Александровича в Перми в июне 1918 года, материалов, среди которых основное и почётное место занимают воспоминания самого этого Г. И. (Гавриила Ильича) Мясникова с характернейшим и бомбоподобным названием «Философия убийства». Название взорвалось; дымок поднялся над притихшим полем далёкой и страшной битвы. Я вспомнил, что мы уже говорили когда-то об убийстве великого князя Михаила Александровича – в электричке, казалось и кажется мне, это было, по дороге в Царское, восемнадцать лет тому назад, в день моего знакомства со Светой; вспомнил, вспомнив это, проплывающие за окнами станции, петербургское рваное небо, Овечкина, забывшего в гараже свою свечку. А кавторанг умер, сказал Двигубский, впервые, может быть, после своего появления непонятно откуда на ступенях Большой арки глядя мне прямо в лицо. Брови его всё той же совершенной линией, чертою и чайкой взлетаи над отчаянными, с отражённым в них морем, глазами. Кавторанг умер. Теперь все умирают, сказал он. Биография же

Г. И. Мясникова вполне подходит для серии «Библиотека приключений»; помните, была такая в нашем советском детстве?

71

В тетрадях, в 2004 году присланных мне Двигубским, в последней, собственно, из этих тетрадей (которую тем самым я получаю возможность датировать), содержится среди прочих исторических материалов подробный конспект этой биографии, действительно – примечательнейшей, и этого сочинения, в своём роде единственного, более ни на что не похожего. Мясников родился в 1889 году; он был простой рабочий на оружейном заводе в Мотовилихе, возле Перми. В 1906 году он вступает в РСДРП, участвует в экспроприациях оружия, в нападениях, иными словами, на полицейские участки, где оружие-то и было, а заодно была и возможность прикончить кого-нибудь из стражей проклятого режима; неизвестно, впрочем, убивал ли уже Мясников своих сочеловеков на этом раннем этапе героической своей деятельности или ещё не убивал, лишь хотел. За всё это, как бы то ни было, попадает он, конечно, в тюрьму, бежит из неё, попадает снова, опять бежит, скрывается, скрыться не может. С 1913 по 1917 год сидит в Орловской каторжной тюрьме (знаменитом «Орловском центре»), весной 1917 возвращается в Мотовилиху, летом 1918-го организует убийство великого князя Михаила Александровича, в 1920-м становится председателем Пермского губернского комитета победившей «по всей линии» партии – с которой, впрочем, тут же и начинаются у него расхождения; советская карьера его длится недолго. Мясников был революционер стихийный, он и великого князя убил, ни у кого не спросив, вопреки прямым указаниям Ленина и Свердлова, весьма довольных, впрочем, его действиями, не желавших лишь отдавать прямого приказа об убийстве, потиравших, однако, кровавые свои руки от радости, когда убийство, без всякого их приказа, само собой совершилось. Мясниковская «революционная воля» совпала в данном случае с их, революционной не менее, лишь менее честной, а потому и более подлой. Всё-таки он поступил не по их, а по своей воле, не по их, а по собственному своему разумению. Партии же, понятное дело, такие своевольцы не нужны. Чем дальше идёт время, чем более она укрепляется, тем менее нужны они ей. Ей нужны послушные души, ручные звери, простые исполнители прямых и ясных приказов. Так Мясников оказывается в «рабочей оппозиции»; в 1922-м его исключают из партии, в 23-м арестовывают, высылают почему-то в Берлин, заманивают обратно, арестовывают опять, после

объявленной им голодовки, попытки самоубийства приговаривают к трём годам тюрьмы, затем отправляют – пойдёшь пойми, опять-таки, почему – в Ереван, откуда в 1928-м он бежит в Персию, год проводит в иранских и турецких тюрьмах, в Турции встречается с Троцким, наконец, в 1930-м, попадает во Францию. Во Франции счастье тоже ему не сопутствует. Какие-то пытается он организовывать «рабочие группы», какую-то издавать газету (с чудным названием «Оппозиционная правда»); ничего не выходит из этого. Для бывших белых он убийца великого князя, для рыскающих по Европе чекистов – оппозиционер и предатель, для французских властей личность вообще подозрительная, которую неплохо при случае и в тюрьму посадить. Кончается тем, что живёт он по подложному паспорту и работает на заводе (жить-то надо на что-то). Роман Гуль рассказывает в своих мемуарах («Я унёс Россию») о мимолётной с ним встрече: «захожу как-то к Б. И. [Николаевскому, известному историку-меньшевику], стучу в дверь его комнаты и вхожу», пишет Гуль. «Б. И. – за столом, а в кресле какой-то смуглый, муругий, плотный человек с бледно-одутловатым лицом, чёрными неопрятными волосами, чёрные усы, лицо будто замкнуто на семь замков. При моём появлении муругий сразу же поднялся – невысокий, крепко сложенный. «Ну, я пойду, Борис Иванович», – и протянул ему руку. Николаевский пошёл проводить его до выходной двери. Возвращается Б. И., спрашивает с улыбкой: «Видали?» – «Видал, кто это?». – Б. И. со значением: «А это Григорий Мясников...» [тут, конечно, ошибка, он был Гавриил – не Григорий] – Я, поражённо: «Как? Лидер рабочей оппозиции? Убийца великого князя Михаила Александровича?!» Б.И. подтверждающе кивает головой: «Он самый. Работает на заводе. Живёт ультраконспиративно по фальшивому паспорту, французы прикрыли его. И всё-таки боится чекистской мести. Совершенно ни с кем не встречается. Только ко мне приходит. Рассказывает много интересного»». Не могу всё-таки удержаться, чтобы не процитировать ещё кое-что: «Б. И. передал мне рассказ Мясникова, что когда он был ещё молодым рабочим и впервые был арестован за революционную деятельность и заключён в тюрьму, то, беря из тюремной библиотеки книги, читал Пушкина, как говорит, «запоем» (оказывается, Пушкин – «любимый поэт» Мясникова!). И вот Мясников наткнулся на стихотворение «Кинжал». «И он, – говорит Б. И., – рассказывал, что «Кинжал» произвёл на него такое потрясающее впечатление, что в тюрьме он внутренне поклялся стать вот таким революционным «кинжалом». Вот где психологические корни его убийства великого князя. И говорил он об этом очень искренне...»

Конец цитаты. Об убийстве этом сам Мясников тоже не мог, конечно, не думать, хотя для него-то, по всей вероятности, оно было лишь эпизодом кинжальной его биографии; во Франции, как бы то ни было, пишет он свою «Философию убийства»; не просто пишет, но посылает её – кому? – а прямо Сталину, вот кому! прямо в Кремль (с какой целью и рассчитывая на что? пойдя пойми сих философов...); кремлёвский горец, сам знавший толк в такой философии, не удостоивает его ответом. Приключения на этом не кончаются. В 1941 году теперь уже немцы арестовывают его, в 1942 он бежит в неоккупированную зону Франции, где и хватают его французы, отправляют в свой, французский, оттуда опять в немецкий концлагерь, из которого снова бежит он, снова живёт по подложным документам в Париже – а затем всё-таки отдаётся в лапы родной советской власти, налаживает связи с советским посольством в уже освобождённом Париже, получает разрешение вернуться в СССР, в январе 1945-го (война ещё не закончилась!) действительно возвращается. Ему пятьдесят шесть лет в сорок пятом году (пишет Двигубский в последней из своих тетрадей); просто, может быть, устал человек... Тут уж, понятное дело, расправляются с ним окончательно, сажают на Лубянку, девять месяцев допрашивают, 16 ноября 1945 года расстреливают. Так погиб Гавриил Мясников, честный убийца, кинжал и мученик революции... Между прочим, у него была семья (пишет Двигубский); в 1920 году, в короткую пору своего советского благополучия, женился он на некоей Дарье Григорьевне, родившей ему трёх сыновей, Юрия, Дмитрия и Бориса – сколько раз в жизни видели они своего папу? После ареста Мясникова в 1923 году семью отправили куда-то в ссылку; сыновья к сорок первому году, как легко подсчитать, едва ли двадцатилетние, погибли на фронте (все трое); жена после возвращения Одиссея на Итаку и полученной на Итаке пули («итак, Одиссей», сказали итаковцы, «так, так, так...») сошла с ума и вскоре скончалась, а кто оплачет теперь эти ненужные жизни?

72

Мясников решил убить Михаила просто потому, что узнал, что тот – в Перми, совсем рядом (Мотовилиха тогда – рабочий посёлок, теперь – район города). Не узнал – не убил бы. Но Михаил был рядом, был в Перми, жил в гостинице и почти без охраны. Этого Мясников стерпеть не мог. То есть как же так, в самом деле? Боролись-боролись, на каторгу шли и по тюрьмам сидели, а теперь это царское отродье гуляет тут на свободе... А с ним ещё какой-то секретарь-англичанин, какой-то чуть ли не

лорд. Чёрт с ним, с лордом, «пусть себе лордствует», но чтобы он, Мясников, потерпел живого Михаила Романова в двух шагах (верстах...) от пролетарской родной Мотовилихи... Он приводит, конечно, рациональные доводы в пользу задуманного убийства – по крайней мере, они кажутся ему таковыми – Михаила-де могут выкрасть, он-де «может стать знаменем, программой для всех контрреволюционных сил. Его имя сплотит все силы, мобилизует эти силы, подчиняя своему авторитету всех генералов, соперничающих между собой. Фирма Михаила II с его отказом от власти до Учредительного Собрания очень удобна как для внутренней, так и для внешней контрреволюции. Она может мобилизовать такие силы, которых никакая генеральская фирма и фирма Николая II мобилизовать не сможет. Она удесятит силы контрреволюции». И так далее, и так далее. Простая мысль о том, что негоже без суда и следствия убивать человека, который ничего ещё не сделал, но только может сделать, или хочет сделать, или именем которого кто-то что-то мог бы когда-то сделать, или (пишет Двигубский) ещё более простая мысль о том, что человека вообще можно как-то наказывать или как-то преследовать лишь за то, что он делает, а не за то, что он есть, за то, что совершает, а не за то, чем является (Михаилом, к примеру, Романовым, а не Петром Сидоровым или Гавриилом, например, Мясниковым...) – все эти простые мысли, кажется, даже в голову ему не приходят. Или всё-таки приходят? Всё-таки приходят, отдадим ему должное. Ещё заповедь «не убий» не совсем выветрилась у этого убийцы из головы – иначе не пытался бы он её опровергнуть. Опровергает он её рассуждениями почти патетическими в своей примитивности, пишет Двигубский. «Но дело-то не в том, что Моисей написал на скрижалях «не убий», чтобы потом убивать целые народы и колена. Ведь революция без убийств не бывает. Хорошо написать «не убий», а практически? Лучше было бы не убивать, но вот эта война, разве миллионы жертв её не ложатся тяжкой ответственностью на все господствующие классы всего мира, в том числе на эту разбойничью коронованную шайку? И разве истребление этой шайки не является началом конца всех и всяческих войн?» Успокоив свою совесть таковыми рассуждениями – если он и вправду рассуждал так в 1918 году, а не придумал всё это задним числом, в 1935-м, – переходит он к вопросу, куда более важному, к вопросу – как? Как так сделать, чтобы, по собственному его, если вдуматься – вопиющему, выражению, и овцы были целы, и волки сыты? Убивать «центр» не разрешает, но и не убить он не может (а он не может, конечно! тут уже сила, его сильнейшая, им овладела). Так приходит он к блестящей мысли «убежать» Михаила («...убивать опасно, а не убивать ещё опаснее. Что же делать, как

быть? А что если бежать? Да, взять да и убежать? И неистово, неудержимо заработала мысль в этом направлении. Правда. А почему нет? Они [офицеры, которых Мясников подозревает – только подозревает, не более – в заговоре с целью освобождения Михаила Александровича] хотят ему устроить побег, они его хотят выкрасть и увести? Так почему же мне нельзя? ... Какая счастливая, простая и ясная мысль. Убежал и... Что поделаешь? Убежал и только. ... Это как раз то, что надо. Это не расстрел, не убийство, но он исчез, его нет. Он будет убит, это ясно, но ясно это мне и моим товарищам, кому я доверю свою тайну, но для всех он бежал. И хорошо». Каково, однако, словоупотребление, замечает Двигубский. «Мы бежали Михаила», «я бежал Михаила» – эта формула в самом деле вновь и вновь повторяется в тексте. В тот парижский день, на ступенях Большой арки, Двигубский, я помню, тоже, глядя на лежавший под нами и перед нами город, взлетая бровями над морем, вновь и вновь, почти мечтательно, повторял это чудное выраженьице; «я бежал Михаила», «я бежал Михаила». Вот, значит, как они говорили... В последней своей тетради особенно выделяет он, то есть подчёркивает несколько раз, то есть сначала переписывает (тонким почерком, с глубокими у и д...), затем подчёркивает, затем обводит черными чернилами, затем опять обводит – красным фломастером, то место поразительных сих мемуаров, в котором Мясников, пользуясь всё тем же умопомрачительным выражением, приказывает каким-то местным чекистам, подвернувшемуся ему под руку, сразу после инсценированного побега арестовать – и расстрелять, понятное дело, – всё окружение великого князя за содействие этому самому побегу: «Ну, а теперь дело так обстоит», говорит Мясников чекистам. «Если бы вы не увидели и не узнали, что Михаила «бежали» мы, а узнали об его исчезновении завтра, то что бы вы сделали с оставшимися?» – «Арестовали бы», отвечают оба. – Вот и арестуйте и расстреляйте их всех, говорит Мясников... «А по всем телеграфным, телефонным линиям дайте знать: Михаил Романов и его секретарь Джонсон бежали в ночь с такого-то на такое-то...» Уже всё готово, уже группа заговорщиков, исполнителей и палачей составлена и сколочена (имена их истории известны, вот они: А. В. Марков, И. Колпачиков, Г. Мясников, В. А. Иванченко, Н. В. Жужгов), но тут последние сомнения овладевают героем – и вот это место я просто обязан вам прочитать, говорил Двигубский на ступенях Большой арки, листая чёрную книгу своими длинными пальцами, отстраняя её от себя (как делают люди, у которых начинается дальнзоркость...). А мне, между прочим, не очень-то и хотелось его слушать. Какое дело мне было, собственно, до Г. И. Мясникова в тот парижский дымчатый день? Он настоял всё-таки на

своём. «Михаил и его приближённые – это штаб, главный штаб, от которого зависит многое, а может быть, и исход войны. И, имея этот штаб в руках, не уничтожить его, это значит быть тряпкой, а не революционером, значит помочь врагу бить нас. Этого-то я делать не собираюсь. А напротив. Надо привести в исполнение приговор истории. И колебаниям нет и не должно быть места». Тут он сам себя перебил, заложил книгу пальцем... Вот их мотив – привести в исполнение приговор истории. Удивительно всё-таки, как они сами себя не слышат. Ведь это палачи приводят приговор в исполнение... А главное – зачем стараться? вот я чего никак не могу понять, говорил Двигубский, на меня не глядя по-прежнему. Ведь история сама собой идёт туда, куда надо, ведь они же марксисты, они же точно знают, куда всё идёт. Чего ж беспокоиться, убивать, убежать? Вы это понимаете? спросил он, поворачиваясь ко мне. Я честно ответил, что нет. Вот и я не понимаю, сказал Двигубский, отворачиваясь снова к Парижу. Ну ладно, ещё Желябов говорил, что история движется слишком медленно и что надо её подталкивать. Так ведь Желябов – народовец, он ещё не знает, как всё повернётся... У Гитлера тоже могло так выйти и этак, могла победить арийская раса, а могло и мировое еврейство. Но у этих-то всё рассчитано, всё известно, у них никак иначе повернуться не может, враг будет разбит, победа будет за нами. За них же – наука, законы истории. Что им за резон подталкивать, объяснил бы мне кто-нибудь... А ведь это их категорический императив, их *ultimo ratio*, они должны, они иначе не могут. А колебаниям всё-таки место – есть, говорил П. Д., вновь принимаясь за книгу – и вот это место я обязан вам прочесть, Макушинский, уж потерпите. Я усмехнулся, он тоже. Я впервые за всю нашу встречу почувствовал, что это, действительно, он, Двигубский, не кто-нибудь, давний друг мой, с которым я не виделся два года, которого рад видеть (которого никогда уже теперь не увижу). Россия всё же страна удивительная, говорил П. Д., усмехаясь по-прежнему. О чём думает наш кинжал накануне убийства? О литературе, дорогой мой, вот о чём думает он. Он не только Пушкина читал, оказывается, в тюрьме... «Всё, говорю, решено твёрдо и бесповоротно, а как-то не могу оторваться от мыслей, не могу их обрубить и не думать. И нет-нет да опять начинаю. Вот и сейчас ловлю себя на том, а как бы посмотрел Толстой на моём месте? Если бы Толстому предстояло убить Михаила и спасти многие тысячи жизней трудовиков, то решился бы он убить? Если бы ему нужно было убить тифозную вошь, разносящую заразу, и спасти множество людских жизней, то убил бы он эту вошь? Да, убил. Убил бы и не задумался. А Михаил? Разве он лучше тифозной вши? Ведь тифозная



вошь может сделать отбор, умертвить слабых и оставить в живых сильных, а эта вошь будет истреблять всех, а пройдя через горы трупов, воцарится и будет угнетать, давить, порабощать... И борьба возгорится снова, и снова реки крови и горы трупов. Толстой убил бы эту вошь. Он должен был бы убить. Хотя... он предпочёл отдать своё имение семье, а не крестьянам, и это после революции 1905 года! Проповедь непротivления имела целью укрепить это помещичье царство. И потому, если бы ему предстояло убить одного помещика и спасти сотни тысяч крестьян, то он отказался бы это сделать: пусть гибнут сотни тысяч крестьян, но не тронь помещика. А ко всему этому придумал бы хитроумную словесность для успокоения своей помещичьей совести: огнём, мол, огня не потушишь, а насилие насилием не убьёшь. ... Да, так-то! А Достоевский? Этот откровенный защитник православия, самодержавия и народности. Он ещё меньше стал бы думать, чем Толстой. Тот не убил бы помещичий строй (помещика), а отдал на растерзание миллионы трудовиков, но прикрыл бы это елейной ложью от Евангелия, а Достоевский был бы откровеннее. Какую силу презрения нужно было иметь в груди Достоевского к трудовому народу, чтобы нарисовать два типа, Ивана Карамазова и Смердякова? Теперь время смерда. Сам смерд берётся решать свою судьбу. Он разоряет дворянские гнёзда, он идёт на сокрушение промышленного феодализма, он трясёт основы поработительского строя, и ему самому надо решать вопросы войны против поработительского неба и земли. Надо думать, что скоро появится художник сильнее Достоевского и нарисует нам тип великого смерда, великого Смердякова, вкусившего от древа познания добра и зла, и трусливого, гадкого помещика-буржуа, чувствующего, что ни сила небесная, ни сила земная не могут спасти его от сурового приговора истории. История дала заказ. Найдётся достойная рука выполнить эту историческую миссию. Достоевский – охранитель помещичьего строя, с величайшим презрением и брезгливостью впустил он смерда в свою комнату, и пустил его для того, чтобы опоганить его, превратив этого смерда, вкусившего от древа познания добра и зла, в полное собрание всех мыслимых пороков, дабы напугать либеральствующих и умствующих лукаво Иванов Карамазовых. Надо реабилитировать Смердякова от гнусностей Достоевского, показав величие Смердяковых, выступающих на историческую сцену битвы свободы с гнѐтом, попутно рассказав всю правду о поработителях – богах». Конец цитаты, ещё раз. Неплохо, да? сказал, я помню, Двигубский, закрывая, наконец, свою книгу. Вот вам – апология Смердякова, формула революции. А читал он, я помню, под конец почти с пафосом, отстраняя от себя книгу в

левой и потрясая вытянутым указательным пальцем правой руки. Надо реабилитировать Смердякова от гнусностей Достоевского... Смейтесь, смейтесь, говорил он, а вот я вам сейчас возьму и признаю, что на фоне Ленина и Свердлова Смердяков наш кажется мне почти симпатичным. Да, и не смотрите на меня так. Те ведь хотели прежде всего власти, а ему власти самой по себе не нужно. Он готов убить великого князя, но он уже борется с начинающимся террором против своих, уже в ужасе, что расстреливают рабочих-эсеров, рабочих-меньшевиков, о чём сам и пишет в своём сочинении. Как же так, рабочих расстреливают, а Михаила, тифозную вошь, оставляют гулять на свободе? Так я сначала Михаила прикончу, а потом за рабочих вступлюсь... Вот его логика. Он и вступился. И тут его самого, понятное дело, прикончили. Долго приканчивали, потому что сильный был человек, но в итоге расправились с ним, как со всеми. И он, значит – побеждённый, и он – проигравший. А я люблю побеждённых, говорил Двигубский, глядя по-прежнему не на меня, на Париж. А ведь подумать, что он где-то там ходил, вон там где-то, говорил П. Д., своей плохо привинченной, уже очень худою рукою тыкая в дымчатую даль перед нами, ходил там где-то по улицам, этот Мясников-Смердяков, проигравший свою историческую партию, отброшенный в сторону, затравленный зверь. А что он увидел, что он понял в Париже? Да ничего, наверное, не увидел, не понял, жил в своём страшном мире, в собственном мире схем и сражений... На фотографиях Мясникова, которые с тех пор удалось раздобыть мне, виден типичный рабочий, густо-брюнетистого южного типа, чуть-чуть, действительно, как его и описывает Гуль, одутловатый, с жёсткими усами и взглядом, с прямым носом, прямой линией сдвинутых суровых бровей, с тяжёлым лбом и решительным подбородком, с презрительно и победно, прямо по-наполеоновски, сложенными на широкой груди руками.

Опубликовано: «Город в долине», Спб, «Алетейя», 2013.

---

# Сергей Морейно

---

## Область по ту сторону реки

## Рассказ

Не отпускал.

Мы миновали уже два моста, не знаю через что, – один прямой и узкий, зажатый тремя или четырьмя старинного покроя домами, будто нарочно подползшими к нему, чтобы взять в тиски (ускользнул-таки, не вышло), и другой, под которым частили какие-то гаражи, короткий и, без видимых на то причин, горбатый, – а город не заканчивался, не отпускал.

Он играл: возможно, что и с нами, но прежде всего с собой, тасуя и сдавая себя, словно масти. При этом – наверняка! – передергивая. Наверняка на месте той вон размалеванной неумелыми граффити трансформаторной будки ещё вчера стоял марципановый особнячок, сегодня настолько нагло заслонивший перспективу одной из улиц, превращая её в тупик, что хочется предложить ему принять чутка вправо, где он занял бы кусок зелёного до сих пор газона. Тем более, газон совсем запущен, несмотря на бдящего над ним садового гнома ростом с добрую собаку. Или мне только так показалось – проехали, не обернешься; и не вернешься назад – неважно. «Какой тёплый октябрь», – говорит Лео. – («Да», – отвечаю я.) – «И какие интересные рисунки, Вы видели? Очень профессионально, хотя выглядят совершенно по-детски».

И – нет, мне не неприятна эта игра. Я не ощущаю себя обмишуренным взрослым, севшим с шулером за один стол. Напротив, я чувствую себя ребенком в лавке факира: мне интересно.

Этих путей нам не одолеть – поезда охраняются здесь трепетно и рьяно, к их рельсам и шпалам не подступиться. Нечего и думать о том, чтобы пересечь их вот так, просто взобравшись на насыпь, поставив жизнь против сэкономленных секунд. И, пока мы медленно катимся туда, где на карте означен подземный, по всей видимости, переход – а, может быть, очередной мосток – я размышляю.

Мой Лео.

Сегодня я обещал ему монастырь на горе. То есть, холм или горку с развалинами – серьёзную, стоящую достопримечательность, и он упорно крутит педали. Не знаю, означает ли для него горка-гора то же самое, что и для меня: мечту о жизни в раю на склоне лет, о доме на склоне

холма, с которого, сидя на скамеечке под золотящейся грушей, можно будет наблюдать, как в гребень далёкого леса скатывается солнце. Время от времени я описываю ему в красках, как уже давно на каждый необжитой холм смотрю с точки зрения возможности приобретения мной части его поверхности – с целью постройки дома. Скромного: параллелепипед и рядом куб; две каюты и камбуз, а куб – для гостей, не век же мне куковать. Однако средств для такой покупки всё нет, притекают они отнюдь не быстро, поэтому мне нравятся холмы тем больше, чем дальше они отстоят от больших городов, морских берегов и так далее. Не нужно моря, обойдёмся ручьём под южным окном.

Когда я беседую с ним на моём медленном и небогатом английском, меня не покидает подозрение, что он не понимает / не принимает этой перманентной партии в поддавки с судьбой, сопровождаемой лёгкой боязнью пройти в дамки. (Как-то раз он изложил мне в ответ свою теорию: деньги, мол, приходят к человеку не теми путями, которые многим кажутся путями денег – труд, взятки, воровство, – а совершенно иными. Мы шли сумрачной улицей, в тени домов и деревьев; трудно было представить себе, каким видится закат со скамейки под грушей, если, конечно, не думать об этом постоянно. «Делается холодно, – сказал Лео крайне убедительно и повторил: – Делается холодно». Его английский просто медленный – медленный, но достойный.)

Там, откуда я приехал, я живу один в бревенчатом доме на краю посёлка, на отшибе. Там, откуда приехал Лео, они с женой вдвоём (дети учатся где-то за горами) живут в бетонном лесу, в стандартной многоэтажке. Мы вкатываемся в длинный (можно разогнаться) тоннель, в нем довольно прохладно. Над нами пролетает поезд, мягко перебирая деревянные шпалы. Выезд резко вверх; мы замедляемся.

– Я давно хотел спросить, – я ещё немного притормаживаю, даю Лео догнать себя и спрашиваю: – как тебе удаётся сохранить семью, будучи постоянно в разъездах?

– Я понимаю, о чём ты спрашиваешь, – улыбается Лео. – Я знаю, что люди профессий, подобных нашей, часто не могут поддерживать хороший контакт с женами. У них другие интересы, другой ритм, другой темп. Времени, – добавляет он после паузы. – Темп времени.

– И? – я пытаюсь ехать рядом; где мы – пока неясно, не то улица, не то тротуар.

– Но я сумел расщепить своё сознание. Существуют два Лео – один Лео путешествует, делает свою работу, пробует делать деньги, другой Лео возвращается домой и живёт со своей семьёй. Я и моя жена – очень

хорошие друзья. До твоего прибытия она приезжала сюда на машине, вместе с нашим сыном. И мы ездили в Париж, она сама вела машину всю дорогу. Ты знаешь, в Париже ... такой я её никогда не видел. – И я ни разу не видел у Лео подобной улыбки. – В Париже она была ... ты знаешь --- «Та-ра-та», – нежно, но от этого не менее неожиданно предупреждает клаксон, и справа от нас пролетает жемчужный «жук-фольксваген», новый, не аутентичный, но от этого не менее классный, дразнящий. Интересно, у той, что сидит за рулём, такой же певучий голос? Теперь понятно, что мы на набережной. Слева домов либо нет, либо это специальные служебные здания; из тех, что ставят на набережных. Река едва видна, она глубоко внизу, а за рекой – коричневый косогор: отвесен, высок, и по нему идёт поезд.

Мы катим цепочкой (из двух велосипедов, разговаривать трудно), а на подъёме въезжаем, игнорируя разметку, на тротуар. По тротуару идёт девушка в коротком чёрном пальто; светлые волосы ровно лежат на плечах, не рассыпаясь. Пегий бульдог ковыляет чуть впереди, он тоже напоминает жука. Девушка по-балетному ставит ноги в чёрных чулках, носки чёрных кроссовок врозь, танец их белых подошв завораживает. Собака шмякается задом на побледневший в предчувствии зимы газон и, очевидно, делает своё дело. Я останавливаюсь, полностью: мне надо свериться с картой. Лео ждёт. Девушка подходит к псу, садится на корточки; лицо обращено к нам профилем – нереальное, космическое лицо. Нельзя сказать, что оно идеально, оно даже в чём-то некрасиво, – скажем, линия губ слегка суховата, – но в данную секунду оно видится мне как бы по ту сторону уродства и красоты. Бульдожек рывком отколупывает задницу от газона и пытается отбрести подальше; девушка вытягивает руку с лопаточкой так далеко, что видна её кожа – между рукавом пальто и чёрной перчаткой, там, где запястье переходит в предплечье – почти голубая.

– Да, – говорит Лео, медленно трогаясь, – с тех пор, как у нас ввели эту обязанность собирать собачье дерьмо, бедные собаки совершенно сошли с ума. Ты можешь представить, человек, который является высшим боссом для собаки, берет рукой её какашку. Моя соседка рассказывает, что её собака теперь вообще боится какать.

– Почему? Откуда она знает, что брать её дерьмо – это унижительно? (Теперь вниз.)

– Потому что она знает: дерьмо – это очень плохо. Она обучена. Гадить в квартире нельзя, гадить в машине нельзя. Вот так.

– В этой стране, – мы порядком разогнались, и я почти кричу, – в этой стране собаки давно привыкли. – Ветер в лицо, я возбуждён, мне,

кажется, наконец-то удастся пошутить. – Они думают, что соби́рание собачьего дерьма – это особый ритуал, который их босс может проводить только на улице!

Сейчас я тоже босс. Я мчусь, я веду моего Лео в бой, на высокую гору. Какой тёплый октябрь, белые подошвы станцевали нам свой танец, за рекой, за коричневой осыпью на том берегу – если верить карте – поле чудес. Постройка из грубых серых глыб, страж очередного моста на нашем пути, – это мельница: возможно, она покажет мне сегодня своё колесо. Ни разу в жизни не видал я мельничного колеса. Его таинственного занятия – как оно вращается в бурунах пены, растирая в прах и пыль зерно, вышедшее из пыли и праха. Я столько читал о водяных мельницах, наблюдал их из окон поездов и машин, но о колесе только грезил. Со мной так бывает – в моих снах наяву: стоит мне произнести слово «качели», как я вижу и качели, которые я лихо раскачиваю, и чьи-то всюю развевающиеся волосы, а ведь у всех тех – немногих, – кого я качал на качелях, была короткая стрижка. Отчего-то.

Звук, напоминающий скрип гигантской втулки на нерадиво смазанной оси, длится дольше, чем должен был бы – значительно дольше одного оборота; он наполняет мои уши и возвращает к действительности глаза. Мост, сворачивающий влево за двух- и даже, наверное, трёхэтажное здание мельницы, словно бы затянут в этот поворот незримым потоком. Тень от мельницы легла на перекрёсток и коснулась моста. Две солнечных улицы, сойдясь вместе, ножкой буквы «игрек» вползают в тень, асфальт кажется влажным. В пространство взгляда, внезапно темнеющее от переизбытка света и ветра, вклинивается что-то белое, очень простое и одновременно бесконечное, сливается с этим всё нарастающим звуком, несколько раз клацает невидимыми челюстями и вздрагивает, застывая. Пауза. Я торможу обоими тормозами, их клещи удивленно присвистывают. Пауза. Экран, заслонивший ландшафт за перекрёстком, рябит, его плоскость сворачивается, и многоосный, складывающийся из двух отдельных частей грузовик с тяжким вздохом трогается, утаскивая свои ребристые кузова туда, где на глубине наверняка идёт какая-то неведомая работа. Растерянный Лео стоит на противоположной от мельницы стороне моста, в самом его начале, и смотрит, держа велосипед за рога, в какую-то точку на затененном асфальте. Подъехав к нему, я не нахожу правильных слов, чтобы выразить то, что я чувствовал последние несколько десятков секунд; я просто радуюсь его смущённой улыбке и стараюсь смотреть ему прямо в лицо, пока он демонстрирует оборванный тросик заднего тормоза и предлагает мне поискать какую-то штучку,

необычайно важную для водворения тросика на место и которую мы действительно довольно долго и безуспешно ищем.

---

Я предлагаю поменяться велосипедами, Лео не соглашается, повторяя «мой долг, моя вина». Мы идём пешком по узкому, мощённому бульжником тротуару. Лео останавливается, прислоняет велосипед к перилам моста и, перевесившись через них, показывает на медленную, оглушённую падением с переката воду.

– Ты помнишь, – говорит он, – я рассказывал тебе о том, что деньги – это как речная вода? Просто пить её невозможно. Если войдешь в неё и будешь стоять, лишь отдельные капли попадут в рот. Если грести руками, чтобы плыть, ты устанешь и будешь глотать воду без всякого смысла. Надо почувствовать течение, потом правильно расположить себя в потоке и позволить себе плыть вместе с рекой...

Я оборачиваюсь и смотрю на здание мельницы. Очень старое и очень большое. Его фундамент точно был сложен столетия два, а то и три назад – и потом надстраивался, меняя от этажа к этажу ритм кладки и рисунок окошек. Будто дерево, меняющее от яруса к ярусу форму сучьев и узор коры. Интересно было бы сосчитать годовые кольца на срезе этого дерева, ну да кто ж его такое завалит?

Я долго объясняю аборигенам, что нам нужно. Они говорят исключительно на диалекте, я подыскиваю слова, мне кажется, что одну дорогу куда-то они нам уже показали. Только вот куда? Тропа забирает вверх, мы снова идём пешком: по-моему, Лео не хочет ехать на велосипеде с одним передним тормозом. Лишь сейчас до меня доходит, что он вообще побаивается велосипедов.

Делается не просто тепло, а по-настоящему жарко – наверное, оттого, что мылезем в гору и при этом тащим велосипеды перед собой. Как оседает на песке пена после того, как волна сползёт обратно в море, город под нами осел на рельефе местности разноцветными языками. Белыми, бежевыми, оранжевыми. Чем дальше от нас, чем ближе к центру, тем темнее битая ракушка его стен и крыш. Пробегающие внизу поезда вычерчивают такие же стрелки, как и пролетающие над нами самолёты, которые, впрочем, станут всё ближе. Когда мы входим в лес, тропа неожиданно делается почти пологой; мы снова едем, и мелкие сучья начинают потрескивать у нас под колёсами. Мы наматываем два с половиной витка сужающейся понемногу спирали и понимаем, что дорога обняла вершину холма, и есть, стало быть, надежда (понимаю я), что мы на верном пути. «Вершина,



смотровая площадка, развалины монастыря», – сообщает путеводитель.

Сквозь деревья хорошо видны блики окраинных районов – там больше стекла и зеркальных поверхностей. В небе парит пара беркутов, должно быть, муж и жена, кого-то высматривая своими острыми глазами.

Лео предлагает передохнуть. Он садится на поваленный ствол бука и вытаскивает из каждого кармана куртки по яблоку. Мы находимся на просеке, вырубленной под линию электропередачи. Она рассекает лес, практически не сообразуясь с рельефом – так нож режет торт, не обращая внимания на цукаты и кремовые розочки. Яблоко сочное и сладкое, один Лео умеет покупать здесь такие, это, я бы сказал, его фишка (раньше я всегда спрашивал, каким образом в его кармашках уместаются яблоки-гиганты).

Одна из мачт линии расположилась буквально у него за спиной – парит, поднятая на мощных опорах над бетонным постаментом. Какая-то новая конструкция, ничего подобного я раньше не видел. По центру ажурной мачты, внутри самой конструкции, падает на землю солнечный луч: кажется, что световой столб выходит в небо прямо из головы Лео, и в нём играет лесная пыль. Пахнет землей, хвоей и чем-то незнакомым, волнующим. Запах удивляет, но не настораживает – да мало ли запахов в лесу! Неважно, от чего он исходит – ведь, хотя и хвойных поблизости не видно, стойкий хвойный аромат подкрепляет, тем не менее, коренящуюся в раннем, по-видимому, детстве веру в надёжность окружающего мира; точно так же, как и чудо промышленного дизайнера в заповедном лесу, освещённое и как бы осенённое октябрьским солнцем.

Я ем яблоко, мои губы и подбородок в яблочной мякоти, но я не утираюсь – ем, как хорошо поработавший человек. Я поработал: покрутил педали, испачкался, вспотел. Как выгляжу – без разницы.

Еще через два с половиной витка мы оказываемся на месте. Или место оказывается в нас. Мы только что медленно ехали среди становящихся всё тоньше деревьев, трава теряла свой сочный цвет, не то болея, не то выгорая, пока, наконец, не выбрались на просторную поляну, пересечённую в направлении нашего движения невысокой грядой серых камней – и вот. Я не взял с собой часы, но, думаю, уже хорошо за полдень. Солнце опадает в кроны редких деревьев бесформенным фосфоресцирующим моллюском. «Как меняется жизнь, когда смотришь на нее с холма», – говорит Лео, пристраивая свой велосипед меж камней: аккуратно, как больного. – Пойдем смотреть вниз». Мы идем к краю обрыва и долго глядим вниз, а за нашими спинами продолжается нечто, начатое века назад, то, ради чего мы, оказывается, и добирались сюда. Пара каменных россыпей, прямоугольный

котлован и стена, идущая по его краю – не просто развалины. Мы оба знаем это, но продолжаем сосредоточенно изучать наклеенные на кофейного цвета конверты полей черные марки пашни, зелёные бандерольки лугов, идеальные, как по лекалу вычерченные серпантины просёлков и дути автобанов, бегущие строчки далёких поездов, белые и голубые.

– Дисней, – улыбается Лео, – или легио. Видишь, кто-то сложил за рекой узоры из домов, словно из кубиков. Это сообщения для нас, нам нужно их прочитать.

– И что там написано? – я тоже улыбаюсь. – И кто этот кто-то?

– Я пока не знаю, – его мимика, как обычно, не поддается дешифровке. – Давай просто запомним их, как есть. Как есть.

Лео поворачивается лицом к поляне: тоже жизнь, мутировавшая, спрятавшаяся, как улитка в свой панцирь, в эти камни. Я подхожу к котловану, нахожу бетонные ступеньки и спускаюсь. Серые рассыпающиеся стены – то ли известь, использованная в качестве цемента, то ли природный известняк. А, может, и современный бетон, успевший состариться и раскрошиться. Глубина ямы в среднем – мне по пояс, но местами она становится глубже, и я то по плечи, то с головой ухожу в воображаемые древние погребя, склепы, крипты (мне никак не удастся перевести Лео одну из моих любимых фраз, касающихся нашей профессии – «корова утонула в речке, где в среднем ей было по колено», – вернее, перевести-то я перевёл, но объяснить, в чём её небанальность, не сумел). Один из расположенных по периметру котлована информационных плакатов предлагает мне считать, что я стою на месте бывшего алтаря, под которым во время раскопок были найдены захоронения монахов этой обители. Схематические реконструкции, рисунок колонны, изящный графический знак, фото изразца, фото черепа с неплохо сохранившимися челюстями – не хватает каких-нибудь трёх-четырёх зубов.

– Итак, все они были очень здоровыми, – Лео подходит почти неслышно. – В те времена человек к старости обычно терял свои зубы. По большей части.

Тексты на стене не дублируются на английском – кому он здесь нужен, английский-то? – и я читаю текст под черепом, объясняя: здесь утверждается, что череп принадлежал человеку, который умер предположительно в возрасте двадцати пяти лет. Возраст записан прописью и не понятен Лео. Прочие шесть черепов – шестёрка цифрой, – обнаруженные тут, зубов не имели вовсе. По всей видимости, монахи страдали от недостатка питания, что было характерно для этой области триста восемьдесят лет назад (снова цифры). Они умирали в среднем в тридцать пять – сорок лет, лишь настоятель монастыря, как, собственно, можно судить по одеждам мумии, дожил до шестидесяти.

– А, – говорит мой друг. – Похоже, ты прав. Я вижу ту же виноватую улыбку, что была на его лице там, внизу, возле мельницы. Ему определённо стыдно за яблоки, которые мы съели всего полчаса назад, хотя и кажется, что с того момента прошла вечность. По крайней мере, века. Возможно, перед лицом этой старой нужды ему стыдно за красное итальянское вино, которое мы пьём вечерами – бутылку за бутылкой, – и за ту обжигающе острую похлёбку, что он готовит из мясного фарша, картошки, очищенных томатов и своих невероятных приправ: я не могу наесться даже после второй добавки (тогда он спрашивает, не сварить ли кофе?).

Солнце садится, но сядет ещё не скоро. Мы ведём наших двурогих, двuosных кентавров туда, где начинается хороший асфальт. Лео рассказывает: дядя в русском плену срезал свои мозоли и варил из них стью на морской воде – с тех пор, как он, Лео, узнал историю дяди, он больше не может не думать об этом, когда стрижет ногти на ногах. Я прикидываю, чем бы ему ответить, и рассказываю, сообразуясь с собственными языковыми возможностями, историю о том, как мой дед во время войны едал под самогон собачьи котлеты в гостях у своего начальника, в свободное время занимавшегося, как потом выяснилось, отловом бродячих собак.

– Бродячих собак в окрестностях нет, зато есть лисы и кабаны, – сообщает зачем-то Лео.

Лис, конечно, много. И ещё очень много птиц. Богато, я бы сказал, птиц. Не только больших, величественных, но и маленьких, наглых и противных.

– Слушай, я вдруг придумал способ, как разбогатеть, – невпопад говорю я. – И обязательно предложу свою идею какой-нибудь страховой компании. Надо страховать автомобили от того, что их обгадят птицы. Если в период страховки ни одна птица не капнет на твой автомобиль, денюжки пропали. А если капнет, страховщики тотчас высылают к тебе мобильную мойку. Правда, тогда можно покупать птичий помёт, разводить его водой и, когда тебе нужно помыть машину, просто делаешь пару шлепков дерьма на кузов...

– Отличная мысль. Думаю, при таком раскладе при делах будут все: и страховщики, и автомобилисты, и продавцы помёта, – Лео не улавливает связи с предыдущей темой, однако безоговорочно поддерживает мой проект.

Пока мы ещё на холме, я успеваю немного подумать о своем будущем доме. Последние год-два всяческие относящиеся к устройению быта и семьи старания и заботы, наблюдаемые у аборигенов – если, конечно, они достаточно невинны и не связаны с возведением каменного бунгало

на участке, отвоеванном у дикой природы (о, нет! пожалуйста, нет) – как-то: семейное посещение осенних рынков, сортировка гуманитарной помощи во дворе церкви, открытие в почтовом отделении выставки детских рисунков, – будят во мне почти что слёзы. По крайней мере, нечто очень и очень близкое к ним, ставя меня лицом к лицу с таким одиночеством, у какого, как ни старайся, не увидишь его огромных зрачков. Ни на каком расстоянии: руки, голоса, выстрела, беспосадочного перелёта. Даже на очень-очень-очень большом – глазами беркута.

Коричневая нитка асфальта, спускающаяся к полотну железной дороги, готова, наконец, подхватить нас. Вдоль дороги – несколько постеров предвыборной кампании партии «интересов молодежи». Лица юных политиков нарочно (в типографии) замазаны граффити, долженствующими обозначать высшую степень демократии, которую они собираются предложить обществу. Мы седлаем велосипеды и летим навстречу городу: к вокзалу, где, несмотря на вечернее время, можно успеть отовариться на цокольном этаже свежим хлебом, домашним майонезом и дешёвым вином; к террасе нашего domicile, на которой, укрывшись серыми пледами, пьют latte одетые по-вечернему девушки, к городскому парку, куда молодые неадаптированные мигранты приходят посидеть на скамейках с банкой пива или какого-нибудь энергетика и коробками из макдоналдса.

Краем глаза я вижу лицо Лео, побледневшее, как будто схваченное ужасом; наверное, он думает про свой отсутствующий задний тормоз или же мокрую площадь возле мельницы – пожалуй, что и не мокрую больше, поскольку солнце давно поменяло своё положение на небе и теперь подсушивает её ровным закатным светом. А может – кто знает – о том, какой была в Париже его жена три месяца назад, но это неважно...

Нас не остановить.

---

# Павел Нерлер

---

## Мандельштам и Германия

Эссе

1

Мандельштаму в редчайшей степени было присуще «чувство Европы» – то высокое, светлое и плодотворное ощущение духовной цельности, которой обладал, при всей своей мозаичности, европейский культурный мир – сей «средиземный краб или звезда морская». Все элементы этого целого тем явственней запечатлелись в мандельштамовском сознании, что встречи с ними произошли в детстве, когда впечатления яркие и неистребимы: Польша, Латвия, Литва, Финляндия – по родственным и семейным обстоятельствам (не забудем и знакомства Мандельштама с певческими праздниками Эстонии), Франция и Швейцария – через гувернанток, Италия, Чехия и Польша – через музыку (посещение с матерью оперы и концертов). И едва ли не ярчайшими из всех стали для него именно немецкие впечатления, повлиявшие в степени, соизмеримой только с еврейскими или русскими.

Немецкое – попадалось на глаза на прогулках по Петербургу: «Мы ходили гулять по Большой Морской в пустынной её части, где красная лютеранская кирка и торцовая набережная Мойки. Так незаметно подходили мы к Крюкову каналу, голландскому Петербургу эллингов и нептуновых арок с морскими эмблемами, к казармам гвардейского экипажа» («Шум времени»: «Ребяческий империализм»). Этот «голландский Петербург» семи-восьмилетний Мандельштам, тогда ещё не Осип, а Иосиф, не обинуясь, «считал чем-то священным и праздничным».

Но самые прочные «немецкие» ассоциации прописались дома. Отец поэта, Эмиль Вениаминович Мандельштам, в юности учился в берлинской Высшей талмудической школе, откуда, впрочем, бежал. Германофилом он оставался всю жизнь. В отцовском кабинете, в своеобразно-естественном окружении мускусного запаха иудаизма, стояли и «турецкий диван, набитый grosсбухами, чьи листы папиросной бумаги исписаны были мелким готическим почерком немецких коммерческих писем», и главное – «стеклянный книжный шкапчик, задёрнутый зелёной тафтой».

«Над иудейскими развалинами, – вспоминал Мандельштам в «Шуме времени». – начинался книжный строй, то были немцы: Шиллер, Гёте,

Кернер – и Шекспир по-немецки – старые лейпцигско-тюбингенские издания, кубышки и коротышки в бордовых тиснёных переплётах, с мелкой печатью, рассчитанной на юношескую зоркость, с мягкими гра-вюрами, немного на античный лад: женщины с распущенными волосами заламывают руки, лампа нарисована, как светильник, всадники с высокими лбами, и на виньетках виноградные кисти. Это отец пробивался самоучкой в германский мир из талмудических дебрей» («Шум времени»: «Книжный шкаф»)

Продолжим цитату: «Ещё выше стояли материнские русские книги – Пушкин в издании Исакова – семьдесят шестого года. Я до сих пор думаю, что это прекрасное издание, оно мне нравится больше академического... У Лермонтова переплёт был зелёно-голубой и какой-то военный, недаром он был гусар. Никогда он не казался мне братом или родственником Пушкина. А вот Гёте и Шиллера я считал близнецами. Здесь же я признавал чужое и сознательно отделял. Ведь после 37-го года и стихи журчали иначе. А что такое Тургенев и Достоевский? Это приложение к «Ниве». Внешность у них одинаковая, как у братьев. Переплёты картонные, обтянутые кожей. На Достоевском лежал запрет, вроде надгробной плиты, и о нём говорили, что он «тяжёлый»; Тургенев был весь разрешённый и открытый, с Баден-Баденом, «Вешними водами» и ленивыми разговорами. Но я знал, что такой спокойной жизни, как у Тургенева, уже нет и нигде не бывает».

Звучал в доме и немецкий язык – составная часть того, как говорил отец. «Речь отца и речь матери – не слиянием ли этих двух питается всю долгую жизнь наш язык, не они ли слагают его характер? Речь матери, ясная и звонкая, без малейшей чужестранной примеси, с несколько расширенными и чрезмерно открытыми гласными, литературная великорусская речь... У отца совсем не было языка, это было косноязычие и безъязычие. Русская речь польского еврея? – Нет. Речь немецкого еврея? – Тоже нет. Может быть, особый курляндский акцент? – Я таких не слышал. Совершенно отвлечённый, придуманный язык, витиеватая и закрученная речь самоучки, где обычные слова переплетаются со старинными философскими терминами Гердера, Лейбница и Спинозы, причудливый синтаксис талмудиста, искусственная, не всегда договорённая фраза – это было всё что угодно, но не язык, всё равно – по-русски или по-немецки. По существу, отец переносил меня в совершенно чужой век и отдаленную обстановку, но никак не еврейскую. Если хотите, это был чистейший восемнадцатый или даже семнадцатый век просвещённого гетто где-нибудь в Гамбурге. Религиозные интересы вытравлены

совершенно... Четырнадцатилетний мальчик, которого натаскивали на раввина и запрещали читать светские книги, бежит в Берлин, попадает в высшую талмудическую школу, где собирались такие же упрямые, рассудочные, в глухих местечках метившие в гении юноши: вместо Талмуда читает Шиллера, и, заметьте, читает его как новую книгу...» («Шум времени»: «Хаос иудейский»)

Немецкий язык звучал и в школе: «На уроках немецкого языка пели под управлением фрейлин: «О Tannenbaum, о Tannenbaum!». В «Сведениях об успехах и поведении ученика 3 класса Тенишевского училища Мандельштама Осипа за 1901/2 г.», читаем: «Русский язык: За год чрезвычайно развернулся. Особый прогресс наблюдается в самостоятельном мышлении и умении излагать результаты его на бумаге. Немецкий язык: К делу относится прекрасно, речью владеет довольно свободно, читает и пишет вполне удовлетворительно», а в выданном ему за номером 24 аттестате Тенишевского училища в графе «немецкий язык» стоит пятёрка.

Есть ещё одно – несколько неожиданное – свидетельство тонкости проникновения Мандельштама в немецкую речь и немецкую культуру. Весь шуточный цикл «Антология житейской глупости» построен на обыгрывании русской «кальки» классической немецкой фразы, её зачина: «Das ist...». Буквальный перевод – «Это есть...», но так никто не говорит. В результате – прекомический эффект, в случае с Натаном Альтманом усиленный ещё и обыгрыванием фамилии художника:

Это есть художник Альтман,  
Очень старый человек.  
По-немецки значит Альтман –  
Очень старый человек.

Он художник старой школы,  
Целый свой трудится век,  
Потому он невесёлый,  
Очень старый человек.

(Очевидцы свидетельствуют, что в авторском исполнении пародировалась ещё и немецкая фонетика: «Отшэнь старий тшэловэк...»).

Вспоминая в «Шуме времени» о тех годах, Мандельштам помянул и Германию: «А всё-таки в Тенишевском были хорошие мальчики. Из того же мяса, из той же кости, что дети на портретах Серова. Маленькие аскеты,



монахи в детском своём монастыре, где в тетрадках, приборах, стеклянных колбочках и немецких книжках больше духовности и внутреннего строю, чем в жизни взрослых» («Шум времени»: «Тенишевское училище»).

Долго ещё немецкая и еврейская основы – неразлучной парой – будут сопровождать Осипа Эмильевича. Хотя жизнь, конечно, содержала образчики и нарочито «раздельного» их существования – например, на Рижском взморье, где «...по рельсовой подкове, на песчаной насыпи, сколько хватает глаз, бегают игрушечные поезда, набитые «зайцами», прыгающими на ходу, от немецкого чопорного Бильдерлингсгофа до сученного и пахнущего пелёнками еврейского Дуббельна...

Всю землю держал барон с моноклем по фамилии Фиркс. Землю свою он разгородил на чистую от евреев и нечистую. На чистой земле сидели бурши-корпоранты и растирали столики пивными кружками. На земле иудейской висели пеленки и захлёбывались гаммы. В Маойренгофе, у немцев, играла музыка – симфонический оркестр в садовой раковине – «Смерть и просветление» Штрауса. Пожилые немки с румянцем на щеках, в свежем трауре, находили свою отраду.

В Дуббельне, у евреев, оркестр захлёбывался патетической симфонией Чайковского, и было слышно, как перекликались два струнных гнезда. Чайковского об эту пору я полюбил болезненным нервным напряжением...» («Шум времени»: «Хаос иудейский»).

Вот и наметилась другая многозначительная «пара» с немецким капиталом – Германия и музыка. Но этой темы мы ещё коснёмся.

А пока ещё одна «связка» с участием Германии: «Германия – социал-демократия – революция». Недаром одна из главок «Шума времени» озаглавлена: «Эрфуртская программа». Мандельштам даже за Маркса брался, но «обжёгся, и бросил – вернулся опять к брошюрам: «Капитал» Маркса – что «Физика» Краевича. Разве Краевич оплодотворяет? Брошюра кладет личинку – вот в этом её назначенье. Из личинки же родится мысль... Здравствуй и прощай, Каутский, красная полоска марксистской зари!

Эрфуртская программа, марксистские Пропилеи, рано, слишком рано, приучили вы дух к стройности, но мне и многим другим дали ощущение жизни в предысторические годы, когда мысль жаждет единства и стройности, когда выпрямляется позвоночник века, когда сердцу нужнее всего красная кровь аорты! Разве Каутский Тютчев? Разве дано ему вызывать космические ощущения («и паутинки тонкий волос дрожит на праздной борозде»)? А представьте, что для известного возраста и мгновенья Каутский (я называю

ваю его, конечно, к примеру, не он, так Маркс, Плеханов, с гораздо большим правом) – тот же Тютчев, то есть источник космической радости, податель сильного и стройного мироощущения, мыслящий тростник и покров, накинутый над бездной» («Шум времени»: «Эрфуртская программа»).

Встретившись в темноте отцовского кабинета, в самой речи родительской – и даже в расписании поездов на рижском взморье – русские, еврейские и немецкие (расширяющиеся до всеевропейского) корни – в сущности уже более не расставались, составляя каркас личности поэта. Их соотношение в разное время менялось, но поражала сама по себе их неразлучная слитность.

## 2

В самом начале августа 1909 года, в Мустамяках, Александр Эмильевич Мандельштам получил от старшего брата открытку с видом террасы ресторана Weinhaus «Rheingold» в Берлине на Потсдамской площади. На обороте – следующий текст: «Дорогой Шуручка! Сажу тут и дожидаюсь поезда. Вспомнил о тебе и решил послать тебе это вещественное доказательство своих губительных наклонностей. Одновременно пишу маме. Твой Ося».

Поезда, которого поджидал Осип Мандельштам, скорее всего должен был доставить его в Женеву или Лозанну. В Монтрё в это время уже находились мать и младший брат, Евгений, а сама эта ироническая открытка фиксирует, кажется, первую личную встречу поэта со страной, о которой, в сущности, он уже столько знал.

Но никакое заочное знание не могло бы заменить в мироощущении Мандельштама те полгода, что он провел непосредственно в Германии. В конце сентября или начале октября 1909 года, оставив домашних на курорте, Мандельштам переехал в Гейдельберг. Записавшись на философском факультете на зимний семестр 1909/1910 годов, он провёл здесь осень, зиму и весну, по крайней мере её начало. Весной 1910 года Мандельштам, предположительно, ездил в Италию, откуда вернулся уже не в Гейдельберг, а в Санкт-Петербург.

В действительности мы не знаем, как Мандельштам учился, сколь исправно он посещал лекции и семинары – хотя бы те, на которые записался. Но мы точно знаем, что он был занят и другим, и, может статься, это «другое» как раз и было для него – уже тогда – самым главным.

«Другое» – это, конечно, стихи. Но в стихах того времени – практически ни единого слова о Гейдельберге или о Германии. Впечатления накапливались, но не рвались наружу.

Черёд же стихов, так или иначе связанных с Германией, подошёл только в 1913 году; первым, насколько можно судить, было стихотворение «Бах»:

Здесь прихожане – дети праха  
И доски вместо образов,  
Где мелом – Себастьяна Баха  
Лишь цифры значатся псалмов.

Разноголосица какая  
В трактирах буйных и церквах,  
А ты ликуешь, как Исая,  
О, рассудительнейший Бах!..

В тот же год лютеровская строчка – «Hier stehe ich – ich kann nicht anders...» – легла в эпитафю и начало знаменитого четверостишия:

«Здесь я стою – я не могу иначе»,  
Не просветлеет тёмная гора –  
И кряжистого Лютера незрячий  
Витает дух над куполом Петра.

«Кряжистость», крестьянскость, огненная романтическая наивность, по Мандельштаму, – неперемные спутники немецкого духа. Превосходно зная «правила», среду, почву, регламент, Мандельштам тем более ценил «исключения». Тот же царственно-жертвенный костёр бетховенских симфоний, например, их личностный и в высоком смысле индивидуалистский источник.

...Между тем незаметно подкрался июль 14-го года. Выстрел, грянувший в Сараево, разбудил бога войны и всех её бесов. Россия и Германия оказались врагами, в стихи ворвались сполохи пожаров, обстрелов, смерти. Истинная хрупкость и зыбкость неоспоримых культурных ценностей внушала ужас.

В сентябре европейцы были поражены известиями о бомбардировках немцами готических красавцев-соборов во французских городах: «Отныне и вовеки, – писал известный журналист В. И. Немирович-Данченко, – проклятие и презрение тебе, некогда великая страна, павшая сейчас до последних степеней варварства... Мы не пойдём за тобою. Мы пощадим твой Кёльнский собор, чтобы каждый вечер и утро от солнца выступал

румянец стыда на его башнях, на его каменных стенах – от призраков таких же, как и он, великих, но уничтоженных соборов Реймса и Лувена»

Сходные чувства испытывал, по-видимому, и Манделъштам. В том же сентябре 1914 года он написал стихотворение «Реймский собор» (другой вариант заглавия: «Реймс и Кёльн»), с которым не раз выступал на различных вечерах (сборы от них, как правило, шли в пользу лазаретных касс). Вот первоначальная – «длинная» – версия этих стихов:

Шатались башни, колокол звучал -  
Друг горожан, окрестностей отрада,  
Епископ все молитвы прочитал,  
И рухнула священная громада.

Здесь нужен Роланд, чтоб трубить из рога  
Пока не разорвется олифан.  
Нельзя судить бессмысленный таран  
Или германцев, позабывших бога.

Но в старом Кёльне тоже есть собор,  
Неконченный и всё-таки прекрасный,  
И хоть один священник беспристрастный,  
И в дивной целости стрельчатый бор.

Он потрясён чудовищным набатом,  
И в грозный час, когда густеет мгла,  
Немецкие поют колокола:  
– Что сотворили вы над реймским братом?

Тут примечательно само противопоставление «германского» – как отвлеченно-имперского, воинственного, грубого – и «немецкого» – как причастного культуре, совести, христианству. «Германец выкормил орла», – как будет сказано позднее в стихотворении «Зверинец», или «Ода миру» (1916). Призывая запереть всех воюющих, державных «зверей – орла, льва, петуха, медведя – в душеспасительном «зверинце», Манделъштам обращался к праистокам – «вину времён», к равно необходимому всем и каждому «льну», к глубинному очистительному свету великих рек – Волги и Рейна, испокон века призванных обмывать раны великих своих стран и народов. Символическое значение этих рек было столь прочно и неоспоримо, что и годом позже, когда всё окончательно

перепуталось, и отброшенная во времена варварства Европа («Шумели в первый раз германские дубы, Европа плакала в тенётах...») не представляла уже, что на самом деле с нею станет, именно через реки Мандельштам уловил и по-своему выразил, напророчил грядущее историческое небытие и России, и Германии, их союзную, их роковую причастность к царству мёртвых:

...Всё перепуталось, и некому сказать,  
Что, постепенно холодея,  
Всё перепуталось, и сладко повторять:  
Россия, Лета, Лорелея.

Внутренняя коннотационная взаимозаменяемость таких связок как «Россия – Волга» или «Лорелея – Рейн – Германия» в процитированном стихотворении «Декабрист» (июнь 1917) самоочевидна.

Это же подтверждает и набросок 1935 года, созданный во время работы над циклом «Кама»:

Это я. Это Рейн. Браток, помоги.  
Празднуют первое мая враги.

Лорелеиным гребнем я жив, я теку  
Виноградные жилы разрезать в соку.

В другом пореволюционном стихотворении («Когда на площадях и в тишине келейной мы сходим медленно с ума...», декабрь 1917) отрезвляет – вино, «холодный и чистый рейнвейн», предложенный поэту – и поэтом – от лица чисто российской «стужи» и «жестоккой зимы». Насколько же, воистину, «всё перепуталось»!

Вскорости было написано и стихотворение «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа. Нам пели Шуберта – родная колыбель...» У этого стихотворения есть чёткий адресат – Анна Ахматова – и столь же чёткий импульс: посещение вместе с ней концерта певицы О.Н. Бутомо-Названовой, состоявшегося 30 декабря 1917 года в Малом зале Петроградской консерватории. Стихотворение, открывающееся эпиграфом из Гейне, – «Du, Doppelgänger, du, o bleicher Geselle!..» – и вовсе переносит нас в Германию – в ту самую, где философствующий школяр любовался с противоположного берега городом, замком, рекой – под вдохновенный аккомпанемент соловьев. Знаменитые шубертовские

романсы – на стихи Гёте («Лесной царь»), Гейне («Двойник»), В.Мюллера («Прекрасная мельничиха»), – как это у него нередко бывает, сплавлены у Мандельштама в одно целое.

Сам же Шуберт встречается и у позднего Мандельштама едва ли не чаще других композиторов. А в стихах, написанных на смерть Ольги Ваксель, – встретим не только упоминание имени Шуберта, но и новые отсылки к его романсным циклам (в частности, к песне «Движение» из цикла «Прекрасная мельничиха»):

...И Шуберта в шубе замёрз талисман, –  
Движенье, движенье, движенье.

Бесспорной кульминацией немецкой темы у Мандельштама является стихотворение «К немецкой речи» – уникальное в целом ряде отношений.

### **К немецкой речи**

Б. С. Кузину

*Freund! Versaeme nicht zu leben:  
Denn die Jahre fliehn,  
Und es wird der Saft der Reben  
Uns nicht lange gluehn!*

Себя губя, себе противореча,  
Как моль летит на огонек полночный,  
Мне хочется уйти из нашей речи  
За всё, чем я обязан ей бессрочно.

Есть между нами похвала без лести,  
И дружба есть в упор, без фарисейства,  
Поучимся ж серьёзности и чести  
На западе у чуждого семейства.

Поэзия, тебе полезны грозы!  
Я вспоминаю немца-офицера,  
И за эфес его цепялись розы  
И на губах его была Церера ...

Ещё во Франкфурте купцы зевали,  
Ещё о Гёте не было известий,  
Слагались гимны, кони гарцевали  
И, словно буквы, прыгали на месте.

Скажите мне, друзья, в какой Валгалле  
Мы вместе с вами щёлкали орехи,  
Какой свободой мы располагали,  
Какие вы поставили мне вехи.

И прямо со страницы альманаха,  
От новизны его первостатейной,  
Сбежали в гроб ступеньками, без страха,  
Как в погребок за кружкой мозельвейна.

Чужая речь мне будет оболочкой,  
И много прежде, чем я смел родиться,  
Я буквой был, был виноградной строчкой,  
Я книгой был, которая вам снится.

Когда я спал без облика и склада  
Я дружбой был, как выстрелом, разбужен  
Бог-Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада  
Иль вырви мне язык – он мне не нужен.

Бог-Нахтигаль, меня ещё вербуют  
Для новых чум, для семилетних боен.  
Звук сузился, слова шипят, бунтуют,  
Но ты живёшь, и я с тобой спокоен.

8–12 августа 1932

*P. S.* Еще два слова о немецкой речи. Может статья, она звучала в ушах Мандельштама и в самые последние дни его жизни. По одной из легендарных версий, врачом, смотревшим за умирающим поэтом и принявшим его смерть, был немец Мюллер.



---

# Владимир Сорокин

---

Из романа «Теллурия»

Глава XXIII

Президент Республики Теллурия Жан-Франсуа Трокар проснулся поздним июльским утром в своем дворце L'Edelweiss Noir <sup>1</sup>, возвышающемся на южном склоне горы Кадын-Бажы, венчающей Алтайские горы. Здесь, в горах, Трокар всегда вставал поздно, наверно, потому, что летнее солнце, выбравшись из-за заснеженной восточной вершины, дотягивалось до окон дворца не раньше одиннадцати. А может, ещё и потому, что сон в горах был неизменно глубоким и спокойным, как ледники Белой горы, и, как пяти горным рекам из этих ледников, из него так не хотелось выходить.

Не открывая век, Трокар откинул тонкое верблюжье одеяло, закинул руки за голову, нащупал ими невысокую спинку кровати из массива алтайского кедра, сжал её и потянулся всем телом, откидывая голову сильнее назад, на плоскую маленькую подушку, набитую горными травами Алтая. Он выгнулся и потянулся до хруста в шейных позвонках. Эта привычка была неизменной уже три десятка лет, начиная с казармы лётного училища в Истре. Тогда, восемнадцатилетний, он вцеплялся в пластиковую спинку курсантской койки и тянулся, тянулся всем своим молодым, мускулистым телом, жаждущим жизни, полёта и приключений.

Нынешнее его тело, несмотря на свои пятьдесят два года, было по-прежнему крепким и подвижным. Трокар старался поддерживать форму.

Спал он всегда голым. Посидев на высокой просторной постели, он встал и пошёл по тёплому мраморному полу спальни в ванную комнату. Она была огромной, с видом на горы. Залитые солнцем, они со спокойным достоинством приветствовали президента. Погода была отличной.

Трокар провёл в ванной полчаса, поплавав в небольшом бассейне с ледниковой водой и льдинками, приняв контрастный душ, выбрившись и намазав лицо специальным целебным кремом. Красивое, мужественное лицо смотрело из зеркала на президента спокойно и уверенно: широкие щёки, крупный сгорбленный нос, властные полные губы, тяжёлые веки, упрямый подбородок с косым шрамом, слегка поседевшие виски. Лицо и тело покрывал красивый ровный загар.

---

<sup>1</sup> Чёрный эдельвейс (фр.)

Облачившись в чёрный шёлковый халат, Трокар босиком вышел из ванной комнаты и оказался в малой столовой, также выходящей окнами на горы. Едва он сел за пустой круглый стол, как из узкой двери бесшумно вышла алтайка в сером брючном костюме, подошла к нему и принялась массировать президенту шею и плечи. Президент прикрыл свои тяжёлые веки. Узкоглазое, широкоскулое лицо девушки, не улыбаясь, источало тихую радость. Тонкие сильные пальцы умело делали своё дело. Энергия рук девушки проникала в тело президента. Через десять минут она так же беззвучно удалилась, и тут же открылась широкая дверь, зазвучала лёгкая джазовая музыка, и два изысканно одетых молодых алтайца в белых перчатках ввезли тележку с завтраком. А он у Трокара всегда был только французским, с продуктами из некогда родной Нормандии, которые регулярно доставлялись в Теллурию прямыми рейсами.

На расшитой луговыми цветами льняной скатерти перед президентом возникло мраморное плато с сырами, украшенное виноградом и красной смородиной, байонская ветчина, графин с апельсиновым соком, кофе, сливки, круассаны, хрустящий багет, подсоленное сливочное масло, *fromage blanc* со свежей клубникой и белый, очистительный розмариновый мёд из Лангедока – *parbonne* – подарок великого магистра ордена тамплиеров президенту Теллурии.

Пожелав президенту приятного аппетита на отличном французском, слуги удалились. В Теллурии было три государственных языка: алтайский, казахский и французский. Последний использовался в основном элитой и чиновниками. В школах и высших учебных заведениях преподавание шло на трёх языках. По-алтайски президент почти не говорил, зато за двадцать два года прилично овладел казахским. Президентские послания парламенту и обращения к народу он зачитывал по-казахски. Общение с подчинёнными и с элитой шло исключительно на французском языке.

Неспешно позавтракав, президент удалился в гардеробную, где две юные прислужницы помогли ему облачиться в домашнюю выходную одежду. Была суббота, и никаких государственных дел не предполагалось. В этот день, как и по воскресеньям, президент был закрыт для докладов, просьб и предложений.

В светло-голубом костюме с жёлтым платком в нагрудном кармане, синей рубашке в мелкую жёлтую крапинку, Жан-Франсуа Трокар поднялся на лифте на второй этаж, целиком занимаемый его громадным кабинетом. Огромное, во всю полукруглую стену, окно вмещало в себя обе вершины Белой горы, часть хребта Кадын, два ледника, реку, голубовато-изумрудную долину с крошечными коробочками крестьянских

домиков. Этот вид был способен потрясти воображение. Но президент, мельком взглянув на горы, как на старого знакомого, подошёл к своему массивному рабочему столу, размером и формой напоминающему ископаемого носорога, некогда ходившего по этим окрестностям, ещё не ставшим горами. Едва он уселся в чрезвычайно удобное кожаное кресло, как перед ним возникла и повисла голограмма актуальных мировых новостей субботнего утра. Взгляд из-под тяжёлых век заскользил по ним. И не задержался ни на одной новости. Президент убрал голограмму, взял с гранитной пепельницы узкую косяную алтайскую трубку, уже набитую голландским табаком, раскурил её, выпустил струю дыма и обвёл пространство кабинета привычным взглядом. Помимо рабочего стола здесь были ещё низкий длинный стол с плоскими кожаными диванами, старинные напольные часы из дома семьи Трокар в Руане, китайские вазы, хрустальные канделябры из Версаля в человеческий рост, два гобелена времён Людовика XIV, дворцовые комоды, инкрустированные слоновой костью, картины Магритта, Климта и Матисса, скульптуры Арно Брекера и Родена, шкаф со старинным французским оружием, большая фотография Трокера в форме полковника крылатого легиона в окружении однополчан сразу после взятия Улала<sup>2</sup> с вечно парящим возле неё голографическим голубым шершнем размером с горного орла. Возле окна возвышался подробнейший глобус, словно глубоководная рыба-ёж ошетилившийся десятками воткнутых в него теллурических гвоздей.

В кабинете взгляд президента тоже не задержался ни на чём. Зажав трубку в зубах, он сделал касательное движение пальцем, и перед ним возникли голограммы двух женщин. У одной была голова рыси, у другой – лани.

– Bonjour, Monsieur le Président! – растягивая слова и жмурясь, пропела Рысь.

– Bonjour, Monsieur le Président! – чуть склонила голову Лань.

– Привет, зверушки, – заговорил президент, не меняя спокойно-уверенного выражения своего лица. – Наша встреча переносится на сегодня. Жду вас после восьми.

Рысь и Лань открыли рты для благодарности, но он убрал их голограммы. Посидев за столом и покурив трубку, президент положил её в пепельницу, встал, вышел из кабинета и поднялся на третий этаж. Приложив ладонь к замку, он вошёл в большую комнату, напоминающую библиотеку. Вспыхнул ровный верхний свет. Это было хранилище коллекции монет президента Теллурии. Здесь не было окон – только одинаковые шкафы стояли вдоль четырёх стен. Посередине находился небольшой

---

<sup>2</sup> Столица Республики Теллурия, бывший Ойрот-Тура, Туулу Алтай, Горно-Алтайск.

стол со старомодной зелёной лампой. На столе лежали три деревянные коробочки – три новых поступления. Президент сел за стол, включил лампу нажатием допотопной скрипучей кнопки. И открыл сразу все три коробки. В одной лежали две серебряные монеты древней Ольвии, в другой – чугунная китайская монета эпохи Лян, в третьей... в третьей лежало самое долгожданное – каменные деньги древнего Новгорода, целых шесть кругляшков с дырками посередине, посылка из Новгородской республики.

– Très beau<sup>3</sup> – пробормотал Трокар, достал из ящика стола лупу, салфетки, вызвал голограммы справочников и занялся этими шестью плоскими денежными единицами Древней Руси, выпиленными из розового сланца десять веков назад. Не прерывая своего занятия, он нажал кнопку в торце стола. Из потолка выдвинулся старомодный экран, верхний свет потух, осталась гореть только настольная лампа. Зазвучала музыка, и на экране появились титры черно-белого французского фильма. Это была комедия, снятая ещё до Второй мировой войны.

Занимаясь монетами, президент почти не смотрел на экран. Это стало уже традицией. В его фильмотеке были только плоские черно-белые фильмы. Смотрел их он, только когда занимался своей коллекцией. Основу её заложил прадед, майор-артиллерист.

Жан-Франсуа происходил из старой нормандской фамилии военных. Начав в 1870 году с франко-прусской войны, его предки успели активно поучаствовать не только в двух мировых войнах, но и повоевать на Балканах, в Алжире, на Гаити и в Гвиане. Но в отличие от Жана-Франсуа они все перемещались по земле. Он первый бросил вызов небесам, став лётчиком, а потом возглавив уже знаменитый к тому времени крылатый легион «Голубые шершни». Но мировую славу легиону принёс именно он.

Прошло больше часа. Президент занимался новыми монетами, краем глаза поглядывая на экран. Там тем временем началась другая комедия. Вдруг прозвенел сигнал «сообщение чрезвычайной государственной важности», и над столом повисли три красных восклицательных знака. Президент тронул их пальцем. Знаки развернулись в голограмму лица его первого помощника, пресс-секретаря Робера Леру.

– Господин президент, я бы не посмел побеспокоить вас во время отдыха, но сообщение чрезвычайной важности заставило меня пойти на этот шаг, – начал Леру в своей старомодно-витиеватой манере.

– Слушаю, Леру, – произнёс Трокар, одной рукой убирая звук фильма и не выпуская из другой серебряную монету с изображением богини Деме-

---

<sup>3</sup> очень красиво (фр.)

тры и орла, сидящего на спине дельфина, отлитую в Ольвии за пять веков до рождества Христова.

– Байкальская Республика официально признала наше государство.

Президент положил монету на стол.

– Когда?

– Только что, господин президент.

Леру развернул текст постановления правительства БР. Трокар прочитал его внимательно, не меняясь лицом, и медленно произнёс:

– Это хорошая новость, Леру.

– Прекрасная, господин президент.

Трокар встал из-за стола, прошёлся и потянулся так, что хрустнули шейные позвонки.

– Это... это просто... чертовски хорошая новость, Леру.

– Чертовски хорошая, господин президент! Вчера ночью Конашевич подписал указ. А сегодня утром они провели экстренное голосование в парламенте. Указ утверждён почти единогласно.

– Значит, байкальские коммунисты победили.

– Да, господин президент! Соколов и Хван добились своего. Наша трёхлетняя помощь сделала своё дело. Теперь байкальские либералы уже не вставят нам палки в колёса.

– В колёса... поездов с теллуrom, – добавил президент и впервые за это утро улыбнулся.

– Идущих по Транссибу на восток! – подхватил Леру.

– Да-да... – Президент сунул руки в карманы и качнулся на носках синих, в тон костюму, ботинок.

– С вашего позволения, я подготовлю текст обращения к гражданам.

– Конечно, Робер. И с меня причитается за хорошую новость.

– Был несказанно счастлив сообщить её вам, господин президент! – сиял

Леру.

– Сейчас... нет, вечером – экстренное заседание кабинета министров.

– Слушаюсь, господин президент.

– До скорого, – слегка кивнул ему Трокар.

Голограмма с помощником исчезла.

Президент прошёл по крупному паркету хранилища, повернулся резко и замер, скрестив руки на груди. Взгляд его остановился на экране. Там солдат с лошадиной улыбкой пытался поцеловать девушку.

– Très bien <sup>4</sup>, – произнёс президент.

Затем он вдруг издал резкий гортанный крик, подпрыгнул, раскинул

---

<sup>4</sup> очень хорошо (фр.)

ноги в стороны, хлопнул по ним ладонями и опустился на пол, присев и разведя руки. Замерев в этой позе, он издал звук, похожий на сдержанное рычание.

На экране девушка оттолкнула солдата.

Президент выпрямился, выдохнул, оправил костюм, вышел из хранилища своей небыстрой, но энергичной походкой, спустился в кабинет. За этот час солнце полностью залило его своими лучами. Президент выдвинул ящик стола-носорога, достал коробочку с теллуrowыми гвоздями и небольшой молоток, взял из коробочки гвоздь, подошёл к глобусу, повернул его к солнцу, тут же нашёл столицу Байкальской Республики – Иркутск, приставил к нему гвоздь и слегка вбил его. Солнце засияло на ещё одной теллуrowой шляпке. Положив молоток на мраморный подоконник, президент подошёл к глобусу, качнул его рукой. Глобус поплыл, сверкая шляпками гвоздей.

– Путь на восток... – пробормотал Трокар, сосредоточенно глядя на движущийся глобус.

Теперь этот путь был свободен. Это означало экспорт теллура не только в истосковавшуюся по нему Дальневосточную Республику, но и в Японию, Корею, Вьетнам. И не надо больше извилистых воздушных коридоров, обходных путей, опасных горных троп. Прятаться больше не нужно. Транс-сиб! Поезда пойдут, бронированные поезда с гербом Теллурии, гружённые гвоздями. И никто не остановит их. Никто!

День начался прекрасно. Надо запомнить его: 15 июля, суббота. Прекрасный день! И в такой день вовсе не хотелось сидеть в кабинете, перебирать монеты или вести дурацкие разговоры. С министрами он встретится вечером. Сейчас же хотелось полёта. Полёта! Президент вернулся к столу, вызвал голограмму мажордома:

– Рене, я еду сейчас. Подготовьте всё.

– Слушаюсь, господин президент.

Президент двинулся к выходу. Но вспомнил про долг доброму вестнику. И снова вызвал круглое лицо мажордома:

– Рене, пошлите господину Леру ящик «Шато Лафит-Ротшильд» 1982 года из моих подвалов. Сейчас же.

– Будет исполнено, господин президент.

Через четверть часа вертолёт с Трокаром на борту поднялся с площадки президентского дворца. Президент был экипирован в чёрный комбинезон с замысловатым рюкзаком, на голове – шлем с кислородным респиратором, на ногах – горнолыжные ботинки. Вертолёт стал подниматься вверх. Вокруг простирались склоны Кадын-Бажы, становившиеся всё белее. Солнце сверкало на их отрогах. На ярко-синем небе не было ни облачка.

Дворец президента находился на высоте двух тысяч метров, а вертолёт поднимался выше, выше, пока не завис над одной из двух вершин горы – западной. Открылась дверь, президенту помогли сойти на вершину, передали лыжи и палки. Он сделал вертолёту прощальный жест, и железная стрекоза с изображением голубого шершня на боку полетела прочь. Трокар пристегнул лыжи, взялся за удобные рукоятки палок, отлитые из липкой живородящей резины, воткнул палки в твёрдый снег и замер. Он стоял на вершине. Сильный северный ветер дул в спину, термометр на запястье показывал –12 °С. Но президент не смотрел на термометр. Взгляд его был наполнен величественной картиной, раскинувшейся вокруг. Громоздились, сверкая снегом, отроги, зияли серо-голубые пропасти, полные тумана, распахивалась бездна с белыми змеями четырёх ледников, ползущих в долину, манящую зеленью и бирюзовыми озёрами. Он глянул влево. Там острым шпилем высилась восточная вершина Кадын-Бажы. Небольшое облачко прислонилось к ней, словно ища защиты. Он глянул вправо. Там воздымался хребет Кадын, уходящий на запад и восток на полторы сотни километров. Солнце, бьющее в глаза с юго-востока, было таким сильным, что казалось, могучий хребет дымится от его лучей.

Президент стоял на вершине. Эти мгновения были ни с чем не сравнимы. Он был один. Мир лежал у его ног. И этот мир был прекрасен. Неподаляку на спрессованном ветрами снегу виднелись следы от палок и ботинок. Это он стоял здесь две недели назад.

Порыв ветра толкнул в спину. Это стало сигналом. Президент резко оттолкнулся палками, потом ещё, ещё – и сорвался в желанную бездну. Ветер загудел, взревел, завыл в шлеме, свежий снег зашуршал под лыжами, скрипнул твёрдый наст, взвизгнул лёд – чёрная фигура лыжника сложным зигзагом понеслась вниз.

На горных лыжах и сноуборде полковник Жан-Франсуа Трокар катался так же великолепно, как и летал на своем «шершне». А может, даже и лучше. Страсть к экстремальному спуску, овладевшая им в шестнадцать, не отпускала. Это было сильнее него.

Он знал маршрут и покорял грозное пространство с профессиональной яростью. Пронсясь над пропастями, скользя по ледяным разломам, прыгая через обнажившиеся гранитные глыбы, выражаясь по заснеженным плоскостям, он резал бездну лезвиями своих лыж. И потревоженные снега негодуя срывались со своих мест, с рычанием летели за ним, воздымая волны искрящейся снежной пыли, гнались, грозили и гудели. Но он был быстрее их.

Промелькнули два провала тёмного льда, пронёсся, тихо шурша, глад-



кий холм, поднялся и опал гребень и – распахнулась, дробясь подробно, почти вертикальная километровая стена, а далеко внизу чёрным цветком, вырубленным из гранита, сверкнул президентский дворец. Отсюда сверху он был размером с эдельвейс. Чёрный эдельвейс, растущий в бездне, дарующий уют, знаки власти и радость человеческого тепла...

Началось самое сложное. Ледяная стена угрожающе обрывалась вниз. Она требовала невозможного. Но он был так хорошо знаком с невозможным! Лёд негодуяще завизжал под лыжами, острия палок вонзились в него, чёрное тело, казалось, влипло в стену. Лыжи скрежетали по обнажившемуся граниту, резали и чертили немислимые зигзаги. Стена воздымалась снизу как волна, сверкая льдом, потрясая мощью. Он падал вниз, лавируя и скользя, словно выбирая место для падения. Казалось, стене не будет конца, но вдруг она стала покорно изгибаться, покорённая, раздробилась гребнями, сникла, и он пронёсся в трёхстах метрах от дворца, прыгнул, полетел, приземлился и заскользил по длинной и широкой седловине, полной глубокого рыхлого снега. Он отстегнул респиратор. Холодный горный воздух ворвался в лёгкие. Седловина изгибалась волнами, колыхала и качала. Он отбросил палки, нажал кнопку В рюкзаке щёлкнуло, и плавно выдвинулись-раскрылись узкие чёрные крылья, хлопнули, заработав, два твёрдотопливных двигателя. Он схватился руками за крепления крыльев. Тяга понесла его, он оттолкнулся от снега и взлетел, сбросив лыжи. И вовремя – седловина обрывалась ущельем. Он взлетел и понёсся вперёд, вниз, туда, где уже не было снега, а зеленели луга, темнели ели и кедровые сосны, синели озёра. Мир ледяного безмолвия остался за спиной. Впереди лежал мир человеческий. И он ждал его. Двигатели несли, он рассекал воздух, теплеющий с каждой секундой. Пролетев между двумя полосами ледников, он устремился в долину. Горная река выползла из-под ледника и извивалась под ним, набирая силу. В долине показались крестьянские домики и – дым, дым, восходящие кверху, дым, смысл которых был один: мы ждём тебя, мы любим тебя. Его ждали. И любили. Сотни дымов от сотен костров. Это дорогого стоило. Эти дым были ни с чем не сравнимы – ни с овациями, ни с почестями мировых элит, ни с почётным караулом, ни с богатством и властью. И он всегда радостно улыбался, влетая в долину.

Крестьяне ждали его. Он летал исключительно по выходным дням и только в хорошую погоду. Живущие возле горы знали это. Ещё они знали, что их президент после полёта любит съесть пиалу алтайского бараньего супа кече, сваренного на костре. И сотни крестьян-скотоводов с утра смотрели из-под ладоней на небо – будет ли оно ясным? А если было – кололи



улыбались, бормоча и подвывая. Президент подал им руку, они стали называть себя. Когда дошла очередь до молодой женщины, она назвалась и приветствовала президента на плохом французском. Трокар ответил и спросил, говорят ли по-французски её дети. Оказалось, что говорят. И значительно лучше матери. Старший сказал, что в школе у них преподаёт француженка, Mademoiselle Palanche. Très bien, très bien! Президент рад, что перед молодым поколением теллурийцев открываются новые возможности. Далеко ли до школы? Oh non, Monsieur le Président, très proche! Juste une demi-heure en vélo!<sup>5</sup> Прекрасно! Учёба в нынешнем сложном мире важна как никогда. Помогают ли дети своим родителям? Oui, bien sur, Monsieur le Président. Замечательно! Довольны ли родители успехами своих детей? Très, très satisfaits! Прекрасно! Старик со старухой, не понимая, радостно кивали. К ним президент обратился по-казахски, благо все алтайцы понимали этот язык:

– Здоров ли скот?

– Мал Аман! Мал аман!<sup>6</sup> – закивали они ещё сильнее.

– Прекрасно, если скот здоров. Здоровый скот – это здоровье ваших детей и внуков. Чистый воздух Теллурии, её недра, экология – залог здоровья всех нас. Однако не пора ли нам всем отведать супа? Ваш президент слегка проголодался в горах.

Семья радостно засуетилась, и вскоре президент уже сидел за вынесённым на луг столом вместе с алтайской семьёй и ел суп кече, закусывая его свежее испечённой лепёшкой, замешенной на кислом молоке. Вкус этого супа, сваренного из молодой баранины и чечевицы на костре, был для Жана-Франсуа Трокара уже давно так же важен, как и спуск с Белой горы, как и полёт над долиной. Это была традиция, и отделить одно от другого было невозможно. Сидеть за деревянным столом на лугу вместе с крестьянской семьёй, разделять с ними простую трапезу, вдыхая чистый воздух с дымком костра, говорить с ними об экологии, о ценах на зерно, о новых горных туннелях – что могло быть лучше этого после головокружительного спуска? И великая гора, которую он только что в очередной раз покорил, этот Белый Великан сиянием вековых снегов подтверждал: ничего.

Завершив трапезу, президент достал из кармашка крошечные песочные часы с теллуровым песком внутри и голограммой герба Теллурии снаружи и подарил главе семьи. Этот подарок он делал всем, к кому залетал в гости. Часы отмеряли ровно одну минуту.

Тепло протившись с семьёй, президент сел в вертолёт и вернулся в свой горный дворец. Приняв ванну и выпив успокоительного чая, он прошёл

---

<sup>5</sup> О нет, господин президент, очень близко! Всего пол часа на велосипеде! (фр.)

<sup>6</sup> скот здоров (казах.)

в спальню, лёг в постель и проспал до седьмого часа. Сон после спуска всегда отличался особенной глубиной и продолжительностью.

Проснувшись, Трокар принял душ, облачился в вечерний костюм, выпил чашечку не очень крепкого кофе, выкурил египетскую сигарету и прошёл в свой кабинет. Солнце уже спряталось за западные отроги, и кабинет был освещён ровно и приятно. Горы посерели и отделились, подёрнувшись кое-где туманом. Глобус зажёгся и подсветил угол кабинета приятным голубовато-зелёным светом. Президент сделал движение рукой, и в кабинете повисли голограммы всех двенадцати министров Теллурии. Они уже знали главную новость дня и с приветливыми улыбками смотрели на своего президента.

– Поздравляю вас, господа, – произнёс президент. – Путь на восток свободен.

В ответ раздались поздравления и радостные возгласы. И началось экстренное заседание кабинета министров, затянувшееся на три с лишним часа. Оно закончилось необычно: президент попросил принести шампанского и встал с бокалом в руке. В руках у министров тоже оказались бокалы с шампанским. Президент подошёл к каждой голограмме и чокнулся с каждым министром. Правители Теллурии выпили за свою страну.

Когда голограммы погасли, президент покинул кабинет, спустился в подвальный этаж. Там в просторной гостиной в марокканском стиле его давно уже ждали две женщины в вечерних платьях, с восхитительными фигурами. У одной была голова рыси, у другой – лани. Лань курила тонкую сигарету, вставленную в длинный мундштук, Рысь нарезала кокаиновые линии на зеркальном столике. Завидя президента, женщины встали и пошли к нему.

– Жан-Франсуа! – проблеяла Лань, обнимая и целуя его в правую щеку.

– Жан-Франсуа! – промурлыкала Рысь, прижимаясь шерстью к левой щеке.

– Привет, мои хорошие, – слегка улыбнулся он. – Заждались?

– Заждал-и-и-ись!

– За-жда-лись!

Обнявшись, они подошли к низкому дивану, сели на него, откинулись на цветастые подушки. Лань подала президенту бокал с шампанским, Рысь поднесла к его ноздре фарфоровую ложечку с кокаином. Президент втянул порошок и сразу, другой ноздрей, – вторую порцию. Это была его вечерняя норма. Президент не злоупотреблял наркотиками. Лань отёрла его солидный, известный всему миру нос тончайшим батистовым платочком.

– Très bon<sup>7</sup> ... – пробормотал президент и глотнул из бокала.

---

<sup>7</sup> очень даже (фр.)

- Говорят, путь на восток теперь свободен? – промурлыкала Рысь.
- Нет больше препятствий, правда? – косила глазами Лань.
- Нет, – ответил он, не глядя на женщин.
- Наша страна станет ещё богаче?
- И ещё могущественней?
- Да.
- Мы это отметим сегодня?
- Да.
- Нас ждёт праздничный ужин?
- Да.

Даже под кокаином Трокар не становился более разговорчивым. Взгляд его коснулся резной сигаретницы. Рысь достала сигарету, вставила ему в губы. Лань поднесла огня. Президент закурил, попивая шампанское. Они сидели молча. Когда сигарета кончилась, Рысь вынула её из президентских губ, потушила в пепельнице.

Президент допил шампанское, поставил бокал. Посмотрел на женщин. И шлёпнул их по коленкам: – Пора в нашу саванну, зверушки.

Женщины нежно рассмеялись, помогли ему встать. Обнявшись, они прошли через гостиную, приблизились к двери. Президент приложил руку к замку, дверь открылась. Они вошли в круглую полутёмную комнату. Дверь за ними закрылась. Посередине комнаты стоял низкий квадратный подиум, светящийся розоватым светом. По углам подиума замерли четверо очаровательных подростков обоих полов в тюрбанах и набедренных повязках. В руках они держали опахала из пальмовых листьев и плавно обмахивали им подиум. В комнате было жарко, пели цикады и пахло югом. Президент подошёл к подиуму и кинулся на него спиной. Подиум был мягкий. Президент лежал, разведя ноги и руки, буквой «Х». Он смотрел в розовый потолок. Мужественное лицо его выражало уверенность и порыв. Рысь и Лань легко и быстро скинули свои платья. Лань была стройной, с небольшой грудью, тончайшей растительной татуировкой на животе и голым лобком. Рысь – полнозатой, с большой белой грудью, белым телом и рыжеватой шерстью на лобке. Её длинный и тонкий фаллос был напряжён. Женщины сели рядом с президентом и стали медленно расшнуровывать его ботинки.

- Жан-Франсуа готов к сафа-а-а-ри? – проблеяла Лань.
- Жан-Франсуа зарядил своё р-р-ружьё? – прорычала Рысь.
- Да!! – выкрикнул президент в розовый потолок и громко хлопнул в ладоши.

Опубликовано: «Теллурия», Москва, «Corpus», 2013.

---

# Виктор Тихомиров

---

*Из романа «Евгений Телегин и другие»*

## *Отрывок 1*

... Несмотря на очевидную юность, Женя раза три уже был влюблён, как сам считал, «по-настоящему». Первый раз – лет в восемь, после – в двенадцать, а потом уж только в пятнадцать, и длилось это почти целый год. Влюблённость вызревала в нем каждый раз в совершенной полноте, ещё и потому, что никогда, как ему казалось, не была разделена. И так ослепительно и необычайно было это ощущение, и такой сопровождалось всегда чистой и огромной радостью, что совсем не подразумевало встречного чувства, тогда он немедленно бы сгорел в огне мотыльком. Утолялось же это любовное переживание сущими пустяками: случайными встречами, подсмотренными жестами, улыбкой, адресованной даже не ему, или мимолётной приветливостью, – всё это приобретало огромное значение и смысла, который точно что был, но разъяснён быть не мог.

Каждый раз после встречи с предметом влюблённости долго колотилось и ныло в мальчишеской груди сердце, доставляя неизъяснимые наслаждения и наполняя довольно рутинную подростковую жизнь ярким смыслом и как бы направлением. При этом внимание его сосредотачивалось на одном только лице возлюбленной, затмевавшем своим сияньем остальные части тела, которые могли только помешать, отвлечь от главного.

Размышляя о странности своих чувств, Евгений любил завалиться на кожаный диван и так лежать, часами собираясь включить магнитофон с музыкой, всегда обострявшей созерцательное состояние. Кажется, его вполне занимало наблюдение за движением косоного, наполненного пылью, солнечного луча из двери в другую комнату, который успевал переползти от правой ножки стола к левой, пока не затекал у подростка бок.

Всегда кстати приходились прогулки по Летнему саду, благо тот находился совсем рядом, через Фонтанку. Женя с детства любил разглядывать гладкие белые статуи, с очень уж круглыми и оттого, казалось, глупыми и несовременными лицами. Они будто добавляли ему недостающего, недоданного матерью тепла, когда чредой выступали из зелени белизной мрамора, при взгляде в перспективу главной аллеи или у боковых заросших кустами дорожек. Правда, он довольно долго не мог смириться с наготой мраморных фигур, особенно мужских, слишком отдающей женственностью. Всегда-то

ему казалась она чрезмерно искусственной, не вяжущейся с жизненными представлениями. Мать объясняла, что так надо, иначе не достигнуть в искусстве возвышенного. А «жлобства», мол, и так вокруг хватает.

Волновала его и особым образом занимала скульптура «Амур и Психея». Психея вроде красивая, а сама приблизилась к спящему юноше и любит его, не смущаясь.

– Небось, со мной вряд ли такое произойдёт, – вздыхал он про себя, – и любоваться нечем, и девушек таких не бывает. Но если б вдруг чудо... и в этот момент проснуться, то как бы она, наверное, страшно смутилась и убежала ... Можно было бы схватить за руку: «Постой, не бойся!» ...

А, может, и произойдёт когда-нибудь что-то такое ...

### *Отрывок 2*

Тут из-за самой развесистой ивы показалась ещё одна особа, появлением своим развеившая опасения Евгения, что никто не видал его прыжка. Особе на вид было лет пятнадцать, волосы светлые и выгоревшие, недопустимым, с точки зрения моды, образом заплетены были у неё в две небольшие косы, собранные на затылке, и платье – самое простое и даже несколько ветхое от стирки.

– Таня! Таня! Меня подожди! – слышался тут же крик, и на холм в начале тропинки выбежала ещё девушка в завязанной узлом на животе клетчатой мужской рубаше и закатанных до колен трениках.

Заметив более старших девиц, Варвара немедленно струсила и, махнув веслом, скрылась в камышах. При этом она успела метнуть каждому из парней по огненному и многозначительному взгляду. Очевидно, что ей не терпелось повзрослеть, так чтобы её возрастной минус обратился бы поскорее в плюс.

Евгений тем временем уже лежал на песке, ожидая, что состоится знакомство с приближающимися. Его, конечно, заинтересовала больше девушка в рубаше. Она сразу выступила на передний план, потеснив и заслонив названную Таней. Телегину никак было не оторвать глаз от её треников, которые не просто облегали бёдра, а самым нахальным образом врезались прямым в интимное место, раздвоив его и давая ход самым волнующим юношеским представлениям.

У Владимира мигом переменилось выражение лица, он расплылся в улыбке и бросился навстречу девушкам. Евгению сразу не понравилось, как он согнул спину и ногами засеменял.

«Влюблён, что ли?», – неприязненно подумал он, начиная чувствовать превосходство своей независимости, как свободы.

– Приветик, Володенька! – прыгнула на шею Владимира девушка в рубаше



и быстренько расцеловала его куда попало, отчего парень зажмурился, как кот, и замер, желая, видимо, чтобы мгновеньям этим не было конца. Хотя, как заметил Телегин, поцелуйчики были так себе, поверхностные, ни к чему не обязывающие. Та же, продолжая целовать художника, уже косила глазом в сторону Евгения и спрашивала полушёпотом и скороговоркой:

– Ктой-то, ктой-то, там с тобой? – и ещё успевала сделать по другую сторону «страшные глаза» спутнице.

– Ну, пошли знакомиться, – нехотя повернулся Владимир и подвёл обеих девушек к Евгению.

Тот легко поднялся и, улыбаясь одной половиной лица, чему специально выучился для таких случаев перед зеркалом, чтобы выглядеть сразу и приветливым, и скептическим, протянул руку и представился:

– Евгений.

– Оля Сундукова, – присела кокетливо девушка и указала на подругу, застенявшуюся и даже отвернувшуюся к воде, но, видимым усилием воли, не отошедшую.

– А это Таня, сестра моя младшенькая. Ни малейшего сходства, зато красавица, хоть и консерватор жутчайший.

Таня неожиданно шагнула к Евгению и протянула ему для пожатия руку. Женя, не переставая разглядывать Ольгу, лишь на миг повернулся и пожал протянутую ладонь, отметив в параллельном сознании необычайную её нежность: можно было бы сравнить её с детской, но детская не может быть так отзывчива. Сравнение это так и застряло в голове юноши несформулированным, чтобы всплыть много позже, когда некоторые его воспоминания, даже из числа забытых, приобретут вдруг огромное значение.

Если бы внимание Евгения не было так рассеяно, он мог бы почувствовать в этот именно миг всё главное в этой девушке и оценить, и может понять, как неслучайна их встреча, и даже повернуть дальнейший ход событий в совершенно другую сторону. Очень важны эти первые мгновения знакомства, ещё не осознаваемые, в которых спрессована целая пропасть информации, почти всегда проскальзывающая мимо внимания.

Но парень был занят борьбой с искушением поскорее перевести взор с Олиного лица на её обтягивающие треники, и едва заметил необычайную нежность Таниного рукожатия, и тут же надолго забыл.

### *Отрывок 3*

У Тани возникло почти брачное чувство к Евгению, она стала частью возлюбленного, и это теперь могло служить неиссякаемым источником

радости. Она почти ничего не ела, не могла усидеть на месте, а всё гуляла, не чуя под собою ног, и, возможно, поэтому похудела больше прежнего.

– Одни глаза от тебя остались, – качала головой тётка, видя, как Таня вспархивает из-за стола, почти не прикоснувшись к еде. А Таня, где бы ни гуляла, всё это были пути передвижений Евгения. Её можно было застать и у Володькиного дома, и на пляже, и созерцающей ландшафты, которые, как ей казалось, могли понравиться ему, и у самого его дома. Она бы и совсем не отходила от этого дома, стояла бы, прижавшись к стене под балконом, но боялась раздражить возлюбленного, в случае, если б оказалась замечена.

При этом силы её только множились. Их было столько, что она, наверное, в это время могла бы побить некоторые спортивные рекорды. Странно, что это не отражалось на её внешности и поведении. По-прежнему она казалась робкой и беззащитной.

Чтобы найти выход этой постоянно копившейся энергии, Таня ничего не придумала лучшего, как обратиться к письму. Она ещё из детских книг и старых фильмов помнила, что есть такой важный козырь в борьбе за любовь, как признание. Признаешься в любви возлюбленному, и в тот же миг он тоже вдруг может сообразить, что взаимно влюблён. Или, того лучше, был влюблён и так, но скрывал своё чувство из гордости или опасения быть осмеянным, отвергнутым. Теперь же, когда все препятствия исчезнут, может наступить счастье.

#### *Отрывок 4*

– Не ори! Рядом стою! – раздался пьяный рык с улицы, бывший ответом на истерические и бессвязные бабьи восклицания, адресованные, по всему видно, что своему, всегда в чём-нибудь виноватому мужику.

Евгений проснулся уже от этих женских причитаний в страшной досаде, поскольку виделся ему увлекательный сон, сюжет которого как раз приблизился к вожаделенной кульминации, которая всё откладывалась из-за выраставших на каждом шагу препятствий, но уж совсем должна была произойти... Но визг этот бабий, составленный из отвратительных в своей бессмысленности интонаций, вырвал его из сна, да так, что юноша через секунду совсем почти не мог припомнить самого сновидения, стремительно ускользавшего из памяти.

Удивительным образом, и это не в первый раз было при пробуждении, бабий визг в точности совпал с криком снившегося ему Поля Маккартни. Все участники «Битлз» сидели в студии и в перерыве репетиции пили кофе, да начали переругиваться. Телегина они пригласили в качестве

редактора, чтоб вместе ехать в турне по Китаю, ему поручалось писать нечто вроде дневника этих гастролой. Говорили все по-русски, но почему-то с грузинским акцентом.

Евгений обмолвился, что альбом «Эбби Роуд» надо начинать слушать со второй стороны, и тогда скучно ни разу не делается. Джон подскочил, как ужаленный, и нервно ткнул пальцем в грудь Маккартни,

– А я что тебе говорил сто раз!? Послушай теперь умного человека, коли со мной тебе считается запахло!

Ринго и Джордж не вмешивались, имея вид напускного равнодушия, но явно переживали за своё неопределённое будущее, в свете непрекращающихся скандалов судьбоносных друзей. Ринго одной рукой держал кружку и, отхлебывая из неё, виртуозил палочкой: вертел её поочередно вокруг каждого пальца. При этом он обдумывал, чего бы возразить на свежее утверждение Джорджа, будто в славе, особенно рано свалившейся на голову, человек начинает стремительно стареть. Харрисон озабоченно тыкал раскалённым паяльником в разобранный разъём, выпуская клубы белого дыма, на кофе лишь поглядывал.

– Я не особенно уверен, Евгений, что Вы отчётливо поняли смысл композиций и как выстроен альбом, – учтиво обратился заметно побледневший Маккартни к Телегину. – А ты, – взорвался он внезапно в сторону Джона, – поменьше бы свою косоглазую слушался! Она ещё, погоди, заставит тебя вместе с собой овцой блеять со сцены!

– Вот только благодаря ей, я и терплю пока твою патаку, от которой меня давно тошнит! – спокойно произнес Джон, раскачиваясь с пяток на носки широко расставленных ног. И я давно заметил, что ты отсталый, а точнее, отстойный буржуазный тип! – холодно добавил он – и по-настоящему новое тебе недоступно.

– Это что ли новое? – Пол сдвинул глаза к носу, одновременно оттянув пальцами веки на восточный манер, и пронзительно заверещал нечеловеческим голосом, подражая вокалу Ленноновской пассии, чем и разбудил Евгения.

Телегин смотрел теперь в потолок и переживал пограничное состояние между сном и явью, не в силах выбрать, что лучше.

– Не мог же Пол заранее знать, когда завизжит на улице эта баба, чтоб так точно совпало? – тяжело размышлял Евгений, – как нарочно, чтоб я проснулся. Но как возможно так рассчитать? Может, время во сне движется в обратную сторону, и сон начался с этого крика?

Досада и раздражение не хотели отступать, тем более оба любимца правы. Пол, конечно, своими мелодиями аудиторию расширяет и спрос. А Джон новизну и оригинальность придаёт группе. Нечего и скандалить.

Евгений припомнил, что в детстве ему, пожалуй, чаще снились счастливые сны, чем теперь. Затем ему пришло на ум, что, должно быть, после смерти человек бесконечно досматривает все недосмотренные сны. И одним людям вечно снятся счастливые сны про любовь, с радостными событиями и встречами, другим же, наоборот, бесконечные ужасы и душегубские кошмары. Это-то, наверно, и есть, соответственно, Рай и Ад.

### *Отрывок 5*

Оставшись одна с письмом в руке, она опять спустилась к воде. Воспоминания о водяной свинье отступили на десятый план. Девушка повертела сочинение, свернула из него кораблик и пустила по воде. Почти сразу буквы стали расплываться, и за судном потянулся едва заметный фиолетовый шлейф.

Как только корабль заплыл за камыши, на него попыталась нахально взобраться зеленая лягуха, с целью прокатиться, но катание продлилось лишь секунду, судно затонуло, расплозлось под непомерной тяжестью пассажира и скрылось под прозрачным слоем воды. Дальше уже лягуха долго пыталась судорожными движениями освободиться от приставшей к животу обузы в виде размокшего тетрадного листа.

...

Таня присела на бревно и предалась своему любимому занятию – беспочвенным метаниям. Её любовное переживание было почти совершенно полным, возможно, более полным, чем, собственно, интимная связь, если б вдруг таковая случилась. Эмоции были так сильны, что появившись рядом Телегин, он был бы, пожалуй, лишним. Сердцу и так не хватало места в стеснённой груди. К тому же Евгений воображаемый был гораздо совершеннее в Таниной мечте и, главное, более подходящим ей. Воображаемому место нашлось бы.

Она так погрузилась в эти грёзы, что даже слишком частые всплески в воде и подозрительный шум в камышах не отвлекали её внимания. Перед мысленным взором девушки стояла не окружающая природа с тщетно пытающимися её развлечь тремя стрекозами прямо под носом, а одевающийся и застрявший в лучах солнца полуобнажённый Евгений. Даже с молнией на своих замечательных штанах, которая несколько заупрямилась, он справился с удивительным изяществом и очарованием.

Таня припомнила как на днях перед сном уже в потёмках решила поинтересоваться у старшей сестры:

– Как ты думаешь, Оля, когда девушка, ну... в общем, сама уступает парню, которого любит, то это очень сильно на него влияет?

– Вопрос на засыпку... – сразу глубоко задумалась сестра. Во-первых, я не могу знать. Но знаю, что некоторым девочкам кажется, что если к ним между ног попасть, то там прямо «райские кущи» ожидают счастливец, и он тотчас обязан потерять голову. А тот вдруг раз и не теряет, и даже не особо ценит эту жертву, – она помолчала глубокомысленно и продолжила, – разве что девственник подвернётся, но рассчитывать на это нельзя, факт. Как повезёт, – вздохнула она опять, – некоторым, я знаю, везёт и даже очень. Опыт важен, конечно, всякие там бесстыжие штуки, но я и без него, знаешь ли, уводила парней у всяких там «опытных». Правда, они постарше были. Так что хочешь, изучай всякие гигиенические тонкости, хитрости и упражняйся, а хочешь, наоборот, Богу помолясь, береги до упора нетронутость и надейся на лучшее. По-моему, это твой вариант. Только парня надо искать типа Володьки, непаханого. Но таких только ленивые не оттесняют, – замолчала она и молчала долго, кажется, прислушиваясь к тихим вздохам младшей сестры, затем прибавила, сладко потягиваясь, – потому что скукота с ними...

– А любовь что, ни при чём? – подала голос Таня.

– Ты ж про другое спрашивала? При чём, конечно. Например, матёрых волчищ часто пробивают на любовь именно такие бледные привидения, как ты, к сожалению. Как в сказке про Снегурочку, – зевнула она так, что едва не вывихнула челюсть, – никакой нет в природе справедливости! Просто хочется рвать и метать! – побормотала она почти сквозь сон и добавила, еле ворочая языком, – уж и не знаю, крапивой что ли тебя от Телегина отвадить?.. Спать давай. Твоё дело – снегурочковое.

### *Отрывок 6*

Освещение было не лучшим: слишком яркое солнце, всё блестело, цвет зелени повсюду почти одинаков, тени под кустами чересчур темны и контрастны по отношению к ядовито-зелёной траве. Даже небо без облаков казалось выкрашенным в банальный синий, такая же была и вода под ним. Только пыльная жёлтая тропинка содержала в себе подходящий к настроению колорит и могла удерживать в приличных рамках эту купоросную вакханалию. Володя всё внимание сосредоточил на этой желтизне с пятнами охры и марса, оставшимися в колеях после дождя, и принялся почти сплошь замазывать поверхность этими красками в расчёте, что зелень сама о себе позаботится. Пока он махал охряной кистью поперёк холста, открылся ему возникший вдруг некий иероглиф, сам собой уместившийся в пределах изображения. С этого момента Ленин

перестал видеть края холста. В пластике этого подобия иероглифа уже было почти всё, что он собирался увидеть как результат. Но хотелось ещё общепринятой внятности, а для этого нужна была рутинная работа. И всегда-то его терзали сомнения, так ли уж необходимы эти хлопоты о том, чтобы все всё поняли? Правда, в других художниках он всегда это видеть желал.

Волевым усилием Ленин заставил себя вперить взор в самую гущу зелени и тарашил глаза до тех пор, пока там не объявились красные пятна. Зелень пошла на убыль. Теперь с ней можно было справиться. Словом, пейзаж двинулся.

Меж тем на пригорке, в виде мелкой фигурки с сияющей головой и плечами, появился Телегин.

– Очень кстати! – подумал Ленин и тремя движениями кисти вмазал фигуру в холст. Этюд немедленно ожил, и стало гораздо понятней, как теперь справляться с назойливыми контрастами.

#### *Отрывок 7*

Ленин с кистью в руке очередной раз вздохнул и уселся против Ольгиного портрета, между двух огромных палитр, пространства которых ему всегда не хватало, чтоб добавить ещё мраморной белизны шее возлюбленной. Стало явно лучше, хотя на самом деле это место у Ольги было весьма даже загорелым, о чём та специально хлопотала на пляже, задирая в сторону солнца подбородок. Но так вышло более нежно. Шея будто засветилась перламутром. Во всём облике девушки появилась трепетность, которой на Володькин вкус несколько не хватало оригиналу.

Художник оглянулся на прочие свои холсты, кое-как висевшие по стенам на случайных гвоздях. Надо было выбрать что-нибудь в подарок Тане. Картин было жалко всех, но Володя волевым усилием выбрал лучшую на его взгляд и решил подарить именно её. На метровом холсте изображён был плывущий по течению небольшой речки, лёжа на спине, медведь. На обширной груди его уютно поместилась мелкая деревенская девчонка, с любопытством озиравшая берега, украшенные буреломом, стогами сена и цветами. В воде отражалось садящееся за горизонт солнце, повторившее свой жар в куполах церковки, притулившейся на краю композиции.

– Во-первых, картина останется в досягаемости, – утешал себя живописец, – всегда можно зайти и полюбоваться. На худой конец, её можно сфотографировать. Во-вторых, будет попадаться на глаза Ольге и влиять на её мысли. В-третьих, не зря ж говорят: «Рука дающего не оскудеет».

И выходит, что я – молодец, не жалею любимой картины! Не исключено, что в дальнейшем мне за это выйдет от судьбы награда.

Тут же он поймал себя на мысли о награде и огорченно решил, что это не хорошо так рассчитывать, но в следующий момент похвалил себя за это замечание и решил, что молодец, раз не дал себе загордиться, но вслед за тем опять огорчился уже за эту похвалу и только было хотел одобрить это огорчение, как спохватился, поняв, наконец, что чехарде этой нет конца. Ленин решил остановиться на самой первой похвале себя, и «стоп машина», ибо тут уж точно лукавый начинает гонять по кругу, и так ни одного доброго дела не сделать.

### *Отрывок 8*

Первый секретарь товарищ Поднапружный ехал в персональном «Зисе» и нервно наносил дружеские тумачи в шею личного шофера Лошаддинова. Не шёл у него из головы последний, исполненный укоризны взгляд Ильича при расставании.

– Ничего поручить нельзя! – напряжённо размышлял секретарь, – юбилей на носу, а этим пороссятам хоть бы что. Только морды строят масляные, а дела не дожدهшься. Надо на них товарища Грызло спустить, и сроку не три дня, а один. И чтоб на общественных началах мне!

– Заворачивай, Лошаддинов, к управе, – скомандовал он и ещё сильнее двинул водителя в загривок. Тот немедленно притормозил и стал выкручивать руль, чтоб повернуть, куда сказано. Закончив поворот, Лошаддинов принялся разгоняться до крейсерской скорости и совсем было разогнался, но тут на дорогу выскочил кролик размером с пса и стал как вкопанный. Движимый гуманизмом водитель ударил по тормозам и вывернул руль. «Зис», привычный к езде степенной, начальственной, тотчас развернуло к обочине, а затем опрокинуло в кювет. Две снесённые осины несколько смягчили удар, и автомобиль, запрокинувшись, оказался в канаве, наполненной черной жижей. Лошаддинов сильно ушиб о руль скулу, а товарищ Поднапружный не пострадал вовсе, успел только сильно испугаться, что сейчас погибнет, не оставив достойного преемника на своём партийном посту.

«Зис» сперва впустил в себя черный поток, а уж после выпустил потерпевших, которым пришлось буквально проныривать через антрацитовую, да ещё и вонючую гадость. Выбравшись на шоссе, они попытались остановить хотя бы какой-нибудь грузовик, но тщетно, ибо имели вид нефтяников, празднующих открытие нового месторождения.



К тому же, видимо, контуженный Лошадинов всё время норовил упасть, но секретарь падать не давал, демонстрируя лучшие качества партийца. Наконец, их посадил мужик в высоченную телегу, запряжённую клячей, долго не хотевшей трогаться с места, а только косившей жёлтым глазом в сторону возницы, когда тот нахлестывал её вожжами.

– Сволочь ты неблагодарная, вот что! – читалось в этом взгляде. Вскоре ей надоело упрямиться, и экипаж тронулся.

За этими хлопотами секретарь начисто забыл о памятнике вождю, вспомнив о нём только в следующем квартале, и тем самым не помешал развиваться событиям, которые продолжали идти своим ходом, не без участия кролика Соломона.

Опубликовано: «Евгений Телегин и другие», Спб., «Партизан», 2017

---

# Михаил Шишкин

---

## Вальзер и Томцак Эссе

*Печатается с сокращениями*

Конечно же, он хотел и читателей, и признания. Он был писателем, а не святым.

Чтобы стать собой, ему сперва нужно было отсечь чужое – театр.

Первое произведение писателя – он сам. Так из глыбы мрамора нужно отсечь всё лишнее, чтобы появился мальчик, вынимающий занозу. Мальчик всегда уже в этой глыбе был.

Подмостки ещё кажутся ему призванием. Он знает все шиллеровские монологи наизусть, но зеркало – неблагодарный зритель и удачно отражает лишь поклоны. Шаг на сцену кажется шагом в правильный искомый мир, где вымысел становится жизнью, где затаивший дыхание зал внимает каждому твоему слову, где можно играть в прятки, быть любим, героем или злодеем, где шквал оваций заменяет поиски смысла, где мёртвые, когда падает занавес, выходят кланяться, умерев по-настоящему и по-настоящему воскреснув.

У него ломкий неуверенный голос – и останется таким на всю жизнь.

От театра его спасает проезжая знаменитость, покорившая все столицы мира, в том числе и Петербург. Великий Йозеф Кайнц встречает семнадцатилетнего юношу, говорящего со смешным швейцарским акцентом, лёжа на оттоманке. Не дослушав монолог до конца, носком домашней туфли вершитель судьбы даёт понять, что аудиенция закончена.

Роберт Отто Вальзер был плохим актёром.

Вскоре он напишет сестре: «Из моего актёрства ничего не вышло, и Бог хочет, чтобы я стал великим писателем».

Книги растут из детства.

Отец – неудачник. Считал себя дельцом, но все коммерческие начинания кончались безденежьем, а в семье родились восемь детей, всех нужно прокормить, всем нужно дать образование. Переплётная мастерская, лавка канцелярских принадлежностей и игрушек – всё прогорает. Семья стремительно опускается по социальной лестнице в городке Биле, стремительно расцветающем на исходе XIX столетия. О будущем ещё никто ничего не знает. Кроме писателя. Но об этом позже.

Роберту двенадцать, когда мать сходит с ума. Она в доме, но куда-то ушла от детей и мужа, оставив им только своё тело, стареющее и одновременно вернувшееся в детство. Старшая сестра Лиза ведёт хозяйство, заботится о детях и ухаживает за матерью, которая ест, пьёт и ходит под себя. За обедом она вдруг может начать бросаться ложками и вилками.

Для получения образования нет денег. В четырнадцать он оставляет школу, отец устраивает его в местное отделение Бёрнского кантонального банка. У подростка красивый почерк. Нужно зарабатывать на пропитание для большой семьи. Вальзер больше ничему нигде не будет учиться – только читать.

Мать умирает, когда ему шестнадцать. Дома его ничто не держит, да это и не дом, а место, где проживают вместе очень разные и чужие люди. Вальзер всю жизнь будет тосковать по семье, которой у него не было. Его первый полудетский рассказ о том, как мальчик пускает шляпу плавать в пруду и прячется, чтобы все домашние подумали, что он утонул. Ему важно, чтобы его искали и нашли, чтобы кто-то был счастлив от того, что он жив, что он просто есть на этой земле.

«Они все появляются из самых разных направлений, некоторые даже приезжают по железной дороге из отдалённых мест, терпеливые, как стадо баранов, а вечером снова расходятся каждый в свою сторону, чтобы утром, ровно в то же время, опять собраться всем вместе. Все похоже на всех, но все друг другу чужие, и если один из них умирает или кого-то ловят на растрате, то до обеда их это занимает, а потом всё идёт своим чередом». Это из романа «Семейство Таннер». Больше всего на свете Вальзер не хочет быть одним из них. Он один из них.

Это его университеты. И его театр. Он работает во множестве мест, примеряя всякий раз новую службу, как роль. Маска одна и та же. Хочешь чего-то в этой жизни добиться, нужно научиться быть слугой.

Его жизнь в эти годы напоминает игру актёра, он будто гастролирует, входит в один и тот же образ на разных подмостках. Неудачные актёры на сцене обычно прекрасно актёрствуют в жизни. Вальзер снова и снова играет маленькое колесико гигантской машины, вживается в образ. Но в любую минуту готов выйти из роли и сойти со сцены. Отойти в сторону.

Он работает мелким служащим, клерком в банках, страховых агентствах, юридических конторах, агентствах по найму безработных, на пивоваренном заводе, в издательстве, на фабрике швейных машинок. Его берут из-за почерка. Он уходит с каждого места работы через пару месяцев. Он ненавидит свою службу. Такие не делают карьеры.

Вальзер был плохим служащим. И мечтал он совсем о другой карьере.

Только в Цюрихе за десять лет он девять раз меняет работу и переезжает семнадцать раз. Молодой человек неуживчив. Или ищет что-то? Или бежит от себя? Или меняется? Становится собой? Переезд – это возможность окружающему миру нагнать тебя уже другого, изменившегося.

В своем дневнике Макс Фриш рассказывает, как Вальзер встретился с Лениным в Цюрихе и спросил его: «Вам тоже нравится гларнский бирнброт?»

Бирнброт – пирог с начинкой из груши. Писатель и палач жили по соседству на одной улице Шпигельгассе, один в доме №23, другой в №14, но с разницей в несколько лет. Эта встреча и разговор – придумка Фриша. Их миры не соприкасались, и даже по узкому переулку они проходили сквозь друг друга. Но оба знали, что призваны что-то сделать с этим постылым и неправильным устройством жизни. Шагая по брусчатке Шпигельгассе, они были ещё никем. Нет, не так. Пока не подпишет первый приказ о расстреле заложников, убийца ещё не убийца, а просто человек, прохожий. Ещё не написав ни одной книги, писатель уже писатель. На Шпигельгассе не встретились прохожий и писатель.

В Цюрихе рождаются его первые произведения. Через много лет он напишет о себе в третьем лице короткую «Биографию» и в ней коснётся своих ранних текстов: «Причём следует добавить, что он писал их не между делом, а всякий раз бросал именно для этого место службы, ибо верил, что искусство есть что-то великое. Писательство было для него действительно делом почти священным. Пусть это кому-то покажется чрезмерным. Когда сбережения заканчивались, он снова устраивался на подходящую работу».

По жизни Вальзер – неудачник. По жизни мелкого служащего, которую он ведёт для окружающих. Клерк-неудачник.

Он устраивается только на те скучные работы, где нужно иметь дело не с людьми, а с бумагами. Ему приятнее быть наедине с чернильницами, перьями, пресс-папье. Молодой швейцарец натягивает на себя старую уютную шинель Акакия Акакиевича. «Настоящим довожу до Вашего сведения».

Он переписывает набело каллиграфическом почерком бесконечную безличную корреспонденцию и несметные счета, впитывая в себя канцеляризм, презирая содержание и отдавая любовь буквам. Далёкий от литературы побочный заработок переписчика кажется ему досадной потерей времени, но именно залежи дохлых штампов великого и могучего немецкого канцелярита станут его золотой жилой в прозе.

Самое тяжёлое испытание в писательской судьбе – слишком ранний успех. Сколько талантливых юношей и девушек бесследно исчезли из

литературы после шума вокруг первой книги, использованные и выброшенные за ненадобностью на помойку. Успех приходит к Вальзеру сразу же после первых публикаций. Но успех какой-то странный, который будет преследовать его всю жизнь: восторг пишущих ценителей и полное пренебрежение читающей публики.

Ему двадцать лет. Первая публикация стихов в бёрнской газете «Der Bund» сразу привлекает внимание. Его зовут печататься в самый модный литературный журнал того времени «Die Insel». Вальзера приглашают к себе влиятельные литературные салоны культурных столиц Германии – Мюнхена и Берлина. Для молодого писателя начинается испытание литературной богемой.

Издатели ждут от него рукописи. О чём ещё можно мечтать молодому автору? Отныне Вальзер решает зарабатывать деньги только своим призванием – писательством. Ему пишется легко. Его тексты не знают черновиков. Он публикует стихи, романы, рассказы, «драмолеты». Каждую публикацию встречают удивлённые и восторженные рецензии. Но продаж нет. За свою первую книгу «Сочинения Фрица Кохера» гонорара он не получил – издательство пообещало заплатить 100 марок после покрытия расходов на печать. Через несколько месяцев после выхода книги Вальзер пишет издателю письмо с просьбой о высылке обещанной суммы. Получает ответ, что из 1300 напечатанных экземпляров проданы 47.

Швейцария – провинция. Трижды провинция трёх великих культур. Негласный закон гельветических литераторов: швейцарский писатель, если хочет чего-то добиться, должен завоевать заграничные столицы. Вальзер едет завоевывать Берлин.

Тень брата. Роберт с Карлом погодки. Роберт родился в 1878 году, Карл на год старше. Старший брат уже шесть лет в Берлине, он – преуспевающий театральный художник, о его постановках говорит весь Берлин. Ему заказывают фрески в домах высшего общества. Издатели платят огромные деньги за его иллюстрации. Он входит в моду. Ему открыты богемные салоны. Его любят женщины. Он умеет общаться с важными людьми. Он был хорошим завоевателем.

Младший всюду следует за старшим – сначала в 1895 году был Штуттгарт, где Карл учился на театрального декоратора, теперь, в 1905-м, Берлин. Город принадлежит старшему брату и тот щедро делится им с младшим – устраивает нужные знакомства среди издателей и меценатов, театрального и литературного высшего света. Роберт живёт у брата в трёхкомнатном ателье в Шарлоттенбурге и следит за его кошкой, когда хозяин в разъездах. Их иногда принимают за близнецов – не по лицу, но по поведению, жестам, манерам.

Их разделяет главное: один умеет почувствовать и уловить вкусы публики, другой – нет. Не умеет и не хочет уметь. Он был плохим завоевателем.

В Берлине Вальзер пишет и публикует один за другим три романа: «Семейство Таннер» (Geschwister Tanner, 1907), «Помощник» (Der Gehülfe, 1908) и «Якоб фон Гунтен» (Jakob von Gunten, 1909). С первыми успехами он получил в литературном мире огромный кредит доверия, но с каждой нераспроданной книгой этот кредит тает всё скорее. Его последний опубликованный и лучший роман – самый провальный. Тексты Вальзера вызывают восторг у немногих, среди его почитателей Гессе, Музиль. Но всё же его книги падают в пустоту. Они обманывают привычные ожидания читателей, потому что ни на что не похожи.

У Вальзера в его время и не может быть читателя. Открыв его свеженапечатанную книгу в начале прошлого столетия, нельзя не почувствовать подвох. Почва канона уходит из-под ног. Мир прозы идёт вразнос. Привычные опоры литературы превращаются в труху. Жанр объявляется, как король, – голым. Взаимодействие персонажей и событий начинает происходить по другим, ещё не открытым законам. Сюжет перестаёт быть сюжетом, повествователь – повествователем. Диалог не совсем диалог. Роман – не-роман.

Его тексты вроде бы авангард нарождающегося авангарда, из них один прыжок до дада, до сюрреализма. Но авангард Вальзера какой-то неавангардный – в его прозе слишком много живой души, у неё температура здорового человеческого тела.

Календарь уже перенёс читателей его первых романов в двадцатый век, но ожидания от читаемого ещё только выползают из девятнадцатого. В литературе Вальзер перепрыгнул сразу через две ступеньки и оказался в одиночестве.

С каждой книгой Вальзер уходит от читателя всё дальше к себе настоящему. Рождается неповторимый, сразу узнаваемый стиль, его слова дышат странной смесью невероятной свободы и спёртого воздуха канцелярии.

Писатель в начале своего становления состоит из прочитанного. В те годы Манн, Гессе, Джойс зачитываются русскими. В Берлине Вальзер знакомится с Фегой Фриш, переводчицей Толстого, Достоевского, Гончарова, Чехова и многих других. Поколения немцев будут узнавать русскую классику по её переводам. Она публикуется в том же издательстве Кассирера, в котором выходят книги Вальзера. Увлечение русскими в то время – поветрие. Поэт и редактор текстов Вальзера, горячий его поклонник Кристиан Моргенштерн пишет издателю Бруно Кассиреру:

«Когда я читал о Симоне, я всё время думал об Алеше Карамазове. Вообще «Семейство Таннер» больше русская книга, чем немецкая».

В книгах Вальзера постоянно будут встречаться отсылки к русским писателям, особенно к Достоевскому. Например, в «Разбойнике», позднем и незаконченном романе, его герой упомянет «Униженных и оскорблённых», спутав при этом Валковского с Вронским. Мышкин и Аглая появятся в последней его опубликованной книге «Роза». Но всё это остается внешним, поверхностным. Он читал русских, но они на него по сути вовсе не повлияли. На него вообще никто по большому счёту не повлиял, хотя сам он называл своими любимыми Сервантеса, Жан-Поля, Стендаля. Есть писатели, которые возникают просто из языка, непорочным зачатием. Если искать Вальзеру соответствия среди русских – это Платонов. Таких писателей порождает сам язык – полуграмотная риторика расстрельных приказов или гирлянды конторского волапука, не имеет значения. Такие писатели – ни в мать, ни в отца, а подкидыши языка.

Зато повлиял Вальзер.

Макс Брод о Кафке: «Иногда он неожиданно врывается в мою квартиру, чтобы поделиться со мной своим открытием чего-то нового, грандиозного. Так было с романом-дневником Вальзера «Якоб фон Гунтен», так было и с прозаическими миниатюрами Вальзера, которые он невероятно любил. Я помню, с каким заразительным весельем, с каким восторгом и как сочно он читал вслух рассказик Вальзера «У горных круч» («Gebirgshallen»). Мы были вдвоём, но он читал так, как если бы перед ним сидели сотни слушателей. Иногда он прерывался: «А теперь вот послушай, что будет!» Некоторые словесные обороты он смаковал, повторяя их с радостью по несколько раз. ... Подолгу останавливаясь на деталях, он добрался до конца рассказа и заявил: «Ну, а теперь послушай всё целиком!» На этот раз он читал, не прерываясь. Он намеревался повторить чтение и в третий раз. ...»

Жутковатая герметичность пансиона Беньяменты в «Якобе фон Гунтене» выводит литературу в другое измерение. Замкнутое, неуютно живое, вывернутое наизнанку пространство, созданное Вальзером, отправляется основать свою колонию в прозу Кафки.

Есть писательство здоровое и болезненное. Здоровое писательство – профессия, способ заработка пером. Предложение своего таланта и мастерства на рынке услуг. Кто-то зарабатывает педикюром, кто-то принимает роды, кто-то пишет книги. Нужно просто следовать потребностям потре-



бителя. Быть чувствительным к запросам читателей и книгопродавцев. Писательство как услуга.

Его писательство – болезнь. Писание как невозможность иным способом справиться с реальностью.

Для него писание – единственный способ проживать жизнь. Уже в двадцать два года в «Поэте» он пишет о жизненной потребности давать чувствам выход в слове: «Что мне делать с моими переживаниями, я не могу смотреть, как они беспомощно трепыхаются и умирают в песке языка. Я не смогу жить, если перестану писать».

В Берлине Вальзер проводит семь лет. Столичная литературная жизнь, манившая издали, теперь, увиденная с изнанки, отталкивает, вызывает брезгливость. Схватка самолюбия, подковерная борьба амбиций, унижительная снисходительность знаменитостей, железные локти лезущих вперёд бездарностей.

Литературный террариум ему отвратителен. У него аллергия на прошлость. Однажды на приёме он громко говорит Гофмансталу: «Неужели вы не можете забыть, хотя бы ненадолго, что вы – знамениты?»

Но в этой выходке чувствуется и привкус прорвавшейся, тщательно скрываемой зависти. Смертный грех писателя – гордыня.

Гордыне можно противопоставить только смирение, умаление себя, скромность до самоуничтожения. Отсюда настойчивая идея слуги, которая преследует Вальзера. Однако в его текстах слуга становится метафорой не услуги, но служения. Его герои хотят служить, а не прислуживать. Писатель – слуга не читающей публики, но своего текста.

В Берлине он ощущает себя в литературной давке, в унижительной и смешной гонке за успехом. Толкучка олимпийцев, в которой он явный аутсайдер, кажется даже не театром, а клоунадой. Он – такой же клоун.

В Берлине Вальзер решает на главный шаг своей жизни. Шаг в сторону.

Теперь он кажется им клоуном. Вальзер подыгрывает. Роль шута, смеющегося над теми, кто смеётся над ним, ему больше по душе. В отличие от них, он свободен. Он может взять и стать Monsieur Robert. Пройти школу слуг и отправиться на пару месяцев в замок Дамбрау в Верхней Силезии. Набрать материал для романа, снова бросить всё и вернуться в себя.

Его поведение кажется эпатажем даже в глазах тех, кто ему благоволит. Издатель Фишер предлагает отправиться в Польшу и Турцию, чтобы написать книгу репортажей. Ответ Вальзера: «Зачем писателям путешествовать, если у них есть фантазия? Я только что в мыслях провел полчаса в

Турции, и мне там было очень скучно.» Бруно Кассирер выписывает Вальзеру чек на большую сумму для многомесячного путешествия в Индию. Тот носит чек долгое время в кармане, будто забыв о нём, потом, будто вспомнив, возвращает. Ему важны только путешествия к самому себе. Не перемещения по глобусу, а проникновение в самую суть человеческого – в процесс творчества. Все его тексты – не просто о «я», но о «я», сотворяющем мир.

Идея зарабатывать на жизнь писанием благополучно похоронена. Вальзер получал ежемесячно деньги от издательств в счёт гонорара за будущие книги, но после провала «Якоба фон Гунтена» это больше невозможно. Ему хотят помочь, устраивают секретарем в модную художественную галерею «Berliner Sezession». О нём просит сам знаменитый импрессионист Макс Либерманн, возглавлявший объединение берлинских художников, противопоставивших себя академическому искусству. Но долго на этой службе Вальзер не задерживается. Он был плохим секретарём.

В столичную писательскую и художественную среду он явно не вписывается, да и не хочет вписываться. Подчеркивает это даже одеждой, шокируя приличное общество, появляясь в костюме бродяги. Этот образ вагабунда, символ независимости и неприкаянности, срastётся с ним, станет писательской кожей. Жена брата Карла дарит Роберту новый костюм, чтобы он не смущал её гостей своим видом, но тот вскоре приходит снова в старых обносках.

Ему нужно освобождение. От бессмысленности общения с другими писателями. От литературной суеты. От старшего брата.

Отношения с Карлом, его любимым в детстве товарищем по играм, более чем сложные. В Берлине восхищение сменяется непониманием, близость перерастает в ненависть. Он не может и не хочет больше играть роль брата-неудачника. Выражается это противостояние иногда совсем по-детски. Фега Фриш вспоминает, как Вальзер пришел к ней незадолго до своего отъезда из Берлина с расцарапанным лицом и объяснил, что это их кошка Муши. «Но я думаю, что это братья хорошенько подрались».

Шаг в сторону, отказ от участия в общем забеге за успехом, требует внешнего подтверждения. Вальзер должен уехать. Прочь от литераторов – к литературе. Для настоящей работы нужно одиночество. Келья. Его кельей становится Швейцария.

В Берлин приехал 27-летний автор, подающий надежды и ещё ищущий себя. Уезжает перед самой мировой войной писатель Роберт Вальзер, нашедший себя к тридцати пяти. Лучший возраст для писания.

В 1913 году Вальзер приезжает в Биль, в родной город, откуда он уехал когда-то в поисках призвания и признания. Жизненный круг замыкается.

Призвание есть, признания нет. Его келья – полупустая холодная каморка под самой крышей в дешёвых номерах «Zum blauen Kreuz». В этой мансарде на последнем этаже, где живёт обслуга, он проводит следующие восемь лет своей одинокой жизни.

Один из мемуаристов, пастор Эрнст Хубахер, интересовавшийся литературой и приглашавший в свою общину Гренхен выступать таких авторов, как Гессе, описывает жилище Вальзера: «Мне сказали, что тот, кого я ищу, живёт на шестом этаже отвратительного обшарпанного заведения, так называемого отеля «У голубого креста». Каморка, чтобы воспользоваться его языком, была обставлена заметным отсутствием мебели. Там стояли только кровать, стол и стул.»

Отсутствие мебели, быта, забот – это то, что Вальзер ищет. Ему нужна свобода от всех потребностей и обязательств. У него обязательства только перед ненаписанным текстом. В этом писательском раю не хватает лишь тепла – не натопленного, от печки, этого тоже нет, но тепла человеческой близости.

Иногда он ходит за 25 километров в Бельлей навестить свою сестру Лизу. Отныне и до самого конца эта женщина будет присутствовать в его жизни и принимать самое непосредственное участие в судьбе.

Её квартирка становится для него островком детства. Десятилетия исчезают, он снова мальчик, она – строгая и любящая старшая сестра, заменившая ему мать. Лизе к этому времени сорок, она учительница, старая дева с историей несчастной любви. Её жених, судебный протоколист, не решился сделать ей предложение, сославшись на сумасшествие матери, Элизы Вальзер – из опасений, что болезнь может оказаться наследственной. Этот удар Лиза пережила только бросив Швейцарию и уехав на семь лет в Италию, где преподавала в швейцарской школе в Ливорно. Вернувшись на родину за год до Роберта, она устраивается в Бельлей, в сумасшедшем доме для неизлечимых, расположенном в бывшем монастыре, работает в маленькой школе для детей персонала лечебницы. У нее отдельный домик. Наверху маленькая квартирка, внизу классная. Все дети из разных классов занимаются в одной комнате. Едят все вместе в больничной столовой. Иногда из монастырских зарешёченных окон, из беспросветности, доносятся крики, не животные, но и не человеческие.

В Бельлей Вальзер знакомится с подругой сестры, Фридой Мермет, которая работает в лечебнице кастеляншей. Эта женщина, далёкая от литературы, одна воспитывающая внебрачного сына, станет странной музой писателя на долгие годы. У него всё в жизни странно, так что в такой музе нет ничего странного.

В 1913 году начинается эта, наверно, любовь по переписке. Останутся только его послания – Вальзер уничтожает все письма, которые получает. Мысль о литературном архиве и будущих исследователях, очевидно, не приходит ему в голову.

Фрида уверяет всех, что была замужем в Безансоне за кучером и развелась, но так или иначе шансов выйти замуж и устроить свою жизнь у этой немолодой уже женщины с ребёнком по тем временам немного. Предложение Вальзера могло бы решить её судьбу, но даже в таком положении она отказала бы ему. По крайней мере, она будет говорить так в старости, объясняя это тем, что Вальзер был просто не приспособлен для семьи. Очевидно, что так и было.

Что должна испытывать женщина, получающая от возможного жениха письмо с такими словами: «Я так чудесно себе всё представляю, как буду Вашим мужем и как мы оба будем жить вместе с Лизой, во всём, так сказать, послушные ей, под её добрым влиянием. Так будет здорово, если моя сестра не выйдет замуж».

Фрида чинит и стирает ему одежду, отправляет продуктовые посылки. Если бы он искал жену, нашёл бы жену, но он ищет в женщинах мать. Он готов принимать заботу, но не в состоянии предложить взамен ни дома, ни защиты, ни уверенности. У него ничего не было, что ожидает женщина от замужества. Он был плохим женихом.

Невозможно представить себе Вальзера семьянином. Его одиночество – не стечение обстоятельств, но осознанный выбор. Он сделал шаг в сторону. Оставил гонку за успехом. Сложил с себя все обязанности от мира сего. Семья потребовала бы конечной жертвы: вернуться в реальность быта, зарабатывать деньги, идти на компромиссы. Сделать шаг обратно.

Каждый писатель рано или поздно должен ответить на простой вопрос: что он готов принести в жертву? Что ему важнее: ответственность перед текстом или перед семьёй? Что сильнее: чувство долга перед несказанными словами или перед близкими людьми?

Выбор Вальзера. Фрида остается на долгие годы его корреспондентом и чем-то вроде мамы на расстоянии. В письмах он будет благодарить её за присланные продукты, за починенные носки. Обсуждать с ней всё на свете, кроме самого главного. Туда он её не пустит.

Сестра Лиза потом будет говорить, что Роберт мучил Фриду своей нерешительностью, и передаст слова подруги: «Мне и с одним ребёнком трудно – как мне выдержать с двумя?» Для них он просто не стал взрослым, не смог взять на себя ответственность за жизнь людей, которые были ему дороги, остался ребёнком.

Он не смог сделать счастливым себя и дать счастье любимому человеку. Что это было – детскость или мужество отречения?

В одном письме он написал Фриде: «У меня есть один долг, который я должен исполнить».

К своей работе он ещё никогда раньше не относился с такой серьёзностью. Вальзер в молодости работал без черновиков, записывал сразу начисто готовый текст. В Биле писатель переходит на карандаш. Здесь он начинает относиться к своей работе серьёзнее: сначала он записывает куски прозы микроскопическим почерком для себя, потом, в случае надобности отослать текст куда-то для публикации, переписывает набело пером. Его любовь к каллиграфии переходит в микрописьмо. Для непосвященного разобрать его каракули, напоминавшие тайнопись, специальный шифр, невозможно.

О любом другом писателе можно было бы сказать: здесь начинается расцвет его творчества. Почему-то о Вальзере не получается говорить так, как о других.

Эмиль Шибли, когда-то известный бёрнский писатель, теперь забытый и упоминаемый в основном лишь в связи с Вальзером, описал их встречу в Биле. Этот текст был опубликован в 1927 году.

«Что рассказать о его внешнем виде? Что ж, выглядит он не так, как может представить себе читатель его книг ... Все его книги проникнуты чем-то легким, изящным. Чем-то шелестящим и скорее радостным, подчас чересчур витиеватым. Сам писатель, напротив, тяжеловатый, молчаливый, своим простым видом скорее напоминает ремесленника, слесаря или механика. Во всяком случае он производит впечатление совершенно здорового человека. Его книги странные, крайне своенравные и оригинальные, несут отпечаток неповторимой личности; автор же ничем не примечательный, кроткий, подчеркнуто будничный. Только глаза смотрят значительно. Его костюм дышал на ладан. На коленках виднелись огромные заплатки, пришитые с трогательной беспомощностью мужской рукой. Весь облик этого человека, перевалившего за сорок, излучал богатство духа, знания и, что важнее, человечности и говорил о мужестве и даже гордости, с которой тот переносил свою крайнюю бедность. Смотреть на него было больно. Этот писатель, издавший десять книг, ... страдает от нужды, носит лохмотья бродяги, хотя работает как одержимый. Этот писатель (король нашей литературы), которого потомки признают если не великим, то мастером высочайшей пробы, испытывает лишения горького

одиночества и терпит боль мещанского презрения, всё для того, чтобы отстоять свое право быть писателем. Да черт побери! Пусть найдет себе другое занятие, которое принесет ему больше доходов и уважения! Он не может. Бог призвал его быть писателем. И он лучше будет умирать с голода и ходить в изношенном и залатанном тряпье, терпеть унижение от уничижительных взглядов благопорядочных бюргеров, прилежно занимающихся зарабатыванием денег. Во имя того, кто его призвал».

Его выбор – повернуться спиной к обществу, предпочесть жизнь отщепенца, принять всё, что этот выбор за собой влечёт: нищету, изоляцию, презрение. Это не страх перед жизнью, это совсем другое. Устроенный быт требует слишком высокую цену. У него нет даже книг. Нищета и отсутствие какой-либо собственности – логическое продолжение избранного пути. Все ценности этого мира идут в обмен на другое, более ценное. Точка невозврата пройдена, для него уже невозможно вернуться и участвовать в жизненном забеге вместе со всеми.

Он накладывает на себя обет нищеты, нестяжательства, безбрачия, получая за это блаженство независимости от мира сего. Писательство как юродство. Но не тяжёлое, поучающее и обличающее, с веригами и публичными самоистязаниями, а лёгкое, никому не видимое, радостное. Его радость – плоть от плоти той радости, которая переполняла говорившего птицам Франциска.

Шибли вспоминает, как Вальзер сказал ему: «Я всё равно не брошу мою работу. Она несмотря ни на что делает меня счастливым человеком. Хотя я и знаю, что в обществе меня держат за сумасшедшего ... или за люмпена и тунеядца. Но это не так важно. Судьба не захочет сотворить из меня второго Генриха фон Кляйста». Он усмехнулся. «Нет, счастья больше, чем страдания. Правда.»

Он не отвернулся от жизни. Он выбрал свободу творить. Творчество – это проявление высшей любви к жизни...

Опубликовано: «Вальзер и Томцак», Москва, «Ад Моргиным Пресс», 2014.

---

# Глеб Шульпяков

---

*Саметь* Поэма

1  
Я помню эту карточку с тех пор,  
как помню сам себя.  
Она стояла в комнате у мамы.  
Вот прадед, отец Сергей:  
ряса в горчичной сыпи  
– сельский священник.  
Вполоборота матушка  
(на плече ладонь лодочкой).  
Он смотрит прямо, она  
чуть в сторону.  
Строгие, сухие лица.  
И тёмная портьера за спиной.

Я и теперь помню  
каждую складку.

А через месяц –  
    донос,  
    арест.  
Поп, священник!  
«Украл ведро картошки».  
И нитка распустилась.  
Не стало матушки Екатерины.  
Исчезли поповские дочки.  
Разорили церковь.  
Только на карточке  
ни намёка  
– как будто они  
смотрят в *другое*  
будущее.



В наше время  
моя мама отыскала их.  
Каждый год навещала.  
Говорила:  
«Поеду-ка я к тётушке из Южи...»  
«Давно не была я у тётушки из Шуи...»  
«У тётушек Нины и Ани из Плёса...»  
«У тётушки из Ки-неш-мы...».  
Пока последняя из них не умерла.  
Так карточка попала к нам.

Я увидел её снова  
совсем недавно,  
когда разбирал вещи.  
Теперь это было зеркало.  
Нос и рот, брови  
глаза и даже его руки  
– были моими.  
Если бы не борода и ряса...  
Как затемно встали;  
переправу и как  
тряслись на подводе;  
жирных грачей на пашне  
и фотографа, который  
всё отводил взгляд  
– я мог это представить.  
Но в тюремном подвале?  
Или на допросе  
– человека с моим лицом?  
Священника?  
Нет, нет и нет.  
Ведро мёрзлой картошки –  
я и теперь слышу,  
как она стучит по доскам.

А то село на Волге называлось  
– Саметь

2

Теперь из уважения к усопшему  
прошу всех выключить телефоны.

*Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.*

(десять утра, а такая темень, и как они живут в этом городе – нет, здесь  
прямо к воротам – и у цветочного магазина остановите, пожалуйста)

*Блаженны плачущие, ибо они утешатся.*

*Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.*

... и лодка всплывает в часовню.

(проходите, вы мешаєте – простите, а где можно свечку? – цветы, цветы  
кладите)

*Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.*

*Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.*

*Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.*

... и лодка тонет в цветах.

– Родные и близкие могут попрощаться с покойным... Прошу вас,  
мужчины, когда соберут цветы и венки, возьмите в ногах два шурупа,  
ими надо прикрутить крышку. Там, где голова, пусть возьмут двое.  
Автобус ждёт на улице.

...и лодку волокут по кирпичной воде города.

(все почему-то усатые, вы заметили? – и ни одной женщины – пузом  
чуть венки не свалил ваш батюшка – а всё мать: музыка, музыка; мог  
бы стать великолепным физиком – шестьдесят лет вместе, господи,  
шестьдесят лет... – как вы думаете, там курить можно?)

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими».

... и лодку выносят на берег.

(а где голова? – нет, что и говорить, место удобное – тогда вы здесь, а мы здесь – хорошо – готовы?)

*«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть...»*

... и лодку опускают на дно.

(почему она не пришла, ведь он столько для неё сделал! – тише, тише – что? – где крест? – крест давайте!)

... и волны земли захлёстывают лодку.

Она тонет.

.....

(рюмку, пожалуйста – вот так, а сверху хлеб – какая хорошая фотография – нет, не ждём, давайте без них – у всех налито?)

– Знал он и успех, и творческие взлёты, и коварство учеников...

(мне тоже – вот моя рюмка – всё-всё, достаточно)

– ... но был отзывчивым, добрым человеком. Для всех нас, его коллег и учеников, родных и близких...

(а это как называется? – кутья?)

– А я хочу выпить за физика. Отец в музыке сделал открытие, потому что у него была голова физика...

(потому что отказался писать об этой бездарии – и всё, двери закрылись – да, независимый был человек, неординарный – неуживчивый – упрямый – светлая ему память)

– Когда он взял меня к себе, он сказал – я дам тебе отмычку. Не нужно таскать связку. Но исполнители, вы же их знаете: «А зачем мне это?»

(я тот год хорошо помню, он приехал в Ленинград на голое место, буквально, и всё из-за одной встречи – но всегда заботился, всегда как

отец родной – а потому что военное детство, голод – и высокую планку, всегда по максимуму – как вы говорите имя этой девочки? которая в Венской опере, ученица? – доску на аудиторию мемориальную, заявление прямо завтра же, не тяните – постойте, вы уже уходите? – да – я провожу вас)

.....

– Следующая остановка Адмиралтейская. До Адмиралтейской троллейбус.

– Снимали дом на море, съезжались – тётка из Алма-Аты, дядя из Питера, мы. Мне тогда, правда, всего шесть лет было. Но кое-что я помню. На море тогда шторм был, никто не купался. И вдруг дядька – в воду. Через пять минут исчез из виду.

– Билетики берём, передняя площадка – кто без билета?

– Я испугался. Дядя Олег утонул! А взрослые вино хлещут. И тогда мой отец...

– Без сдачи? Поищите...

... и лодка плывёт под землей, плывёт над водой.

– ... тогда мой отец посадил меня на плечи. Видишь? А что «видишь»? Только серые волны. Но потом, точно – размером с перечную горошину и перекачивается на волнах. Голова. Исчезла, потом снова. И всё ближе, ближе.

«Ибо они унаследуют землю».

– ... он возвращался.

3.

... .. под Новый год, когда мы переехали. И вот я очутился среди гирлянд и ёлок на Кузнецком.

Мне в новый дом хотелось лампу  
купить – и я бродил по лавкам.  
Но лампы не нашёл.  
И в сумерках на улицу вернулся.  
Утаптывая жёлтый снег, я шёл  
к метро, на все вокруг предметы  
бросая как бы прощальный,  
предновогодний взгляд.  
И вдруг увидел вывеску,  
книжный магазинчик  
– из прошлой жизни  
лавка букиниста.

Та же неудобная лестница,  
низкая притолока и  
пузыри линолеума те же.  
Сиротский запах старых книг.  
Постой, откуда он возник?  
Плешивый, сгорбленный  
– от книжных стеллажей  
он словно отслоился  
откашлялся и тихо извинился –  
а я кивнул и к полкам отвернулся.

Здесь было всё, о чём  
я в юности мечтал.  
По бросовой цене,  
почти что даром.  
Мне эти книги не скупить  
– спасти хотелось.  
Тогда плешивая старуха  
из-под пустых коробок  
вытащила одну.  
– Вот, посмотрите.  
И протянула мне знакомый томик.  
Он раскрылся с хрустом  
– точно вчера из печати.  
«Давно уже привык я  
укладываться рано...»

И время отмотало плёнку.  
Луч солнца упал на парты.  
Я услышал скрип паркета  
и запах мокрого мела.  
Увидел штору;  
кремлёвскую за шторой башню.  
И ту, которая вот-вот  
в аудиторию войдёт.

Тогда эту книгу  
мы читали в очередь.  
Зачитанной  
она и осталась в памяти.  
А эта сорок лет  
пролежала нетронутой.  
Для жизни, но какой?  
Ведь даже старой  
у неё не было.  
– Ну что, берёте?  
... эта книга  
была похожа на меня:  
полжизни позади, а как будто...  
– Да, пробейте.  
... и не начиналась.  
В ней было обещание  
– но чего? И я  
нес её бережно,  
как птицу.

... ..

Дни безвременья,  
дни солнцеворота.  
Когда уходит старый, а другой  
ещё невидим за речной дугой  
– там, на отмели,  
вечная Саметь  
летит вниз крестами

и вечно молодой дядька  
скрипит мокрой галькой  
– там над тёмной водой  
разговаривает с грачами  
прадед-священник.  
Ещё одно усилие, и я  
услышу, что он говорит.

Из подворотен  
музыка летит.

Опубликовано: «Саметь», Москва, «Время», 2017.

---

# Михаил Яснoв

---

## Из стихотворений 2016 года

\* \* \*

В.Б.

Как говорил мой старший друг  
(верна его наука):  
нет безнадежнее разлук,  
чем детская разлука.

Но оказалось, в жизни есть  
разлуки безнадежней,  
изъятые – с чего? Бог весть! –  
небесною таможней.

Они хранятся где-то там,  
на недоступном складе,  
они подобны облакам,  
записанным в тетради,

они застряли по пути,  
хоть груза нет дороже...  
Их в этом мире не найти,  
и в этом небе – тоже.

\* \* \*

Начинают быть слова –  
в том-то и загвоздка! –  
как в тумане острова  
на душе подростка.  
Он готов пуститься вплавь  
за любым миражем.  
То, что он увидит въявь,  
мы ему не скажем.



Побелела голова,  
что ни день – старею,  
но по-прежнему слова  
за душой лелею:  
и плывут они во тьме –  
риффы, пляжи, мели,  
и никто не скажет мне,  
что там, в самом деле.

\* \* \*

Я люблю приметы – те, что  
не забуду никогда.

Подающая надежды  
падающая звезда.

Чуть увижу – весь вниманье:  
я с надеждами на «ты».

Подающий подаянье  
кротко смотрит с высоты.

\* \* \*

Вновь замигал вдали бессмысленный маяк,  
сквозь век, как сквозь туман, пробиться тщетно силясь...  
Бессонница, Гомер, замучила. И так,  
тугие паруса... На чем остановились?

Ах, да, на том, что нет, что не хватает слов  
и что родной язык у времени невольник,  
и нет ни маяков уже, ни парусов,  
и кто такой Гомер, не понимает школьник.

### ***Вид с лысой горы***

Что делать с нашей нищетой?  
Она ещё почище той,  
что нам показывает телек  
в далёких странах и краях,



Их спасательный пыл не у дел –  
паруса позабыты и снасти,  
и смотритель своё отсмотрел  
в геральдической бездне династий.

Вот и тот, кто служил маяком,  
по безжалостной воле прогресса,  
тоже гаснет, уходит на слом –  
никакого к нему интереса.

Только птицам теперь благодать,  
оттого-то и крик спозаранок –  
птицам есть от чего умирать  
и без этих смертельных обманок.

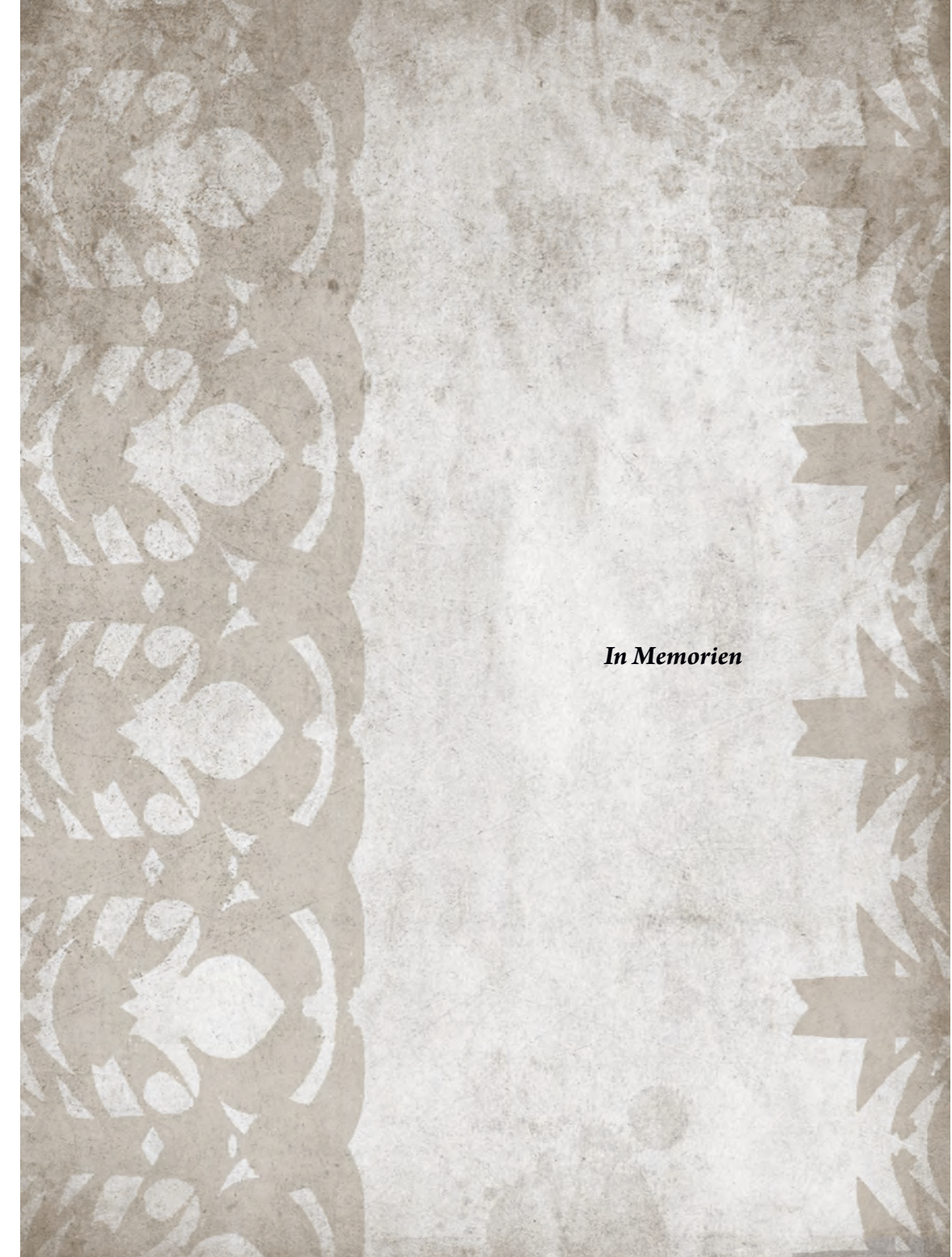
Жить и жить им года и века  
в той земле, на романтику бедной,  
где становится сладкой легендой  
птичья гибель в огне маяка.

\* \* \*

С той стороны страны и глухо, и неброско –  
всё сметено огнём на пустошах болотных.  
С той стороны войны ликуют монстры Босха,  
а Фрагонар с Ватто распяты на полотнах.

Как вырваться, куда – из этого кошмара,  
где проклята любовь и бесполезна вера,  
где в горние врата стучит рука Сандрара  
и виден сквозь глазок висок Аполлинера?

Там под чеширскою улыбкой хунвейбина  
душа с котомкою бредёт переселенцем,  
и страшно повторять, что целый мир чужбина  
тем, для которых стал отечеством Освенцим.



***In Memorien***

---

## Василий Бетаки (1930 –2013)

---



Около 2010-го года Василий Бетаки составил антологию собственных стихов, в которую включил все те, что, как записку в бутылке, отправил в плавание – в будущее. А остальные – в мусорную корзину. Стихов оказалось очень много. Самые ранние датированы 1948-м годом. Ну, а самый последний написан в марте 2013-го, за день до смерти. Так что из прожитых восьмидесяти двух Бетаки шестьдесят семь лет писал стихи, – иногда чаще, иногда реже. Последние несколько лет жизни он писал особенно много. Бетаки из поздних, и его стихи с возрастом становились всё значительней. Так не очень часто с поэтами бывает. Кроме стихов, было у него в жизни ещё много разного. Например, переводы. В 1971-м году Бетаки взял первую премию на конкурсе переводов трёх основных стихотворений Эдгара По («Ворон», «Уалалюм», «Колокола»). А в начале XXI века в издательстве «Литературные памятники» вышло полное собрание стихов Сильвии Плат в его переводах. Он переводил Байрона, Киплинга, Дилана Томаса, Роберта Фроста, Дерека Уолкота... И многих других. Ещё Бетаки занимался антисоветской деятельностью, и в центре её тоже была литература. В шестидесятые годы он участвовал в распространении прибывших с Запада в СССР запрещённых советской властью книг. А когда в 1973-м Бетаки из Ленинграда переехал во Францию, он

продолжил эту деятельность по передаче книг, только теперь он был уже с другой стороны цепочки. Он раздавал изданные на Западе книги дальнобойщикам, а те в запечатанных грузовиках отвозили их в Советский Союз.

У Бетаки в жизни было множество профессий: он работал школьным учителем литературы и инструктором по верховой езде, радиожурналистом и газетным корреспондентом. Во Франции он сочетал работу на радиостанции «Свобода» с работой в редакции «Континента». Стихи Василия Бетаки прежде всего о времени и пространстве, о связи мест и времён. Его стихи никогда не концентрировались на нём самом, он в них наблюдатель, отвечающий за то, чтоб дать имя, не забыть и осмыслить изменчивый и постоянный мир, чтоб плести нашу повседневную событийность, в которой распускаются деревья, идёт снег, история вырастает в современность, и нельзя дать умереть ни летнему дождю, ни отражению ёлочных лампочек в оконном стекле, ни платановому листу, планирующему на стоящую у тротуара машину... Я выбрала для этой публикации несколько стихотворений из написанных в последние годы.

Лена Кассель, 3 апреля 2017 г.

### ***Грибной дождь*** (репортаж на 21 июня)

Дождик вялый, не забубённый,  
Забыл, видно, где-то свой барабан,  
В пруду, между селезней сине-зелёных  
Ныряет чёрный тощий баклан!

Странно: баклан ведь птица морская –  
Ну, что ему делать у нас на пруду?  
Не проживает он, а провожает  
Самое светлое утро в году...

Вверху, пополам разделившись резко,  
Как две штанины, и в тучу сшит,  
Дождь раздвигается занавеской,  
А за дождём – ничто не спешит.

Медленно ряска раскроет окна,  
Чтоб заблестел оголённый пруд...  
Дни под деревьями, не промокнув,  
Посуху в лето идут и идут.

В пятнах просветов ярче трава, и  
Непромокаемая листва  
Дорожку мою зонтом прикрывает,  
Как несминаемые слова,

Чем дальше в аллею, тем зеленее  
Непроницаемая листва,  
И рвутся с обеих сторон на аллею  
Все несметаемые слова

Щавель любопытный, наставя ушки,  
Аллею стесняет – с обоих боков...

Сейчас подорожник – квакнет лягушкой,  
И сам запрыгает в ритме стихов...

24 июня 2012

### ***Сонет в окне***

Уходит комната в слепую глубину,  
И полки книг, и всё, что на столе, удвоя.  
Вот отражение прилепится к окну..  
Но врежутся в него лес и окно чужое,  
Пришедшее – зачем? – из внешней тьмы, – и враз,  
Чтобы прогнать его, возникнет занавеска, –  
Она цветастостью – непрошено и резко –  
Твой зыбкий натюрморт вдруг заслонит от глаз!

Ну что же – выйди в лес! Он вовсе не такой,  
Как тот, что просквозил картинку отраженья:  
Он – перспективой – в ночь, ему не стать доской.

Вернётся – и опять подлунных теней танцы,  
Чудесным образом лишённые движенья,  
В оконном зеркале – как старые голландцы

17 ноября 2012



\* \* \*

А когда пятипалый разлапистый лист платана  
За берёзу не смог уцепиться, ему  
Только и оставалось, наподобие парaplана,  
Над газоном долго бесцельно кружиться, и тьму  
Желтизной безнадёжно расталкивать –  
этот солнечный осколок лета  
Прошуршал по крыше тёмно-синей машины,  
Несколько раз то вниз, то вверх по бортам, –  
И под колесо –  
И остался там...

Почта, на которую не будет ответа.

23 ноября 2009

\* \* \*

*Когда б вы знали, из какого сора...*

*А. Ахматова.*

Собака приносит на лапах лесную грязь,  
Кошка, мурча, нюхает мир,  
Недоступный ей,  
Запах лужи с отраженьем и неба, и нас,  
И палой листвы, и каких-то зимних зверей...

Кривое отражение дятла в луже  
Кошка угадает через глинистый след.  
Вон она как по комнате кружит,  
У входа в тот мир, которого нет...

Собака гуляет с нами подолгу –  
Через лес, поляны, по соседним городкам...

У нас ещё есть книги, картины, фотки,  
А у кошки – только слух, да нюх, неведомые нам,  
(В дополненье к несовершенным кошачьим глазам...)

Кошка занесёт на ёлку, играя,  
Невнятный отражённый свет извне.



А в комнату из-за стёкол заглянут, мигая,  
Глаза котов в законной стране –  
Цветные лампочки в двойном окне.

Так вот зачем собака приносит на лапах  
Оттуда, из уличной лесной страны,  
Минуя прелых листьев запах,  
Следы невидимой луны!

13 января 2012

\* \* \*

Запахом свежего хлеба и кофе  
Отличается утренний город от вечернего,  
И ещё угасающими цепочками огней...  
А вечерами – в застывшем равномерном свеченье  
И дома почему-то видятся в профиль,  
И запах бензина – куда сильней.

Но уйдя из улиц, люди, как боги,  
Зажигают в сумерках за окном окно,  
И превращают вопреки дневной тревоге  
Не воду – кофе в золотистое вино.

\* \* \*

Парижская зима – только эхо северных.  
Так на фотке легко, ведь невнятен масштаб,  
Принять за овраг сантиметровую расселину,  
Или за кокосовый орех – каштан.

Слоисто-заиндевелые окна трамвая  
Заставят мирок скамеек целым светом казаться,  
Так что тем, кто настоящей зимы не знает,  
На трамваях сегодня лучше уж не кататься.  
Это эхо севера – в нём памяти нет,  
Никуда из зимы не вывезет трамвай,  
Остановка? Ну, выйди на белый свет,  
Да какой он там белый! Цветёт айва!

Времена перемешаны – край через край.  
А в трамвае ли, в метро – ни лета, ни зимы,  
Тут хоть всю дорогу Вивальди играй –  
Не понять, в когда заехали мы...

Из трамвая выйдешь – и хоть кой-где цветы,  
А в вагоне – только срезанные, без корней,  
Вот такие букеты возим и я, и ты...  
А меж входом и выходом – ни минут, ни дней...

И в строчках, написанных в городском  
Транспорте – ни температур, ни дат:  
Точка входа, точка выхода (хоть ночью, хоть днём),  
И движенья не видно, только – результат,

Начало – конец. Обокраденное зренье.  
В промежутке – бывают слова, но не трава.  
Да, эхо зимы, да, слабое отраженье,  
Но и от него гудит голова...

А всё-таки выйдешь – и цветёт айва!

30 января 2012

\* \* \*

Опять над островом Ситэ шпиль топят серые туманы,  
Кружат в декабрьской пустоте, к нам с моря залетев, бакланы,  
Тут, где на шумных берегах и этажам, и скверам тесно,  
И в обстановке бытовой парадность птичьей неуместна,  
А в сером небе ничего ни слух, ни взгляд не различает –  
Что неуместней чёрных птиц средь барж, домов, да белых чаек?

Но ведь приходится реке вновь чувствовать себя широкой,  
Как в дни, когда на островке весь город помещался сбоку  
От лагеря, где так – в квадрат – четыре славных легиона  
Стоят в шатрах за рядом ряд, крестообразно разделённо,  
Тут, где две улицы сошлись, шест по уставу отмечает  
Центр лагеря, над коим ввысь под облака баклан взлетает.

Не геральдический орёл – баклан – готическая птица –  
Тут над имперским алтарём, над римским лагерем гнездится,  
До готики лет за пятьсот украсив безымянный остров,  
Готический баклан плывёт над тесным строем ёлок острых.

Когда-то возведут Собор, и с моря множество бакланов,  
Не разгоняя сны дождей, на фоне стройных аркбутанов  
В толпе невзрачных зимних дней начнёт без устали кружиться...

И город выгладит важней под сенью острокрылой птицы,  
Когда, напоминая нам, каким при Цезаре был остров,  
Взлетает чёрный корморан над тесным строем шпилей острых.

### **Утро тёмных веков**

*К минувшему концу света....*

... Краснеют на зимнем рассвете  
Облака и стены домов.  
Так мокры тротуары, что цвет их  
Отличим ли от облаков,  
Из которых приносят ветры  
Пасмурность Средних веков?

Звон холодного утра-пролога  
Перед днём проржавелых лат:  
Ну, вот сейчас – на дорогу  
Какой-нибудь Ланцелот...

Зашуршит под копытами утро  
По жестяной траве...  
И Ланцелот – «А нут-ка,  
С кем бы подраться – не ве...!»

А виновен уж слишком алый,  
Слишком нервный рассвет:  
Жестяное небо упало –  
На беспорядочность лет,  
Жестяное небо упало  
На звон жестяных лат –



## *Из переводов*

### **Роберт Фрост**

\* \* \*

Я целый день по листьям бродил, от осени я устал,  
Сколько узорной пестрой листвы за день я истоптал!  
Может, стараясь вбить в землю страх,  
топал я слишком гордо,  
И так безнаказанно наступал на листья ушедшего года.

Всё прошлое лето были они где-то там, надо мной,  
И мимо меня им пришлось пролететь,  
чтоб кончить свой путь земной.  
Всё лето невнятный шелест угроз я слышал над головой,  
Они полегли – и казалось, что в смерть  
хотят меня взять с собой.

С чем-то дрожащим в душе моей,  
говоря будто лист с листом,  
Стучались мне в веки, трогали губы, –  
и всё о том же, о том...  
Но зачем я должен с ними уйти?  
Не хочу я и не могу:  
Выше колени – ещё хоть год удержаться бы на снегу.

### **Дилан Томас**

\* \* \*

...Особенно, когда октябрьский ветер  
Мне пальцами морозными взъерошит  
Копну волос, и пойман хищным солнцем,  
Под птичий крик я берегом бреду,  
А тень моя, похожая на краба,  
Вороний кашель слышит в сучьях сонных,  
И вздрогнув, переполненное сердце  
Всю кровь стихов расплещет на ходу –

Я заточён в словесную тюрьму,  
Когда на горизонте, как деревья,  
Бредут болтливые фигуры женщин,  
А в парке – звёздная возня детей...  
И я творю тебя из буков звонких,  
Из дуба басовитого, из корня  
Терновника, или из этих древних  
Солёных волн – из тёмных их речей.

И папоротник маятником бьётся:  
Раскрой мне этот нервный смысл времён,  
Смысл диска, вспыхивающего рассветом,  
Смысл флюгера, что стонет от ветров, –  
И снова я творю тебя из пенья  
Лужаек, шорохов травы осенней,  
Из говорящего в ресницах ветра,  
Да из вороньих криков и грехов,

Особенно когда октябрьский ветер...  
И я творю тебя из заклинаний  
Осенних паучков, холмов Уэллса,  
Где репы жёлтые ерошат землю,  
Из бессердечных слов, пустых страниц –  
В химической крови всплывает ярость,  
Я берегом морским иду и слышу  
Опять невнятное галденье птиц.

---

## Виктор Николаев (1943–2017)

---



### ***Знак свободы***

3 июля 2017 года в Берлине завершился земной путь художника Виктора Евсеевича Николаева. «Лучший московский абстракционист», как его называли в кругах коллекционеров, Виктор Николаев около двух десятилетий делил свой быт и работу между столицами России и Германии, словно связывая Москву и Берлин единым цветовым «жестом», загадочным и притягательным знаком – символом общности и всеохватности культуры. «Знак» было любимое слово Виктора. «Сила знака», «Власть знака», «Метаморфозы знака» – названия его выставок, перформансов, мини-эссе. Предметом особой гордости Виктора было умение быстро, «на лету» покрыть листы бумаги или человеческое тело рядом красивых знаков, напоминающих японские или китайские иероглифы. Уверенные движения кисти, часто в диалоге с музыкой, – и перед изумлённым зрителем возникает целое письмо, написанное на неизвестном языке, рождённом в воображении художника. Ни один из знаков не повторяется, всё возникает «здесь и сейчас», как некая спонтанная каллиграфия души, квинтэссенция момента, визуализация бес- и сверхсознательного. Такова же и живопись Виктора Николаева: импульсивная, «сновиденная», стирающая привычных геометрических форм.

В жизни художник также старался избегать формальностей, правил, общепринятых рамок. Свою биографию он ограничивал скупыми данными: родился 15 мая 1943 г. в Москве; искусством занимался с 1968 г.; в 70-е годы устраивал в своей квартире андеграундные выставки с участием Д. Пригова, Б. Орлова и др.; персональные выставки Виктора Николаева проходили в Третьяковской галерее, Центральном доме художника, Музее архитектуры им. Щусева (Москва), известных галереях «Бернар Видал» (Париж), «Фридрих» (Кёльн) и др.; в 2005 г. он создал «Театр каллиграфии», показывавший спектакли-перформансы в культурных центрах Москвы, Берлина, Лейпцига, Ганновера, Севастополя и других городов... Непростые семейные отношения, неписанность в истеблишмент, постоянная готовность вторгнуться в душевные и художественные миры как современников, так и мастеров далеких эпох, горячие споры с коллегами – а среди участников и соавторов проектов «Театра каллиграфии» были выдающиеся музыканты, танцоры, литераторы – всё это создавало «вулканическую» атмосферу вокруг берлинско-московского «шамана» Виктора Николаева, любящего и умеющего удивлять не только других, но и себя самого.

Последние месяцы жизни Виктора, всегда столь крепкого физически и выглядевшего моложе своих лет, были омрачены болезнью. Рак костного мозга (множественная миелома) не давал ему с весны 2017 года возможности свободно двигаться, посещать музеи, концерты, литературные чтения, наслаждаться природой. Но ещё за несколько дней до смерти Виктор обсуждал с друзьями идею своей второй совместной книги с немецкой поэтессой Ульрикой Байль, новые выставки и театральные проекты.

Жизнь и творчество Виктора Николаева остаются в памяти как пульсирующий, изменчивый знак свободы – свободы духа над бренностью тела, знак вечного поиска и преодоления границ: географических, жанровых, временных.

Ильдар Харисов





Абстрактная живопись Виктора Николаева.



*Авторы антологии*





торию по классу скрипки, работал в симфонических оркестрах Ленинграда, Иерусалима, Ганновера, Нюрнберга.

В 1973 году эмигрировал в Израиль. Затем (1979) переехал в Германию.

Дебютировал как прозаик тремя рассказами в альманахе «Шамир» (1976), выпустил книгу прозы: «Перевернутый букет» (Иерусалим: Шамир, 1978).

На Западе печатался в журналах: «Время и мы», «22», «Континент», «Синтаксис», «Эхо», «Стрелец», «Солнечное сплетение», «Зарубежные записки» и др.

В России вышли романы «Обменённые головы», «Прайс» (Шортлист Букеровской премии 1999, в 2004 вышел в переводе на французский язык), «Суббота навсегда», «Вий», вокальный цикл Шуберта на слова Гоголя», «Шаутбенахт», «Арена XX»; повести «Замкнутые миры доктора Прайса», «Фашизм и наоборот», сборник романов и эссе «Чародеи со скрипками».

Живёт в Берлине.

**Сергей Гладких** – переводчик русской литературы на немецкий язык, художник, актёр.

Родился в 1952 году в Ростове-на-Дону. Окончил Московский институт иностранных языков.

В 1976 году переехал в Германию. Среди его работ переводы поэзии М. Цветаевой, В. Хлебникова, А. Тарковского, Д. Пригова, Л. Рубинштейна, О. Седаковой, В. Куприянова и др. и прозы Вен. Ерофеева, В. Сосноры, В. Хлебникова, В. Мамлеева и др. Параллельно работает как художник (персональные и коллективные выставки в Германии и других странах) и актёр.

Живёт в Берлине.

**Павел Грушко** – российский поэт, драматург, переводчик прозы и поэзии, эссеист. Член Союза писателей СССР (1965).

Родился в 1931 году в Одессе. Окончил Московский институт иностранных языков.

Вице-президент Ассоциации испанистов России.

Переводил испаноязычных авторов, начиная с поэтов эпохи барокко до поэтов XX века, не только испанских, но и латиноамериканских, а также поэтов Португалии, Бразилии и Филиппин, Англии и США.

Автор сборников стихов: «Заброшенный сад», «Обнять кролика», «Между Я и Явью» и «Свобода слов». Стихи в переводе на испанский опубликованы отдельными сборниками в Испании, Перу и Мексике.

Некоторые стихи Грушко написаны по-испански.

Автор стихотворных переложений: «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты» по мотивам кантаты П. Неруды и «Было или не было» по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Стихотворные пьесы Грушко опубликованы в его антологии «Театр в стихах».

Награждён Золотой медалью Альберико Сала (по жанру поэзии) на литературном конкурсе в Италии (Безана-Брианца, 1994), специальным дипломом литературной премии «Книга года» (2006) за книгу «Облачения теней: поэты Испании». Переводы с испанского и каталанского.

С 2000-х годов периодически живёт в Бостоне, США.

**Дмитрий Драгилёв** – поэт, журналист, музыкант, переводчик, член ПЕН-клуба и Союза русских писателей в Германии. Председатель Содружества русскоязычных литераторов Германии.

Родился в 1971 году в Риге. Окончил Латвийский университет (история), Веймарскую консерваторию и Йенский университет (славистика)

Публикуется с 1986 года.

Стихи, проза, эссе и переводы публиковались в журналах «Даугава», «Уральская новь», «Гвидеон», «Воздух», «Новое литературное обозрение», «Комментарии», «Дети Ра», «Крещатик» и др., антологиях, онлайн-изданиях.

Автор книг стихов: «К чаю в пять», «Все приметы любви», «Безударная гласная», «Städtische Ligaturen», «Торшер»; книги очерков «Лабиринты русского танго», биографии Эдди Рознера – «Шмаляем джаз, холера ясна». Был редактором журналов «Via Regia» (Эрфурт), «Рубашка» (Берлин). Один из инициаторов музыкальных проектов «The Swinging PartYsans» и «Kapelle Strock», литературных чтений и джазового фестиваля им. Э. Рознера в Берлине. Лауреат премии журнала «Дети Ра» (2006), призёр берлинского открытого русского слэма (2006), лонглист премий «Московский счёт» (2010) и «Новый звук» (2014).

В Германии с 1994 г. Живёт в Берлине.

**Виктория Жукова** – прозаик, член СП Москвы.

Родилась в Москве, закончила МИРЭА по специальности вычислительная техника. Начала писать с 2003 года. Рассказы, повести, пьесы публиковались в сборниках, журналах, антологиях и онлайн-изданиях. Работала в театре «КомедиантЪ» завлитом. Была главным редактором альманаха «Царицынские подмости». Вышли четыре книги рассказов и пьес: «Пазл», «Игра», «Всё было не так», «До седьмого колена».

Живёт в Берлине с 2010 года.

**Татьяна Зажицкая (Нинова)** – журналист, член Международной ассоциации писателей и публицистов.

Родилась в Ташкенте. Закончила филфак Среднеазиатского Университета.

Работала в редакциях радио Ташкента и Таллинна, в начале 90-х – корреспондентом по Эстонии в журнале «Lettre Internationale». В Эстонскую политическую энциклопедию «Кто есть Кто» вошла как автор серии радиопрограмм «Диапазон» – «Неосталинизм», «Экология культуры», «Экономика и политика».

Публиковалась в журналах «Wikkerkaar – Радуга», «Teater. Kino. Muusika», «Советское фото».

Автор документальной повести «Кари», посвящённой поэту Кари Унксовой.

В Германии с 1993 года. Работала научным сотрудником в проекте «История еврейских общин в Германии».

Живёт в Берлине.

**Борис Замятин** – прозаик, журналист, член ПЕН-клуба, Союза писателей Москвы и Союза русских писателей Германии.

Родился давно, ещё в прошлом веке, ещё на Украине. Стал на Урале инженером, в Забайкалье – офицером, в Черноземье – журналистом, а в Москве – афористом.

Там же, в Москве, начал печататься в центральной прессе (от газет и журналов до календарей), в многочисленных сборниках афоризмов и поэтических миниатюр, в антологиях иронической поэзии. Стал лауреатом «Золотого телёнка» клуба ДС «Литературной газеты» и других премий, «действительным» членом «Московского клуба афористики», выступал на радио и мелькнул на телевидении. Рассказы были опубликованы в журналах «Дружба народов», «Грани», «Родная речь» и др.

В 1996 году уехал в Германию. Сотрудничал с газетами «Русская Германия», «Контакт», «Рубеж» и др. Работал редактором в газете «Европа экспресс», гл. редактором журнала «Имидж», редактором сатирического раздела журнала «Рубашка». Публикуется в альманахе «Новый континент» (Чикаго).

Лауреат литературного конкурса «Согласование времён».

Живёт в Берлине.

**Лена Кассель** живёт во Франции с 1986 г. Заведует кафедрой математики и информатики в инженерной школе в Париже. Принимала, в качестве редактора, большое участие в литературной работе своего

мужа, Василия Бетаки. Перевела эссе Сильвии Плат и написала вступительную статью для издания в «Литературных памятниках» полного собрания стихов Сильвии Плат в переводе Бетаки.

**Генрих Киришбаум** – поэт, переводчик, литературовед, профессор славистики в Университете Гумбольдта (Берлин), почётный член Белорусского ПЕН-Центра.

Родился в 1974 г. в Москве.

Автор книг стихов «Дохлаые номера» (1994), «Междуречие» (2003), а также монографий «Валгаллы белое вино. Немецкая тема в поэзии О. Мандельштама» (2010) и «В интертекстуальном гадюшнике: Адам Мицкевич и польско-русская (анти) империяльная поэтика» (2016, по-немецки), а также многочисленных поэтических, переводческих и литературоведческих публикаций в международных журналах и антологиях.

Живёт в Берлине.

**Борис Колымагин** – поэт, прозаик, бакалавр богословия, главный редактор книжного дайджеста «Библио-Глобус».

Родился в 1957 г. в Тверской области. Окончил Горный институт и Литературный институт по отделению критики.

Публикуется с 1990 года.

Стихи и рассказы печатались в журналах «Черновик», «Арион», «Крещатик» и др., критические статьи – в журналах «Октябрь», «Новое литературное обозрение».

Автор многих статей по литературе и проблемам церковной жизни в «Русском журнале» и других периодических изданиях.

Организатор Свято-Филаретовского конкурса религиозной поэзии.

Автор книг: «Прогулки» (Стихи), «Крымская экумена: Религиозная жизнь послевоенного Крыма».

Живёт в Москве.

**Анатолий Кудрявицкий** – русский поэт, прозаик, переводчик, журналист, литературный редактор, член Союза писателей Москвы, ПЕН-клуба. Пишет также на английском языке.

Родился в Москве в 1954 году. Окончил Московский медицинский институт. Работал исследователем в области иммунологии, журналистом, редактором в журналах «Знание – сила», «Огонёк», «Иностранная литература», заместителем главного редактора журнала «Стрелец». Был одним из авторов самиздата.

Публикуется с 1989 года. В 1993-1995 годах входил в поэтическую группу мелоимажинистов; с 2009 г. – в поэтическую группу ДООС.

В 1999 году эмигрировал сначала в Германию, а затем в Ирландию.

Преподавал литературное творчество в Ирландском Писательском Центре. Один из основателей и президент Ирландского общества авторов хайку. Редактор международного журнала хайку «Shamrock».

Автор романов «Истории из жизни сыщика Мылласа», «Летучий Голландец» и «Игра теней в бессолнечный день»; повестей «Парад зеркал и отражений» и «Путешествие улитки в центр раковины» и семи книг стихов на русском языке. Книга стихов «Граффити» была номинирована на премию «Антибукер» за 1998 год.

В Ирландии изданы книга английских стихов «Shadow of Time» и две книги английских хайку: «Morning at Mount Ring» и «Capering Moons», ещё одна книга его хайку выпущена в США.

Живёт в Дублине.

**Вячеслав Курриянов** – поэт, переводчик, прозаик. Член ПЕН-клуба, Союза писателей России, Почётный член Союза писателей Сербии.

Родился в 1939 году в Новосибирске. Окончил Московский институт иностранных языков.

Переводил поэзию с немецкого, английского, французского и испанского языков и языков народов СССР. Собственные стихотворения публикует с 1961, прозу – с 1970 года. Он – один из пионеров современного русского свободного стиха.

Автор 25 сборников стихотворений, 5 книг прозы, 3 книг переводов, изданных на разных языках и в разных странах, а также многочисленных журнальных публикаций. С 1985 года регулярно издается в Германии. Участник многих международных форумов и фестивалей поэзии.

Лауреат Европейской литературной премии за 1987 г., награждён Литературным жезлом Союза писателей Македонии и премией фестиваля в Гонезе (Италия).

Живёт в Москве.

**Александр Лайко** – поэт, член ПЕН-клуба и Союза писателей Москвы, главный редактор русско-немецкого литературного журнала «Студия/Studio», выходящего в Берлине с 1995 года.

Родился в 1938 году в Москве.

«Поэт примыкает к «лианозовской школе» – и географически, и биографически» – по словам Г. Сапира, одного из ярких представителей этой школы.



В СССР печатал детские стихи, переводы. Ни одной «взрослой» строки напечатано не было. С середины семидесятых годов публиковался в русских эмигрантских журналах и альманахах («22», «Время и мы» и др.), а после перестройки – и в отечественных. Автор четырёх поэтических книг: «Анапские строфы», «Московские жанры», «Другой сезон», «Картины».

С 1990 года живёт в Берлине.

**Александр Люсый** – писатель, критик, журналист. Член ПЕН-клуба, Союза российских писателей и Международной конфедерации журналистов. Старший научный сотрудник Российского института культурологии.

Родился в 1953 году в г. Бахчисарай (Крым). Окончил Симферопольский университет (истфак) и Литературный институт.

Автор многочисленных публикаций и книг: «Пушкин. Таврида. Киммерия», «Крымский текст в русской литературе», «Наследие Крыма: география, текстуальность, идентичность», «Нашествие качеств: Россия как автоперевод», «Поэтика предвосхищения». Участник многих российских и международных научных конференций.

Лауреат премии «Артиада».

Живёт в Москве.

**Алексей Макушинский** – поэт, прозаик, эссеист, доктор филологии.

Родился в 1960 году в Москве. Окончил Литературный институт (1983г)

В 1992 году переехал в Германию, преподаёт в немецких университетах.

Постоянный автор журналов «Знамя», «Звезда», «Дружба народов», «Крещатик», «Зарубежные записки», «Новая юность», «Арион», «Интерпоэзия», «Вопросы литературы» и многих других.

Автор романов «Макс», «Город в долине» (премия «Глобус» журнала «Знамя» и Библиотеки Иностранной Литературы им. Рудомино, короткий список премии им. Александра Пятигорского), «Пароход в Аргентину» («Русская премия», короткий список премии «Большая книга», длинный список премий «Нос», «Русский Букер», «Национальный бестселлер»).

Автор книг стихов «Свет за деревьями» (2007), «Мюнхенский дневник» (2009) и «Море, сегодня» (2011) и книги эссе «У пирамиды» (2011).

Роман «Пароход в Аргентину» переведён на немецкий и французский языки, книга стихов «Мюнхенский дневник» – на сербский.

Живёт в Висбадене.

**Ольга Медведко** – культуролог, лингвист, кандидат педагогических наук, член Союза писателей России.

Родилась в Москве. Окончила Московский педагогический институт иностранных языков им. Мориса Тореза и Институт русского языка им. А. С. Пушкина.

Председатель Гумилёвского общества и член Правления Общества друзей художника Николая Загрекова.

В 90-х годах читала курс лекций на английском языке по русской истории и культуре в Университете Нью-Йорка.

Автор ряда книг и статей по культурологии в том числе посвящённых художнику Николаю Загрекову и поэту Николаю Гумилёву. Она также создатель Народного музея Николая Гумилёва и куратор Международного Гумилёвского фестиваля в Бежецке. Один из авторов документальных фильмов «Художник Николай Загреков», 2009 г. и «Завещание» 2011 г. (о семье Лукницких и деле реабилитации Николая Гумилёва). Автор двух сборников стихов.

Живёт в Москве.

**Сергей Морейно** – поэт, прозаик, переводчик.

Родился в 1964 году в Москве. Окончил Московский физико-технический институт.

С конца 1980-х в Риге, был близок кругу журнала «Родник», переводил польскую, немецкую, латышскую поэзию. Затем жил периодами в Риге и Москве, занимался дизайном, был бильдредактором «Общей газеты», дизайнером Рижского аэропорта и др. Выпустил книги стихов «Орден» (М., 1999), «Клуб неназначенных встреч» (Рига, 1999), «Зоомби» (Рига, 2000), «3/4» (Рига, 2002), «Там, где» (М., 2005), «Странные пары на берегу Ostsee» (Рига, 2006), четыре из которых включают и переводы; отдельно издана книга избранных переводов из Ю. Кунноса «Contrabанда» (Рига, 2000).

Живёт в Риге.

**Татьяна Нелюбина** – прозаик, художник, член Гильдии деятелей искусств (die Künstlergilde) Германии.

Родилась в 1951 году в Екатеринбургe. Окончила Свердловский архитектурный институт и аспирантуру Московского архитектурного института.

Работала заместителем главного архитектора города Новоуральска, преподавателем Свердловского архитектурного института, экскурсоводом в Потсдамском Сан-Суси.

Опубликовано множество работ по архитектурно-планировочной организации национальных парков. Лауреат архитектурных конкурсов.

С 1987 года – свободный художник, иллюстратор.

Автор шести романов: «Оракул в подоле» (2002), «Potsdamer и по-тсдамцы» (2003), «Окно в скорлупе» (2012), «Городошники» (2013), «Однолюбка» (2014), «Мой дом на Урале» (2015).

Живёт в Берлине.

**Павел Нерлер (Полян)** – географ (доктор географических наук), историк, писатель и литературовед.

Родился в 1952 году. Окончил географический факультет МГУ.

Работает в Кёльнском центре документации национал-социализма, одновременно является профессором Ставропольского государственного университета, а также научным сотрудником Института географии РАН и Фрайбургского университета.

Автор и соавтор около 200 научных статей по географии и истории, многочисленных монографий, в том числе о Мандельштаме, национал-социализме, холокосте. Составитель сборника воспоминаний советских военнопленных-евреев, прошедших через систему немецких концлагерей. Опубликовал ряд статей о жизни евреев-иммигрантов из бывшего СССР в Германии, Израиле и США.

Председатель Мандельштамовского общества, один из составителей энциклопедии о творчестве Осипа Мандельштама, автор биографических работ о Мандельштаме и редактор двух его собраний сочинений. Издал два сборника стихов: «Ботанический сад» и «Високосные круги».

Живёт во Фрайбурге (Германия).

**Владимир Сорокин** – прозаик, сценарист, драматург, художник.

Родился в 1955 году в посёлке Быково, Московской области. Окончил московский институт нефти и газа. Занимался книжной графикой, живописью. Был участником многих художественных выставок. Оформил и проиллюстрировал около 50 книг.

С 1970-х годов печатался в самиздате. Начал издаваться во Франции в 1985, а в России в 1989 году.

Произведения Сорокина публиковались в российских журналах и альманахах «Третья модернизация», «Место печати», «Искусство кино», «Конец века», «Вестник новой литературы». Многочисленные повести, рассказы, очерки объединены в сборники «Первый субботник», «Пир», «Утро снайпера», «Москва», «Четыре», «Заплыв», «Сахарный Кремль», «Моноклон», «Собрание сочинений в двух томах». Им написано более десяти пьес («Капитал. Полное собрание пьес»), множество

сценариев, а также либретто оперы «Дети Розенталя».

Сорокин автор романов «Норма», «Очередь», «Тридцатая любовь Марины», «Роман», «Сердца четырёх» (рукопись романа вошла в шорт-лист Буковской премии 1992), «Голубое сало», «Ледяная трилогия» (состоит из трёх романов – «Путь Бро», «Лёд» и «23000», «Теллурия», «Манарага»).

Книги Владимира Сорокина переведены на десятки языков. На Западе его романы публиковались в таких крупных издательствах, как Gallimard, Fischer, DuMont, BV Berlin, Haffman, Verlag Der Autoren.

Награждён многочисленными премиями: «Народный Букер», Андрея Белого, Горького (международная), «Либерти», «НОС», министерства культуры Германии и дважды – премией «Большая книга».

Живёт в Подмоскowie и в Берлине.

**Александр Смолянский** – переводчик, кинодокументалист.

Родился в 1957 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский институт авиаприборостроения.

Посещал семинар переводчиков в Ленинградском отделении Союза писателей (руководители Э. Л. Линецкая и А. А. Долинин). Переводил и публиковал стихи Редьярда Киплинга, Оскара Уайльда, Эдварда Лира. Рассказы Исаака Башевиса Зингера, опубликованные в журнале «Нева», рассказы и пьеса Вуди Аллена «Смерть» и роман Энтони Берджеса «Трепет намерения», напечатанные в журнале «Иностранная литература», первый роман Агаты Кристи «Таинственное происшествие в Стайлз», опубликованный в журнале «Простор», впоследствии входили в состав книг издательств «Художественная литература», Симпозиум и др.

Занимается документальным кино. Соавтор фильма «В поисках потерянного рая», получившим премию Ника (2016) и призы многих международных фестивалей.

Живёт в Берлине.

**Виктор Тихомиров** – художник, член Союза художников России, один из основателей группы «Митьки», сценарист и кинорежиссёр, актёр, писатель, журналист.

Родился в 1951 году в Ленинграде. Учился в Высшем художественно-промышленном училище им. Мухомовой.

На его счету 14 документальных и два художественных фильма, в которых он выступает как сценарист и режиссёр, фильмы отмечены многими премиями; член жюри кинофестивалей и различных конкур-

сов, иллюстратор, участник многочисленных художественных выставок, лауреат «Царскосельской художественной премии 2015» за альбом карикатур для газеты «Деловой Петербург» – «Рисунки на розовой бумаге», автор книг «Золото на ветру», «Герой», «Чапаев-Чапаев» и «Евгений Телегин и другие».

Живёт в Санкт-Петербурге.

**Вадим Фадин** – поэт и прозаик. Член Пен-клуба, союза писателей Москвы и германского союза писателей «Verband Deutscher Schriftsteller».

Родился в 1936 году в Москве. Окончил Московский авиационный институт. Работал на испытаниях ракет, а с 1976 года – в области public relations. В 1998 году на русском телевидении в Берлине вёл авторскую литературную программу.

Публикуется с 1963 года.

Автор многочисленных журнальных публикаций в России и других странах (стихи и проза, в т. ч. – повести «Темна вода во облацех» и «Кто смотрит на облака»). Переводил стихи с эстонского и итальянского. Изданы: книги стихов «Пути деревьев», «Черта», «Нить бытия», «Утонувшая память», книги прозы «О Моцарт, Моцарт», «Обстоятельства двойной жизни», «Пейзаж в окне напротив» и романы «Рыдание пастухов», «Семеро нищих под одним одеялом», и «Снег для продажи на юге».

Номинант премий Русский Букер, Буниной и Русской премии (короткий список).

Лауреат премии им. М. Алданова 2008 года.

В Германии с 1996 года. Живёт в Берлине.

**Ильдар Харисов** родился в 1972 г. в Елабуге, получил образование и преподавал в Казанской консерватории и Свободном университете Берлина.

Член Союза писателей XXI века и Союза композиторов Российской Федерации. Публикации в «Новом журнале», «Журнале Поэтов», журналах «Футурум АРТ», «Дети Ра», «Зинзивер», «Новая реальность», в «Литературной газете» и др.

С 2007 г. участник и со-организатор проектов «Театра каллиграфии», созданного Виктором Николаевым.

Руководитель общества Gesellschaft für Osteuropa-Förderung e. V.

Живет в Берлине.

**Михаил Шишкин** – русский писатель. Пишет также на немецком языке.

Родился в 1961 году в Москве. Окончил романо-германский факультет

Московского педагогического института (1982).

Публикуется с 1993 г. (рассказ «Урок каллиграфии» в журнале «Знамя»).

В 1995 году переехал в Швейцарию.

Автор романов: «Всех ожидает одна ночь» («Записки Ларионова») (Премия журнала «Знамя» за лучший литературный дебют), «Взятие Измаила» (премии «Глобус» и «Русский Букер»), «Венерин волос» (премии «Национальный бестселлер», «Большая книга», международная литературная премия берлинского Дома культуры народов мира – вместе с переводчиком на немецкий язык), «Письмовник» (премия «Большая книга»); повестей и рассказов («Слепой музыкант», «Спасённый язык», «Пальто с хлястиком», «Кампанила Святого Марка» и др. – вошли в сборник «Урок каллиграфии»), эссе; литературно-исторического путеводителя «Русская Швейцария» (премия кантона Цюрих). На немецком языке написана книга эссеистики: «Montreux-Missolunghi-Astapowo, Auf den Spuren von Byron und Tolstoj» (переведена на французский язык и получила премию за лучшую иностранную книгу 2005 года).

По романам и повестям Шишкина поставлены спектакли в России и в Швейцарии. Произведения переведены на десятки языков.

Живёт в Цюрихе.

**Александр Шмидт** – поэт.

Родился в 1949 году в Казахстане, в селе Новопокровка Семипалатинской области. Окончил Казахский государственный университет в 1989 году, Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Горького.

В 2001 году переехал в Германию.

Печатался в журналах «Простор», «Юность», «Крещатик» и др.

Автор книг стихов, в т. ч.: «Земная ось», «Родство», «Преломление света», «Зерна дней», «Здесь и там».

Стихи Шмидта включены в «Антологию русского верлибра», в издания: «Русская поэзия XX», «Освобожденный Улисс», «И реквиема медь...» и др.

Стихи А.Шмидта переведены на немецкий, польский и корейский языки.

Переводил стихи Готфрида Бенна, Эриха Фрида, Ральфа Грюнебергера, Темирхана Медетбекова.

Живёт в Берлине.

**Глеб Шульняков** – поэт, прозаик.

Родился в 1971 году. Окончил факультет журналистики МГУ.

Возглавляет литературный журнал «Новая Юность». Был ведущим

еженедельной программы «Достояние республики» на телеканале «Культура» в сезонах 2008–2010.

Автор книг стихотворений «Щелчок» (2001) и «Жёлудь» (2007), сборников путевых очерков «Персона Grappa» (2002), «Дядюшкин сон» (2005) и «Общество любителей Агаты Кристи» (2009). Первый роман «Книга Синана» вышел в 2005 году, второй – «Цунами» – в 2008, а третий, завершающий трилогию («Фес») – в 2010-м. Автор путеводителя «Коньяк», многочисленных литературных эссе для московской периодики. Переводил с английского, в том числе стихи Тэда Хьюза и Роберта Хасса. Автор пьес «Пушкин в Америке» (лауреат конкурса «Действующие лица – 2005») и «Карлик» (постановка – Театр Маяковского, 2004).

Живёт в Москве.

**Михаил Яснов** – поэт, переводчик, детский писатель, член Совета Союза писателей СПб.

Родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил филологический факультет Ленинградского университета.

Автор шести книг лирики, свыше тридцати книг стихотворений и прозы для детей. Переводчик французской поэзии: Гийома Аполлинера, Жака Превра, Поля Верлена, Поля Валери, Жана Кокто, Эжена Ионеско, Эдмона Ростана (книга в серии «Литературные памятники») и др. Автор книг переводов с французского для детей: «Бретонские баллады», «Бретонские сказки», «Сказки для горчичников», «Попугай Дагобер и ржавый якорь», а также сказок Веркора, Мориса Карема, Клода Руа, Эжена Ионеско, Пьера Грипари, Жан-Люка Моро и др.

Лауреат Почётного диплома Международного Совета по детской и юношеской книге, литературной премии им. Мориса Ваксмахера, которую вручает Французское правительство и Посольство Франции в Москве за лучший перевод французской художественной литературы, и других премий.

Оригинальные стихи переводились на ряд европейских языков.

Живёт в Санкт-Петербурге.





*Приложение*



---

## **О конференции по современной русской литературе в немецкоязычных странах Европы**

21 и 22 октября 2011 г. в Берлине проходили конференция «Современная русская литература в немецкоязычной Европе» и фестиваль русской поэзии, посвящённые 300-летию со дня рождения М. Ломоносова. Этот юбилей, по решению ЮНЕСКО, в 2011 году отмечался во всём мире. Конференция и фестиваль были организованы Берлинским литературным салоном ПЕН-клуба «У Фадиных» и Содружеством русскоязычных литераторов Германии. Как заметило в своей передаче радио «Свобода», именно этим мероприятием началось празднование юбилея Ломоносова на территории Германии.

Конференция открылась приветствиями от Посольства РФ в Германии, Германно-Российского форума (выступил исполнительный директор Германно-Российского форума Мартин Хоффманн) и от Российского Дома науки и культуры.

На конференции присутствовали видные учёные-слависты, писатели, переводчики, издатели. Заседания проходили при полном зале. Вёл собрание поэт, прозаик и переводчик Вячеслав Куприянов (Москва).

Прочитанные (на немецком или на русском языках) доклады имели своей целью ознакомление писателей, критиков, специалистов по литературе, а также и широкой публики с состоянием и тенденциями современной русской литературы в диаспоре, в немецкоязычных странах (Германии, Австрии, Швейцарии). Чтение каждого доклада завершалось дискуссией.

### **Темы докладов:**

1. «М. Ломоносов – ключевая фигура для русской литературы».

Докладчик – проф., д-р Светлана Менгель, директор института славистики университета Мартин-Лютер (Галле-Виттенберг).

2. «Об особенностях восприятия русской литературы в Германии и немецкой литературы в России. Тенденции и перспективы творческого диалога».

Докладчик – д-р Генрих Киршбаум, поэт, профессор славистики университета Гумбольдта (Берлин).

Содоклад: «Обзор русских литературных журналов в Германии 1990 – 2011 г. г.», поэт Дмитрий Драгилёв .



Участники конференции: Вадим Фадин, Сергей Гладких, Михаил Шишкин, Елена Тихомирова-Мадден, Борис Замятин, Дмитрий Драгилёв, Генрих Киршбаум, Сергей Бирюков, Бьёрн Зайдель-Дреффке, Александр Лайко, Дитер Вирт, Хендрик Джексон, Елена Ильина, Марина Гершенович, Анатолий Гринвальд, Светлана Менгель, Вячеслав Куприянов.

3. «Проза русских писателей Германии 1990 – 2011 годов. Воспоминания и вдохновение».

Докладчик – д-р Бьёрн Зейдель-Дреффке, литературовед, переводчик, приват-доцент университета Мартина-Лютера (Галле-Виттенберг).

Содоклад: «Литература-2 (3, 4, ...)»?». Д-р Тихомирова-Мадден, литературовед, критик.

4. «Русские поэты в Германии».

Докладчик – д-р Сергей Бирюков, поэт, переводчик, литературовед, университет Мартина-Лютера (Галле-Виттенберг).

Содоклад: «О переводах поэзии Алексея Парщикова». Хендрик Джексон, немецкий поэт и переводчик.

5. «Проблемы перевода и публикации современной русской литературы в немецкоязычных странах».

Докладчик – Сергей Гладких, переводчик русской литературы.

Содоклад: «К оценке качества переводов русской литературы на немецкий язык». Д-р Дитер Вирт, русист.

6. Эссе «Спасённый язык», Михаил Шишкин, писатель (Цюрих).

Каждый день работы конференции завершался, в рамках фестиваля поэзии, выступлениями русских поэтов, живущих в Германии и России. На первом вечере поэзии выступили Дмитрий Драгилёв, Борис Замятин, Генрих Киришбаум, Виктор Иванов, Александр Лайко, на втором вечере – Сергей Бирюков, Марина Гершенович, Анатолий Гринвальд, Вячеслав Куприянов, Вадим Фадин.

Каждый поэт читал свои стихи на русском языке и их переводы на немецкий, в том числе непременно – стихотворение, посвящённое М. Ломоносову.

При подготовке конференции были изготовлены флаер, афиша и буклет, включающий программу конференции и краткие биографии всех участников.

О работе конференции снят фильм.

Материалы конференции составили сборник: «Russische Gegenwartsliteratur im deutschsprachigen Europa/Современная русская литература в немецкоязычной Европе», Halle (Saale) – Berlin, 2013, изданный как труды университета им. Мартина Лютера (Халле-Виттенберг). Издатели: Светлана Менгель, Анна Перченко-Фадина, Бьёрн Зейдель-Дреффке.

Подборка стихов поэтов – участников поэтического фестиваля, проходившего в рамках конференции, опубликована в номере 16 за 2012 год берлинского русско-немецкого журнала «Студия».

---

## О выставке художника Александра Визиряко

В 2013 году Анной Перчёнок-Фадиной была организована выставка петербургского художника Александра Визиряко – не первая художественная выставка в Берлине и, надо думать, далеко не последняя. Однако у этой – необычная история.

Осенью 2012 года издательство «Алетейя» организовало в Санкт-Петербурге, в Центре современной литературы и книги, презентацию книги Вадима Фадина «О Моцарт, Моцарт!», представляющей собой сборник из трёх повестей, написанных в разное время; в одной из них, заглавной вещи всей книги, место и обстоятельства действия – великое однообразие казахской степи, замечательной отсутствием примет; но такие же или те же места служили натурой и для живописца Визиряко.

Прочтя подаренную ему на презентации книгу, Визиряко неожиданно открыл, что он и Фадин не просто описывали похожие пейзажи, пусть и разными способами, а нашли один и тот же потаённый смысл этой земли: «Беспредметный простор – подходящее место для рождения пророка, даже и в наше время: лишь вдали от людей можно безнаказанно разобратся в законах их жизни», – и решил, что многие из его картин могли бы послужить иллюстрациями к повести «О Моцарт, Моцарт!».

Об этом он написал в письме Фадину – и даже прислал в Берлин компакт-диск со снимками своих произведений.

Тогда-то и родилась идея свести обоих авторов вместе перед большой аудиторией – и в итоге в Берлине с успехом прошла выставка тех самых картин Визиряко, на вернисаже которой перед публикой выступили два равноправных участника, художник и писатель – Александр Визиряко и Вадим Фадин.

Как и всякая добрая история, эта – имела своё продолжение: подобный же творческий вечер был устроен в Великом Новгороде весной 2016 года при открытии в новгородском Центре современного искусства выставки Александра Визиряко «Евразия».

Можно надеяться, что сотрудничество Визиряко и Фадина продолжится и в будущем: общая натура ещё не ушла.